

МИФЫ
И
ЛЕГЕНДЫ



Annotation

Мифы и легенды народов мира — величайшее культурное наследие человечества, интерес к которому не угасает на протяжении многих столетий. И не только потому, что они сами по себе шедевры человеческого гения, собранные и обобщенные многими поколениями великих поэтов, писателей, мыслителей. Знание этих легенд и мифов дает ключ к пониманию поэзии Гёте и Пушкина, драматургии Шекспира и Шиллера, живописи Рубенса и Тициана, Брюллова и Боттичелли. Настоящее издание — это попытка дать возможность читателю в наиболее полном, *литературном* изложении ознакомиться с историей и культурой многочисленных племен и народов, населявших в древности все континенты нашей планеты.

В данный том вошли мифы, былины, легенды и сказания Древней Руси и других славянских народов Европы.

- [МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ НАРОДОВ МИРА](#)

-

- [Д. Шеппинг](#)

-

-

-

- [Глава II](#)

- [Глава III](#)

- [Глава IV](#)

- [Глава V](#)

- [Глава VI](#)

- [Глава VII](#)

- [Глава VIII](#)

- [Глава IX](#)

- [Глава X](#)

- [Глава XI](#)

- [Глава XII](#)

-

- [РУССКИЕ БЫЛИНЫ](#)

-

-

-

-

- [СТАРЫЙ ВУЯДИН](#)
- [МАРА–АТАМАН](#)
- [ХВОРЫЙ ДОЙЧИН](#)
- [ОТВЕРСТОЕ НЕБО](#)[30]
- [ГРАБИЛИ ТАТАРЫ](#)
- [ПРОЕЗЖАЛИ ТУРКИ](#)
- [ПАНИ ПАНА УБИЛА](#)
- [ЗЕЛЕНый ЖБАН](#)
- [ПАН ОТДАЕТ В РЕКРУТЫ](#)
- [ПЕСНЯ О СТАРОСТИНОЙ ДОЧКЕ](#)
- [МЕСТЬ БРАТЬЕВ](#)
- [О ТУРЕ С ЗОЛОТЫМИ РОГАМИ](#)
- [ОБМАНУТЫЙ ТУРОК](#)
- [ПОХОД ПРОТИВ ТУРОК](#)
- [ЖЕНИХ–МЕРТВЕЦ](#)
- [ЗАКЛЯТАЯ ДЕВУШКА](#)
- [ЗАБОЙ, СЛАВОЙ И ЛЮДЕК](#)[31]
- [СУД ЛЮБУШИ](#)[32]
- [АДАМЕК](#)
- [ВОЗВРАТИЛСЯ](#)
- [ПОХОРОНЫ РАЗБОЙНИКА](#)
- [СТАРЫЙ МУЖ](#)
- [МЕСТЬ](#)
- [ПОХОРОНЫ КОМАРА](#)
- [БРАЛИ ЗАМОК ТУРКИ](#)
- [НА ВОЙНУ КОРОЛЬ ИДЕТ](#)
- [НАША ПАНИ БРОДИТ...](#)[34]
- [ЭТОТ ЯНОШ УДАЛОЙ...](#)
- [ПОЛОНИЛИ ТУРКИ...](#)
- [У ОДНОЙ ВДОВЫ УБОГОЙ...](#)
- [ВОДЯНОЙ](#)
- [ДВЕ КРАСАВИЦЫ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)

- [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
-

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ НАРОДОВ МИРА



ДРЕВНИЕ СЛАВЯНЕ

УДК 931 ББК 63.3(0)3 М68

Мифы и легенды народов мира

М68 Древние славяне: Сборник. — М.: Литература; Мир книги, 2004.
— 432 с.

ISBN 5-8405-0584-6



Д. Шеннинг

МИФЫ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫЧЕСТВА



ПРЕДИСЛОВИЕ

Религиозные верования человека, проистекая из особенностей его мирозерцания и понятия жизни, отражают необходимо в себе постепенное развитие его разумного самосознания и, проникая во все отрасли его семейной и гражданской жизни, являются нам краеугольным камнем не только частных обычаев и нравов домашнего быта, но и общим основным началом его исторических преданий, его народности, просвещения и развития его гражданской и политической жизни.

У нас в России куда ни заглянем, в темные ли предания старины или в волшебный мир песен и сказок; в исторические ли скрижали нашей славной родины или в ежедневный быт нашей простонародной жизни; везде встречаем более или менее явственные следы язычества — язычества, не искорененного и не изглаженного десятью веками христианства и образования. Вот что побудило меня обратить внимание на мифы древних славян, сохранившиеся до сих пор в праздниках и обрядах, суевериях и сказках, песнях и пословицах нашего народа, и исследовать внутреннюю силу этих призраков народной фантазии, охранившую их так долго от забвения времени и от света просвещения и истины.

Такая высокая сила внутреннего значения наших мифов поражает нас тем более, что никакие вещественные памятники языческого богослужения: храмы, кумиры и пр. не устояли против всеразрушающего времени и религиозной ревности проповедников первых веков христианства и не дошли до нас. Таким образом, изучение славянской мифологии должно ограничиваться одними изустными преданиями и перечнем имен богов, сохранившихся в наших песнях, припевах и поговорках. Кроме того, до нас дошли некоторые сведения о капищах, кумирах и обрядах славян в летописях как туземных, так и иноплеменных писателей средних веков. Но, исполненные враждебного пристрастия к язычеству, они не обращали внимания на истинное значение описываемых ими предметов и только по

необходимости и вскользь упоминают об этих богомерзких требах и бесовских сборищах, так что эти темные намеки наших летописцев на богов и на обряды нашего язычества скорее сами нуждаются в объяснении посредством мифологии, чем могут дать нам о ней верные сведения.

К этой бедности материалов присовокупляется в конце XVII века еще новое затруднение, происшедшее из нелепого направления тогдашних ученых Германии — заменять собственными выдумками то, что не передала им история. Это ложное направление довершилось, наконец, постыдным обманом двух золотых дел мастеров (мекленбургского городка Ней-Бранденбурга): Пелька и Шпонгольца, которые, сочинив басню об открытии древней Ретры близ села Прильвиц, продали мекленбургскому герцогу собрание^[1] металлических божеств и священных сосудов, будто происходящих от древней Ретры; но вернее всего, они были вылиты и украшены выдуманными ими славянскими руническими надписями.

Естественно, что такое направление в изучении наших древностей надолго затемнило истинный путь развития религиозных верований славян и низвергло нашу мифологию в мрачный хаос имен, символов и атрибутов не только сомнительного существования, но часто совершенно противоположных всем понятиям нашего язычества и всем основам нашего народного быта и мирозерцания. Все внимание было обращено только на внешние формы кумиров и их атрибуты; и мифографы, не сознавая, что кумир есть уже высшая степень развития понятия о каком-нибудь божестве, старались все фантастические образы народного суеверия превратить в объективные кумиры, когда достоверно можно сказать, что они большею частью до этой степени своего развития дойти не успели. Но если бы и можно было предположить, что они развились до этой степени, тем не менее нелепо судить о таком кумире, о котором ничего не известно.

Вот, однако же, главная цель наших самонадежных мифологов конца XVIII и начала XIX века. Так признается чистосердечно Григорий Глинка в предисловии к «Древней религии славян» (Митава, 1804 г.). «Описывая произведение фантазии или мечтательности, я думаю, что не погрешу, если при встречающихся пустотах и недостатках в ее произведениях буду наполнять собственною, под древнюю статью, фантазиею... Я переселяюсь в пространные разнообразные области фантазии древних славян и проч.». Эта выписка показывает нам всю скудность взгляда и понятия наших мифографов, старавшихся собственным воображением заменять недостатки наших преданий. К счастью, эта жалкая страсть к педагогической классификации прекратилась с сочинениями Кайсарова и Глинки; но тем не менее останутся еще долго между нами следы данного ими направления и долго еще слепая вера в истину прильвицких древностей найдет своих

защитников и поклонников между нашими учеными; даже сам знаменитый наш историограф Карамзин не в силах был оторваться от этих предубеждений.

По диалектическому развитию всякая крайность производит другую, ей противоположную, крайность; вот почему наши мифологи из этой слепой веры ко всем произвольным их предшественникам бросились вдруг в систему отрицания, отвергая все, чего не знали, — легкий способ не читая и не трудившись на двух страницах определить целую науку. Этот новый путь открыл у нас Строев (в своей «Мифологии славян российских», Москва, 1815 г.); но, кроме Приезжего, не имел он других последователей. Однако же Строев впервые обратил внимание на изыскание внутреннего значения наших мифов, возвысив голос против привязанности к пустым внешним формам нашего язычества.

Не удовлетворяясь более одною компиляцией фактов, наши ученые обратились к изучению иноземных мифологий, дабы через сравнение с ними объяснить себе наши темные предания. Этой сравнительной системе следовал Данковский в Песте и Руссов в Москве, оба старались доказать происхождение наших мифов от богов Греции и Рима. Почти подобное значение, хотя по цели своей совершенно противоположное, имеют сочинения Венелина, также исключительно основанные на филологических сближениях и выводах. Гануш, Юнгман и Колар, следуя тому же направлению, с большою справедливостью обратили свои изыскания на Восток, эту общую колыбель всех племен, языков и верований нынешней Европы. Много здесь удачных сравнений и остроумных догадок, но в целом эти сочинения неудовлетворительны, потому что автор, приступая к труду своему с готовыми вперед понятиями, подчиняет им невольно самое изложение фактов, которое из главной цели сочинения делается таким образом второстепенным средством для доказательства принятой системы, лишая сочинение конкретного единства изложения и цели — фактов и значения. Еще следует упрекнуть этих чешских сочинителей в излишней доверенности к авторитету Маша и Потоцкого и в совершенном незнании богатых материалов, сокрытых в недрах нашей русской престолярной жизни, в ее песнях, обычаях и суевериях.

На эти, доселе скрытые, сокровища древнего быта славян обратили впервые наше внимание Сахаров и, в особенности, Снегирев, а за ними Срезневский и в 1848 году Терещенко, труд которого при совершенном отсутствии всякой системы останется, однако же, еще надолго полнейшим сборником материалов. Эти сочинения бросили совершенно новый свет на науку нашей мифологии и отложили, наконец, в сторону тщетное желание полного фактического изучения всех подробностей форм и обрядов

богослужения, замысловатых филологических выводов и сравнений, мы обратились наконец к истинному началу всех наших народных верований и к философскому воззрению на глубокое значение основной идеи наших мифов, соединяющей все разнородные материалы в одно целое здание религиозного мирознания славянина. В этом новом направлении изменилось и самое понятие фактов, под которыми прежде разумелась одна только мертвая внешность кумиров, тогда как, напротив, главные материалы для воссоздания нашего язычества хранятся в живом источнике самобытной народности славянских племен.

Итак, положительно сказать можно, что наука достигла наконец до истинного понятия нашей мифологии, видя в ней один бесконечный ряд поэтических олицетворений, законов, сил и явлений природы, — олицетворений, созданных пышною народною фантазией и проникнутых духом глубокого мирознания славянина. Вот почему понятия и образные представления язычества, изгнанные христианством из сферы религии в фантастическую область сказок и суеверий, в ней не погибли и, внедрившись в простонародный быт славянина, пустили в нем глубокие неискоренимые корни и роскошной жизнью расцвели в его сельских занятиях, нравах, песнях и празднествах.





Глава I

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ

Первоначальный источник человеческих верований, по нашему мнению, есть отвлеченный деизм; сущность его состоит в обоготворении Бога, Творца, постигаемого нами через созерцание Его творений. Но так как отвлеченное понятие не в состоянии было вполне удовлетворить религиозным требованиям человека, стремившегося осуществить мысль свою в образе, посему вера его ниспала от обоготворения Творца к обожанию творения — от чистого деизма к антропоморфической религии природы. Этот переходный факт совершился двумя путями: одни, видя в природе бесконечный ряд Божественных воплощений, предались поклонению самых явлений и веществ; другие же, исполненные благоговения к тайным жизненным силам природы, облекли их в своей

фантазии в аллегорические формы чувственной образности и таким образом представили себе всю природу наполненную бесчисленным множеством видимых и невидимых духов, чародеев и гномов. — Такова была религия древних славян!

На этой первой ступени развития антропоморфического направления язычества человек, не понимая еще общего закона единства многообразных, но сродных явлений и желая олицетворить каждое отдельное явление, каждый отдельный предмет в человеческую форму, создает в своем воображении для каждого явления толпу духов, не имевших еще индивидуального значения и понятых им только как коллективы различных проявлений одной и той же силы природы. Итак, мы видим, что лицо каждого божества сливается в общем родовом понятии; но коллектив его имеет и имя, и определенные признаки, как, напр., *водяной дедушка, леший, домовый* и пр. Но мало-помалу эти бесчисленные коллективы сливаются в одну главную индивидуальность, которая или поглощает их в себе, или подчиняет своей власти. Так, напр., до сих пор все названия бесов и демонов имеют на всех языках при коллективном своем значении еще другое собственное имя главного их предводителя, беса бесов — *дьявола*.

Но между тем человек, живя и изучая природу, приобретает каждый день новые понятия, вытекающие одно из другого и дробящиеся до бесконечности в его уме. В этом непрерывном переходе от родовых понятий к более частным, в этом дроблении человеческой мысли лежит логический процесс развития всякого пантеизма, облекающего отвлеченные понятия в видимые образы богов и кумиров, так что религиозные верования всякого народа, исповедующего многобожие, необходимо подвержены этому закону трансцендентальности.

На второй ступени своего развития антропоморфизм для каждого общего понятия однородного явления создает отдельное лицо, тождественное с самым законом явления, и значение такого лица определяется единственно значением конкретно связанного с ним явления, так, напр., бог грома, бог дождя суть не что иное, как самые явления грома, дождя и пр. Посему и внешние формы и символы их еще очень бесцветны и самое название свидетельствует о неразвившейся еще их индивидуальности. Причина сему то, что эти названия или заимствуются из природы от самого явления, как погода — мороз, или составляются из прилагательных, определяющих общее свойство не столько лица, как явления, и требующих необходимого присоединения существительного Бог, пан, царь и пр., чтобы сделаться собственным именем божества, напр. Белый Бог, добрый Бог, добрый пан и пр. Часто даже эти имена, удерживая свое качественное значение, прилагаются впоследствии, как простые прозвища, к другим

богам, так, напр., называют *Радегаста белым, добрым Паном; Сиву — Красной Паней* и пр. Для этих божеств народная фантазия создает свои образы, изустное предание их именует и украшает, обряды изъясняют их значение; но, несмотря на это, образы, имена и атрибуты все-таки колеблются в какой-то таинственной неопределенности до тех пор, пока, наконец, зодчество не установит различные оттенки понятия какого-нибудь божества и не окаменит их, так сказать, однажды навсегда в определенные формы.

Здесь настает третий период развития антропоморфического мифа. — Кумиры, перестав быть средством изображений, возбуждающих простонародное благоговение, становятся сами предметами обоготворения и поклонения и, утратив конкретное единство своих образов с выражаемыми ими понятиями, принимают совершенно индивидуальное значение покровителей и распорядителей тех явлений и сил природы, с которыми прежде они были тождественны, что нередко совершенно изменяет их прежнее значение, делая из бога смерти или болезни кумира жизни и здоровья, из бога мира кумира войны и пр.; этим кумирам создают храмы; учреждаются целые касты священников и жрецов для приношения им жертв и для отправления богослужения; их имена из прилагательных, выражающих общие свойства природы, обращаются в имена собственные или заменяются другими случайными местными названиями. Словом, кумиры получают вполне определенное существование объективной индивидуальности.

Здесь христианство остановило у нас дальнейшее развитие язычества, которого пример мы видим у других народов и которое, по своему логическому закону, явилось бы позднее и у славян; ибо народ, более и более сродняясь с своими божествами посредством их человеческих изображений, вскоре невольно передает им, в своем воображении, все свои страсти и оживляет их бездушные истуканы физической деятельностью человека. Боги начинают жить для него жизнью земною, подвергаясь, кроме смерти, всем законам природы, и из образной объективности переходят к действительности субъективного существования: они вступают в узы брака и родства, и новые кумиры не только уже, как понятия, путем мысли вытекают из своих первообразов, но рождаются от них физическим рождением человека.

Наша теогония, как сказали выше, не достигла до этого зенита своего развития, и посему положительно сказать можно, что наши кумиры, как объективные аллегорические образности, никогда не принадлежали к разряду определенных мифических личностей Западной Европы. Отсюда

видно, что родственные отношения богов, как Греции и Рима, так и Германии, не могли существовать в славянском мифе и доказать их существование невозможно, несмотря на некоторые примеры такого родства, приведенные изредка летописцами или песельниками; ибо подобные примеры могут быть или поэтические аллегории писателей, или слабые отблески влияния на них «Метаморфоз» Овидия. Итак, славянскую мифологию, по ее развитию, можно разделить на три эпохи:

- 1) эпоха духов,
- 2) эпоха божеств природы,
- 3) эпоха богов—кумиров.

Подтверждение подобного подразделения мы можем найти в самом постепенном введении христианства между славянами. Так напр. в преданиях южных славян, прежде других принявших христианскую веру, преобладают преимущественно коллективные духи, кумиры же у них вовсе еще не встречаются. Точно так же в Моравии, Богемии, Польше и России, при существовании духов и некоторых даже кумиров, большая часть богов суть божества природы, принадлежащие второй эпохе. Наконец, у полабов и померанцев коллективы совершенно исчезают и вся религия сосредоточивается на некоторых главных объективных личностях арконских и ретрских идолов; даже встречаются некоторые признаки их перехода к субъективной эйзнии западных богов. Так, например, об лошади *Световита* шло поверье, что сам бог ездит на ней по ночам.

Имена и прозвания богов также, большею частью, носят на себе печать этих различных эпох их развития, как упомянули мы об этом выше, так, например, название урочища (близ села Городок, на дороге из Москвы в Троицу) Белые боги напоминает нам эпоху коллективности наших богов; это употребление множественного числа имеет здесь большую важность и дает нам повод предположить существование белых богов или духов. Из этого коллектива развилась естественно личность белого бога, которая в свою очередь сократилась в собственное имя кумира *Белбога*, *Белена* и *Белуна*.

Обращая наше внимание на самое богослужение славянского язычества, мы также найдем в нем полное подтверждение нашего мнения. В самом деле, хотя сведения, дошедшие до нас о богослужении и обрядах языческих славян, скудны и недостаточны, но со всем тем они ясно носят на себе печать какой-то разнохарактерности, а это объяснить можно только различными временами религиозного развития, к которым принадлежат эти отдельные факты. Если посему мы на обряды богослужения распространим наше общее разделение славянского мифа на три главные эпохи, то этим не только подтвердим предложенное разделение, но и объясним самые факты, которые, взятые все вместе, часто противоречат друг другу и вводят в

сомнение читателя. Таким образом, в первую эпоху нашего мифа человек, не зная даже еще личных богов, естественно, не имел ни определенных мест богослужения, ни определенных лиц для совершения его, и как божества были не отдельны, но тождественны с самими явлениями природы, которым они служили аллегориями, то он приносил жертвы непосредственно самым явлениям; так, напр., Прокопий говорит, что славяне приносили жертвы рекам и нимфам; кроме того, сохранились еще доселе обычаи бросать венки, яства, деньги в реки, колодези и озера; вешать свои дары на ветви деревьев, класть их на камни или у корня старого дуба, все это приносилось в жертву одним божествам первой эпохи, как-то: *вилам, русалкам и лешиим*. Этот факт вполне под-тверждает нашу мысль, что все это приносилось в жертву непосредственно самим явлениям природы. Эти жертвы приносил всякий без посредства особенных для того назначенных жрецов; впрочем, эту должность в большие народные праздники, может быть, отправляли старцы, которые в народной и гражданской жизни славян пользовались всегда великими правами, оставшимися до сих пор в названиях старосты, сходки стариков и пр.

Такое мнение подтверждается русской колядской песнею, где вместо жреца является старец:

Во тех лесах огни горят,
Огни горят великие.
Вокруг огней скамьи стоят,
Скамьи стоят дубовые.
На тех скамьях добры молодцы,
Добры молодцы, красны девицы,
Поют песни Колюдушки.
В середине их *старик* сидит,
Он точит свой булатный нож.
Котел кипит горючий,
Возле котла козел стоит,
Хотят козла зарезати.

С более точным определением значения божеств природы стали определяться места жертвоприношений и молитв. Что действительно у славян до существования кумиров, и, следовательно, до построения им храмов, были известные места, на которых они привыкли молиться какому-нибудь богу, это подтверждается свидетельствами историков. Так, Константин Порфирородный говорит, что руссы приносили жертвы на

днепровском острове Св. Георгия; Сефрид говорит о дубе, где живет какой-то бог и которому приносят жертвы; Гельмольд, Дитмар, Саксон и Андрей, жизнеописатель св. Оттона Бамберского и пр. знали у полабских славян множество священных рощ, где поклонялись какому-нибудь священному дереву, конечно, в позднейшее время часто замененному истуканом какого-нибудь бога. К этому разряду мест, посвященных богослужению, надобно причислить все многочисленные городища (Rundwaelle) и, наконец, как переход к последней эпохе славянского мифа, некоторые храмы, как, напр., Ютербокский, которого устройство ясно доказывает, что в нем не мог существовать идол, но просто обоготворялось явление первого солнечного луча Авроры.

При определенных местностях необходимо должны были существовать и определенные лица, совершающие богослужение, но, вероятно, они еще не составляли определенной касты священников, а не были ли это *волхвы*, *веице*, *кудесники* и *чародеи*, лица, не посвятившиеся на это звание, но вызванные минутным вдохновением, как подтверждение этому мы видим теперешними гернгутерами и квакерами Германии и Англии. Ответом на этот вопрос могут служить назначение волхвов, которые, подобно жрецам других народов, гадали и предсказывали будущее, что подтверждают наши летописи, тем что не упоминают об имени жреца до кумира *Перуна*. Суеверный страх, которым они окружали свои действия, и происходящая от этого их власть над народом, все это служит доказательством, что наши волхвы в эпоху божеств природы имели значение жрецов и священников. Самые предания о чернокнижии, знахарстве и колдовстве могут быть отнесены к обрядам языческого богослужения.

При появлении кумира и власти его над человеком и природою определяются особенные обряды его богослужения, появляются богатые капища и святилища и образуется целая каста священников и жрецов, которые, пользуясь суеверным страхом народа к кумиру, не только обогащаются его дарами, но и завладевают часто политической властью его царей. Так было в Рюгене и у редарян.

Праздники, жертвы, обряды и гадания — все сосредоточивается вокруг кумира и жрецов его и для народа окружается какою-то недоступною таинственностью, под которою легко отыскать можно хитрые обманы корыстолюбивых жрецов. Эта черта разделяет все богослужение наших предков на две совершенно отдельные половины: непосредственное поклонение явлениям и поклонение идолам. Первая, подобно вере в духов и божества природы, и поныне не искоренилась еще из быта простого народа; его праздники, песни, гадания, суеверия — все носит на себе печать этих времен язычества и служит нам материалами для его изучения; тогда как от

времен чистого идолопоклонства все исчезло: и разврат вакхических пиршеств, и возмутительные кровавые жертвоприношения, и богатые храмы, и чудовищные истуканы, наконец, даже и замысловатые гадания и двусмысленные пророчества жрецов и волхвов. Самый факт изглаживания из народной памяти всего, что относилось к последнему периоду нашего мифа, доказывает нам новизну идолопоклонства между славянами, не успевшего еще твердо укорениться в их умах и разрушенного вместе с самыми кумирами при первом дуновении христианства. В этом заключается, может быть, причина, почему между восточными славянами христианство не только почти не находило нигде сопротивления, но даже сами язычники призывали к себе проповедников новой веры и принимали их с восторгом, что представляет почти единственный факт во всей истории введения христианства.

Проследив логическое развитие антропоморфической теогонии наших предков, остается нам обратить внимание на почву народного мирозерцания, на которой совершилось это развитие, на посторонние силы, имевшие влияние на него, и, наконец, с помощью христианского воззрения постараемся объяснить колорит язычества по дошедшим до нас преданиям.

Вся народная жизнь и поэзия славянина дышит необъятною любовью и благодарственным благоговением к природе в малейших даже явлениях ее жизненных сил. Как земледелец, по преимуществу он в земле видел не только кормилицу человека, но и неисчерпаемый источник своего богатства и благоденствия. Таким образом, земная природа стала для него неприкосновенным святилищем всех его верований и мерилom всех его понятий, которых отвлеченность постольку лишь была ему понятна, поскольку она проявлялась в жизни явлений, что и выразилось в его религии, в особенностях славянского дуализма.

Противоположные явления дня и ночи, солнца и тени, жара и холода, жизни и смерти присвоил он и духовному миру своих религиозных понятий; но в то же время он понял, что при видимой взаимной борьбе этих враждебных начал добра и зла они уничтожаются в гармонии жизни, что в вечных законах разума относительные понятия добра и зла не существуют и что посему все жизненные силы природы имеют одинаковое право на его поклонение, на его страх и благодарность. Эта высокая философия природы отразилась у нас в дуализме не враждебных сил добра и зла, как обвиняют нас в этом немецкие ученые, незнакомые с нашею народностью, но в дуализме примирения, соединяющем противоположные крайности в общую цель жизни и уничтожающем таким образом их одностороннюю зловредность. Итак, отвлеченных понятий добра и зла у нас не

существовало, но каждая сила, каждое явление носило в себе возможность относительно доброго и злого влияния. Вот почему почти все божества природы нашего мифа то помогают, то вредят человеку, напр., предания о русалках, вилах, леших, домовых и пр.; далее боги зла, смерти, болезни, неурожая и засухи переходят нередко в богов жизни, здоровья и плодородия; наоборот, добрый бог мира и лада переходит, напр., у поляков в кровавого покровителя войны и бога смерти. Этим объясняется наконец и странное, по-видимому, противоречие у западных славян, приписывающих своим кумирам в одно и то же время противоположные прозвища белого и черного, доброго и злого бога.

Другой важный результат народного мирозерцания славянина преимущественное преобладание в двух первых эпохах нашего мифа женского элемента земного плодородия над богами неба, олицетворяющими в антропоморфизме творческий момент мужеской силы деторождения.

Таким образом возникло в нашей мифологии вечное противоречие между самою религией и основною ее идеею, между понятием плодородия вообще и осуществлением его в славянском мифе, противоречие, которое необходимо должно было разрешиться борьбою неба и земли; из этой борьбы вышло, наконец, победителем небо, боги которого, овладев прежним значением божеств земной природы, примирили в себе двойственный элемент мужеской и женской силы плодородия. Об этой борьбе неба с землею ничего не сохранили нам наши предания, разве только, может быть, это должно разуть под аллегорическими сказаниями о великих деяниях наших богатырей, сохранившимися в волшебном мире нашей народной поэзии. Примирение же этих двух враждебных верований неба и земли язычество олицетворило, как увидим в конце этой книги, в двух главнейших праздниках славянского народа — праздниках Коляды и Купалы.

Переходя теперь к посторонним силам, имевшим влияние на наши мифы, мы только вкратце упомянем здесь о них, имея в виду еще неоднократно возвратиться к этому предмету.

Внезапное появление у нас религии света и огня и особенность ее отличительных свойств дают нам повод предположить, что эта мгновенно совершившаяся перемена в общем характере нашего язычества не могла произойти без влияния на нас иностранных мифов тем более, что все славянские боги неба, как по значению, так и по именам своим, имеют много поразительного сходства и тождества с богами солнца и грома у всех древних народов. Прежде всего здесь должно упомянуть о литовских и скандинавских мифах, которые в некоторых преданиях так тесно связаны с славянскою теогониею, что даже трудно определить, кто у кого заимствовал эти верования, так, напр., понятия *Перуна* и *Перкунуста*, *Пекола* и

Пикольника, Лады и Лаймы, Вода и Водина (Одина), Тура (Турица) и Тора, Прии и Фреи и пр. и пр.

Чародейство и некромантия, известные у нас по чудским преданиям, имели также, без сомнения, некоторое влияние если не на самую мифологию, то, по крайней мере, на обычаи и суеверия язычества северных славян, в особенности же в первые времена христианства в России, где сказания о волхвах и вещих нам ясно намекают на переход этого элемента финской религии в наши языческие предания.

Отрицательно важно для нас влияние греческих и римских мифов, хотя влияние это не относится к преданиям наших языческих времен, но, напротив, разразилось на нас, к несчастью, гораздо позднее в ученых исследованиях новейших христианских писателей эпохи классицизма, старающихся насильно вдвинуть в готовые рамки греческой мифологии имена, вовсе чуждые и не соответствующие преданиям славянской старины.

Почти подобное влияние на наши предания имело и христианство. Проповедники новой веры, вместо того чтобы доказать народу ложность вымышленных им богов, сами в религиозной своей ревности преследовали их, как истинных врагов христианства и служителей ада, но вера народная к прежним божествам язычества еще не совершенно истребилась; новообращенные христиане, потеряв благоговейное уважение к богам и кумирам, не перестали, однако же, их бояться, и таким образом самых благодетельных личностей своих предков преобразили со временем в своем воображении в черных богов ада и смерти. Этому влиянию подверглись не только народные песни и сказки, но и самые летописцы первых веков христианства, которые, принадлежа исключительно духовному званию, в своих описаниях языческих богов и обрядов славян исполнены к ним вражды и отрицательного пристрастия, нередко затемняющих исследование новейших ученых о религиях древности. Наконец, в самых мифах встречаются нередко предания и имена из христианской религии, а это нам доказывает, что язычество еще долго жило в народной фантазии после внешнего его истребления в политической жизни; но во всех этих мифах и сказках ясно — христианство берет преимущество над богами язычества, которые, как сказали выше, обращаются в злых духов ада. Так, напр., поверие многих славян, что русалки и мавки суть души неокрещенных детей, или что они, как и лесные и полевые духи, при низвержении Вельзевула в ад упали на землю, где и разбрелись по водам, рощам и бурьянам.

Между аллегорическими мифами чудов и финнов встречаем у Моне следующий рассказ: Лаунаватар, будучи беременною в продолжение 10 лет, не могла родить до тех пор, пока св. Георгий (по-чудски св. Пръене — явно

отголосок имени Перуна) не бросил ей из туч красную нитку (молнию!) на живот; она родила тогда 9 сыновей, но Христос не захотел их окрестить, и они сделались мучением для человечества, младший из них — животная боль колика.

В другом месте читаем мы, что медведь, родившись в небе между луною и солнцем, был снесен Мариєю в ее золотой колеснице на землю. Таким же образом Пророк Илия, перешедший к языческим осетинцам под именем Эллея, почитается у них за громоносного владельца горных вершин и, вероятно, у них в этом случае заменил германского *Тора* или финского *Тиермеса*. Нередко созвучия мифических имен богов с именами святых христианской церкви было причиною перенесения народного поклонения первых к особенному уважению вторых, так, напр., Гизебрехт приписывает стараниям католических миссионеров особенное почитание в Померании св. Готхарда, который, по словам его, заменил в народном поверии языческого бога Годерака. От подобного же недоразумения, вероятно, происходит великое уважение чехов и моравов к святому Виту (*Sanct. Veil*), замученному за веру Христову на острове Рюгене, где процветали капища и священство *Световита*, почему некоторые мифологи вообразили себе, что *Световит* не что иное, как святой Вит, переделанный язычниками в кумиры бога солнца, тогда как, наоборот, поклонение *Световиту* перешло со временем в народе на св. Вита; точно так же у нас в России народное суеверие придало святому Власию качество хранителя скота, принадлежавшее в нашем мифе кумиру *Велесу* или *Волосу*.



Еще поразительнее в этом отношении соединение языческих праздников с христианскими, так, напр., соединение обрядов и даже имени нашего древнего *Купала* с праздником рождества Иоанна Крестителя; празднество *Тура*, *Ярыла* и русалок с церковными праздниками Троицкой и Всесвятской недели, даже последняя в Галиции до сих пор удержала древнее имя *Турицы*. У латышского племени праздник бога растений и хлебов *Пергубриуса* совпал со днем Св. Георгия; наконец, у финнов простонародные обряды во дни Св. Илии Пророка, Воздвижения Честного Креста, Св. Екатерины (по-фински *Kajsaan peiwa*) и Св. Оловса носят ясные признаки языческих воспоминаний. Сюда еще отчасти принадлежит и представление диавола с рогами, с козлиными ногами, вероятно, искаженный образ представления *Тора* или *Тура*, которых имена нередко в устах народа перешли в брань и вполне соответствуют диаволу или черту, так, напр., *Бером* или *Паром–Прам* у словаков и карпатских славян, или *Чернобог* у люнебургских вендов.

Таким образом, обняв общее развитие нашей мифологии и посторонних на нее влияний, мы видим, что главною чертою народного мирозерцания славянина было равное поклонение всем добрым для него и вредным явлениям природы. Это мнимое равнодушие его к случайностям земного существования проистекало из глубокого сознания жизни, где все эти случайности примиряются в общем законе вечного разума. Но когда позднее человек, отклонившись от природы, предался исключительно поклонению кумирам, когда, в то же время, невольно сознавая в душе своей их нелепость, он не мог их уважать, между тем как невежество и суеверие заставляли человека их бояться; тогда невольно стал он искать спасения от них в чародействе и из религии покойного и ясного сознания перешел к религии тревожного, таинственного, из религии примирения к религии страха. Ясно, что при этих условиях вера Христова не только не могла найти у нас сопротивления, но явилась славянину спасительным исходом из тревожного и недовольного состояния души, в которое низвергло его невежественное идолопоклонство.

Мифы славянского язычества

Глава II

БОГ — ЖИВА И МОРА — ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Нет сомнения, что в славянской религии существовал когда-то момент чистого деизма; но время утратило для нас память об нем, хотя самое слово Бог, которое во всех славянских наречиях, выражая идею высшего существа, Творца вселенной и конечной причины всех явлений, ясно намекает нам на

этот первоначальный момент религиозных верований наших предков. Подтверждение этой мысли мы находим у летописцев, так, напр., Прокопий говорит ясно, что славяне поклонялись одному Богу Творцу; но далее называя его владетелем грома и молнии, именем которого клянутся и которому приносят жертвы на высоких горах, он, по-видимому, смешивает его с Перуном. Определительнее в этом отношении свидетельство Гельмольда, он рассказывает, что славяне верят в Бога Творца, который, предавшись вечному покою в своем небесном жилище, не занимается мелочными делами земли и не внемлет мольбам человека, предоставив управление земли своим внукам или прибогам. Такое понятие о высшем божестве объясняет нам причину, по которой ему не строили храмов, не молились и не приносили жертв; этим объясняется также, почему Прокопий мог легко смешать его с *Перуном*, как и случилось это позднее в самом народе, который, забыв первоначальное свое предание о Боге, перенес имя это на его земных заместителей и прибогов и стал поклоняться *Световишу*, *Перуну* или *Радегасту*, как главному божеству и богу богов и самое имя высокого существа низвел к названиям частных божеств природных явлений, как *Утребог*, *Земльбог*, *Стрибог* и пр.

Корень слова *Бог*, *Боже*, *Бози*, общий всем славянским наречиям, сохранился у нас во многих производных словах как: *богатый*, *убогий* — бедный, (коринт.) *побожать* — сожалеть и *обожать*, *сбожать* — обеднеть, *божак* — малая монета для нищего, *прабог*, *прибог* (лауз.), *небог* (чешек.), *Богавец* или *Богававец*, — гадатель (краин.), *Божница*, *Богатырь*, *буг* — река. Древние мифологи^[2], опираясь на буквальный смысл сказаний летописцев о поклонении славянина рекам и водам, стараются произвести от имени Буга и самое название Творца; справедливее, впрочем, искать корень этого слова на Востоке, этой общей колыбели всех народов, языков и религиозных верований индоевропейского племени. Так, Гануш старается доказать тождество нашего слова *Бог* с индийским Буддою, но справедливее, кажется, мнение Касторского, производящего его от санскритского *bhaga* (*felicitas*) — *Богават*, или *Бога-Вани* (вечное существо).

От идеи единого Бога человек вскоре перешел к обоготворению жизненных сил природы, как проявлению его творческой силы. Но как главное проявление этих жизненных сил основано на законе вечного возрождения и плодотворности, то весьма естественно, что этот закон сделался главным предметом религиозных верований человека, который стал обоготворять его во всех его явлениях растительного и животного царства. Так как закон оплодотворения имеет два главных момента: мужского и женского плодородия — силы мгновенного зарождения и силы постепенного развития зачатка, то эти два момента отразились различно в

антропоморфическом мифе через аллегорические символы неба как общего понятия о влиянии светил и атмосферы на земную растительность и земли, как матери и кормилицы всей природы. Этот общечеловеческий миф Озириса и Изиды, Сатурна и Геи вполне не выразился в славянской теогонии по двум причинам, из которых первая, как уже выше упомянуто, происходит от неразвития субъективности наших кумиров, которое лишило их брачных уз, связывающих у других народов царя небес с богиней земли; вторая же причина заключается в особенном взгляде человека на природу, в которой он, пораженный явлением *рождения*, пренебрег самую причину сего явления и уступил таким образом женскому началу плодородия главное место в своем религиозном мирозерцании. Таким образом, небо, потеряв для него значение мужеской силы зарождения, стало явлением посторонним и постольку лишь достойным поклонения, поскольку оно могло своей случайностью вспомоществовать общему развитию растительной природы.

Итак, земное плодородие, как главное проявление жизни, стало для славянина конкретным ее выражением, которого символ — земля, а женщина — образное олицетворение. При свойственном нашему язычеству дуализме к понятию жизни необходимо присовокупилось и понятие смерти, не как отрицание жизни, но, напротив, как частное проявление самой жизни в плодоносном моменте ее разрушительной деятельности. Вот почему славянин не страшился смерти: он видел в ней один лишь частный случай общего закона жизни; через подчинение же понятия смерти родовому понятию жизни у него первое понятие делается как будто особенным свойством второго; и потому—то боги смерти, вытекая в его религиозной фантазии из богов жизни, принадлежат к одному и тому же разряду божеств и служат также олицетворением жизни в процессе разложения, подобно богам плодородия, олицетворяющим жизнь в процессе развития.

Все боги производительной силы жизни, обоготворяемые славянином, как частные односторонности одного родового понятия, как многообразные воды одного общего источника, проистекают все из одной первоначальной основной идеи жизни, которой двойственное проявление в богинях жизни и смерти (*Живы* и *Моры*) мы легко проследим до самых частных и незначительных божеств нашего мифа, вообще носящих на себе несомненную печать их общего происхождения от этих двух первообразов обоготворенного развития земного плодородия и жизни природы. Но самое понятие развития необходимо влечет за собою условие совершаться в известной продолжительности более или менее определенного времени, и поэтому всякое явление, подвергающееся закону развития, непременно заключает в себе два понятия начала и конца и разделяется посему на несколько степеней, или эпох, своего развития.

В нашем мифе боги жизни и смерти олицетворили собою эти две окончательные точки в законах жизненного развития, для которого богиня жизни — начало, а богиня смерти — конец. Таким образом, все боги плодородия разделяются у наших языческих предков как по значению своему, так и по филологическому происхождению имен их на две главные категории: богов жизни и богов смерти, как главных деятелей в процессе полного развития жизни, т. е. ее зачатия, постепенного созревания и разрушения (смерти), проистекающих из первообразных представлений *Живы* и *Моры*. Так, относительно человеческой жизни, *Жива* олицетворяется под различными именами и формами *Дзиевы*, *Девы*, *Дидолады*, *Дидилии* и пр. в понятии девственной красоты, юности и плодоносной силы, любви и брака; напротив же *Мора*, как *Хорст*, *Морена*, выражает эпоху бесплодной, болезненной дряхлости — увядания жизни и неизбежный конец ее — смерть. Относительно же растительной природы *Жива* (как *Сева* и *Весна*) изображала момент весеннего возрождения природы — зелень лугов, полей и дубрав; *Мора* же (как *Морена*, *Хора* и *Кродо*) олицетворяла момент окончательного развития растительной силы природы; созревание плодов, как предвестников временной смерти растений, падение листьев и зимнего сна всей природы. Вот почему и времяисчисление древних славян, прежде чем прибегнули они к общим законам астрономического измерения времени, носило на себе печать того же происхождения от богов земного плодородия и бесплодия. Год, начинаясь весною, с возрождением растительной жизни, и оканчиваясь бесплодным отдыхом земли под снежным покрывалом зимней природы, разделялся на две главные половины — *весны* и *осени*.

Предание сохранило для нас бесчисленное множество различных имен божеств и духов плодородия и смерти, но все они с малыми исключениями связаны между собою таинственным узлом их общих корней, которые ясно намекают на тесную связь их общего значения. Эти корни для богов жизни — *жив*, *сив* и *див*, для богов смерти — *мор*, *хор* и *кор*; посему нам и должно теперь обратить внимание на эти корни и на значение слов и названий богов.

Корень *жив* или *сив* означает во всех славянских наречиях, как и во всех именах нашей мифологии, идею плодородия и жизни, напр. жизнь, жить, живот, жито, жатва, сеять — посев и даже, быть может, французское *Seve* (сок растения) также и названия наших богов: *Жива*^[3], *Сиева*, *Сейвина*, *Дзиева*, *Дживица*, *Дзевонна*, *Живонна*, *Джидка*, *Житиврат*, *Сибог*, *Живбог*, *Жилбог* и пр. То же видим мы и у других народов: в греческом языке и мифе *Сито* означало жатву и употреблялось как имя Деметры; в индийском же мифе *Сита* — богиня хлебопашества, *Ситон*, *Ситта*, или *Сантуситта* — название Бумы на острове Цейлоне; *Ситиатура*, наконец, — бог весны и

сын солнца. Из этих сравнений можно почти положительно определить, что санскритское слово *сития* — жито — как общий корень не только вышеупомянутых индийских богов, но и всех славянских слов и названий, совпадающих с словом *сития* как по значению, так и по звукам.

Если корни *жив*, *сив*, *сев* относятся к производительной силе растительной природы (жито, сеять и пр.), то и корни *див*–*дев* намекают, по-видимому, на элемент человеческого плодородия (дева, дед, дитя). Таким образом, слова: дивный, дивиться, удивление, дева и девица (дивица); название богов *Дзидзилия*, *Дидилия*, *Дзевонна*, *Живонна*, *Дзива*, *Дзева*, *Дива* (жива), *Дзедка*, латышская *Диза*; также латинские *Deus–divus*, скандинавское *Див* (духи добра) и наконец индийские *Магадева* — высший Бог; *дева* — общее название божества; *Девагуел* — общее название полубогов. *Дева Джанани* — индийская нимфа; *Девагди* — внучка Брамь; *Деваги* — Царица и богиня, от нее родился Вишну в преображении Кришны Аватары. *Деваяни* — дочь планеты Венеры; *Девамуни* — общее название злых ниспавших божеств; *Деван–Нагари* — язык богов или *дев*. На этом диалекте санскритского языка написана книга *ведения* — Веды. *Девандрен* — Дева Индра, т. е. Бог Индра. *Деванци* — дочь солнца (Индри). *Деведаши* — баядеры и пр. и пр.

Все эти слова очевидно имеют своим корнем *див*, *дев*, что и может служить намеком на тесную связь их общего значения.

В славянских наречиях *д* нередко переходит в *дж*, *дз* и *ж*. Это можно видеть в словах: водить, вожди, вожу, родить, родзен, рожден, рожать, также и в названиях богов: *Дева*, *Дзиева*, *Сиева*, *Сева* или *Жива*.

Корень *мор*, *смрд*, *мрж*, *мрз* находим мы во многих славянских словах: *мор* — в значении смерть, морить, умора, мороз, мрак, мерзость, маркотно и пр., также и в названиях богов *Морена*, *Мардзана*, *Пизамара*, *Смаргла* (*Семаргла*), *Радамаскла* или *Радамаргла*, *Рараики* или *Мараики*, *Мерот*, *Моревит*, *Мара*, *Мора*, *Кикимора*, *Мура*, *Мураики*, *Маросы*, *Маркоты*, *Дамора* и *Давора*. Этот корень *мор* сохранился и в иностранных названиях смерти на латинском, французском и на прочих романских языках, исключая немецкий язык, в котором этот корень удержался только в словах *mord*, *morder*. В прусско–славянском мифе мы встречаем *Мароса*, или *Мара*, в литовско–прусском — *Маркоттов* и *Маркополов*, которых Гануш находит у славян под именем *Маркотов*. В древней римской теогонии встречаем мы богиню *могс* или *Морту* (богиню смерти) и брата ее Морфея, бога снов. Наконец персидский *Мортихорас* — бог зла и эманация Аримана, как будто соединяющий в своем имени оба корня *мор* и *хор*, может служить нам намеком на их восточное происхождение.

Прямой переход буквы *м* в *к* или *х* на славянском языке отыскать трудно, хотя и находятся некоторые редкие примеры такого перехода в церковно-славянском языке; так употребляется в предложном падеже: злым и злых. Легче было бы доказать этот переход посредством изменения *м* в *в*, *в* в *х* и, наконец, *х* в *к*, хотя такая теория еще весьма неосновательна. В самом деле, губные буквы *м*, *п*, *б*, *в* и *ф*, часто заменяются одни другими, так, например, в иллирийском языке: *mnogo i vnogo* — *tamnica i tavnica* — *Benetke, Vnetke i Mietke* (Венеция) — *Venetiani i Mieteani* и пр. Подтверждением сего могли бы в мифологии служить явление польской богини ада — *Воры*, которая тождественна с *Морой*, *Водан* у краинцев, как уверяет Гануш, называется *Моран*, и иллирийские богини *Давора* или *Дамора*. С другой стороны русские слова: *вор* — воровство и пр. могут легко иметь соотношение с богами сна, смерти и мрака наравне с словами *бор* — бурый и пр., носящими также на себе печать ночного, черного и тайного.

Если допустить возможность этого перехода *м* в *в*, то весьма нетрудно доказать связь букв *х* с *б*. Многие из славянских наречий любят соединять эти звуки. Малоросс заменяет ими чуждый ему выговор *ф* и говорит *хвабрика* — *хвартуна* вместо *фабрика* — *фортуна*; этим объяснить можно явление буквы *в* в русском *хворать* — *хворый*, который корень сохранился у поляков в своей чистоте, — *хорий*. У иллирийцев переход *в* в *х* весьма часто встречается; так, напр., *влаче*, *хлаче* и также *кляче*, что объясняет производство русского слова *кляча*, дурная лошадь, от глагола *влачить*. Переход *х* в *к* подтверждается во всех славянских наречиях многочисленными примерами, о которых здесь излишне было бы говорить и к которым принадлежит и самое название бога *Хорса* или *Корса*. Таким образом, богиня *Мора*, переходя в польскую *Вору*, сделалась со временем мужским богом *Хвором*, *Хором* и *Кором*; *Марос* же или *Морс* перешел постепенно в *Ворса* (не существует), *Хворса*, *Хорса* и *Корса* или *Корша*. Эти корни *кор* и *хор* находятся не только во многих словах языка русского, как, напр., *кара* (Божия) — *корить* — *укора* — *покорить* — *покорность* — *корысть* — *короста* — *корчить* — *хворать* — *хворый* (по-польски *хорый*) — *хоронить*, *похороны* и пр.; но и в географических и исторических названиях славян, как *Карпатские горы* — *Каренция*, древний языческий храм в Рюгене — *Корсунь* (*Херсонь*) — *Хорваты* — *Хорваты* — *Кроаты* — *Хорутане* и пр. Вообще *хрв*—*крв*—*хрб*—*крб* как и *срб* и *срв* суть основные корни славянского языка, из которых происходят как все вышеупомянутые названия, так и имена сербов—сорабов—сервов и споров; корень же сей ищет Шафарик в словах *хребет*, *брег* или *брех* и *гора*, что, впрочем, до нас не касается, хотя мы с этим и не совсем согласны.

Подобные примеры слов с корнями *кор* и *хор* находим мы в иностранных мифах. Так, у скандинавов встречаем имена *Кара* или *Кари*, бога ветров и холода, и сына его *Хроста* или *Фроста* (холода). Вообще же весь миф о *Кари* имеет, по-видимому, славянское начало. В греческой мифологии, кроме имени перевозчика *Харона*, напоминающего своим созвучием наше слово хоронить, встречаются также многие слова в языке с корнем *кор*, как, наприм., *корос* — дитя, *каре* — девица, и имена богов *Корос* — бог света, *Корифаиос* — название Юпитера в Аркадии, *Коронаиос* — Аполлон, *Кориос* — Афродита и Артемида, *Кирос* — имя Дионисия и Якха (Вакха) в Древней Греции. Кроме того, оракулы в Коропии и Корсии (в Беотии). По-персидски солнце называется *коршид*, *hur-chur-shid* или *кор*, *кореж* от санскритского корня *кри* — творить, делать и *кара* — Творец, податель. По всем этим этимонам весьма трудно определить, имел ли какое-нибудь влияние греческий *Корос* на нашего *Хорша*? В нашей мифе *Корса* или *Хорша* (*Горхо—Корхо—Курхо—Хвори—Хоре* и пр.) есть еще с корнями *кор* и *хор* — злые духи под названием *Кароссов* или *Каруссов*, которые встречаются всегда в соединении с *Мароссами* и *Маруссами*; кроме того, у далматов — *Летница* или *Хора*, у вендов — боги *Коревит* и *Кродо* или *Крдо* (*Кордо*); наконец еще у карпатских русняков — *Корчун* или *Крачун*.

Из этих филологических исследований мы, между прочим, видим, что *Жива* и *Морена* суть коренные названия богинь, олицетворяющих у нас жизнь и смерть; но здесь жизнь не есть еще собственное понятие жизни вообще и относится к ней как частное к родовому понятию, соединяющему жизнь и смерть в одну идею жизненного начала. Эта идея, как сказали выше, имела у всех народов два одинаковых аллегорических олицетворения, выразившихся в земле, как символе плодородия, и женской груди, как символе кормления. Так, напр., египетская Изида, Диана Эфесская у греков и германская *Герта* олицетворяли понятие земли, как матери природы под формою многогрудной женщины; точно в таком же понятии обоготворялась у поляков *Дзидзилия*, у нас и сербов *Дидилия* и *Додола*. Венды и полабцы обоготворяли *Цицу* или *Цицерлу*, которая, по своему имени, как будто намекает на понятие *mater*, *matella*; но она нигде не удержала сего значения и является нам богинею покровительницы родов и грудных детей, почему и трудно определить, имела ли она когда-нибудь высокое значение, приписываемое ей Юнгманом и Ганушем. С другой стороны, богини земли, курляндская *Земма* и польская *Земина*, как олицетворяющая землю в более частном значении ее материка, вероятно, также сюда не относятся; поэтому мы скажем об них при описании богов невидимой производительной силы минерального царства.

Несравненно лучше и до скорейших результатов достигли бы мы, если бы стали искать этого общего понятия о жизни в мужеской форме *Живы*, как *Живбога* — живого, *Жилбога* — жизни и *Жизлбога*, переделанного Машем в *Числбога*, хотя это лицо совершенно тождественно с понятием *Живы*; почему не без основания можно предположить, что *Жива* было имя высшей богини жизни вообще, перешедшее в частное понятие начала жизненного развития. В этом разряде коллективных духов нашего мифа встречаем имя дев жизни, которое соответствует вполне понятию жизни вообще. Венелин приводит еще имя *Живиц*, называя их славянскими Парками. Вероятно, что *Живицы*—*Дзиевицы*—девицы было не что иное, как девы жизни всех прочих славян и что из них позднее развилась индивидуальность *Живы*, подобно личности *Моры*, которая, очевидно, произошла из коллектива существующих до нашего времени у всех славян поверий о злых *Марах*, *Мурах* или *Морах* (кикиморах), ниспавших со временем до степени домовых духов сна и ночного мрака. Имя *Моры*, как окончательный момент развития растительной жизни в плоде, является относительно самого растения в значении богини старости и временной смерти его; относительно же человека она является богинею осенних плодов, почему и переходит от злого значения богини смерти к значению доброй богини плодородия. То же самое двойственное значение получает она под именем *Марцаны*, как богиня смерти животных. В этом отношении она, доставляя человеку богатые плоды звероловства, уподобляется благодетельной Диане. Однако же *Морена*, как богиня осени и зимы, удержала свое первоначальное значение временной смерти природы, что ясно видно из уцелевших еще обычаев хоронить изображение *Моры* при наступлении весны, олицетворяя в этой церемонии не только окончание зимних холодов, но и смерть прошедшего года.



Идея смерти у западных славян слилась с понятием страшной неизвестности о будущей жизни. Отсюда родились все чудовищные представления богов смерти, переделанные позднее христианскими хрониками и народным страхом в богов грозного ада, тождественных с понятием дьявола. Так, у сербов *Смрд* и *Смертница*, у болгар смерть носит имя *Мерота*, которое встречаем мы и у балтийских славян с привычным прибавлением слова *вит* — *Меровит* или *Моревит*; у сорабов существует до нашего времени, близ Гёрлица, гора смерти, на которой видны еще доныне остатки древнего кумира смерти; но кто был этот кумир — определить трудно. Немецкие ученые называли его *Флинцом*; но это имя чисто германского происхождения от древнего немецкого слова. Flinzstein — кремень, сохранившегося в названии ружья — Flinte. Этот кумир представляют в виде скелета со львом на плечах и факелом в руках; но эти атрибуты, очевидно, приписаны ему изобретательным воображением мифологов XVII века, у которых мы в первый раз встречаем его имя и изображение. Подобное же представление скелета сохранилось также и в русских повериях о злом Кашее и сербском Ребрenezе. Впрочем, трудно

положительно различить богов смерти вообще от богов, олицетворяющих зимнюю природу, каковым была у славян *Самаргла*, которой кумир находился в Киеве.

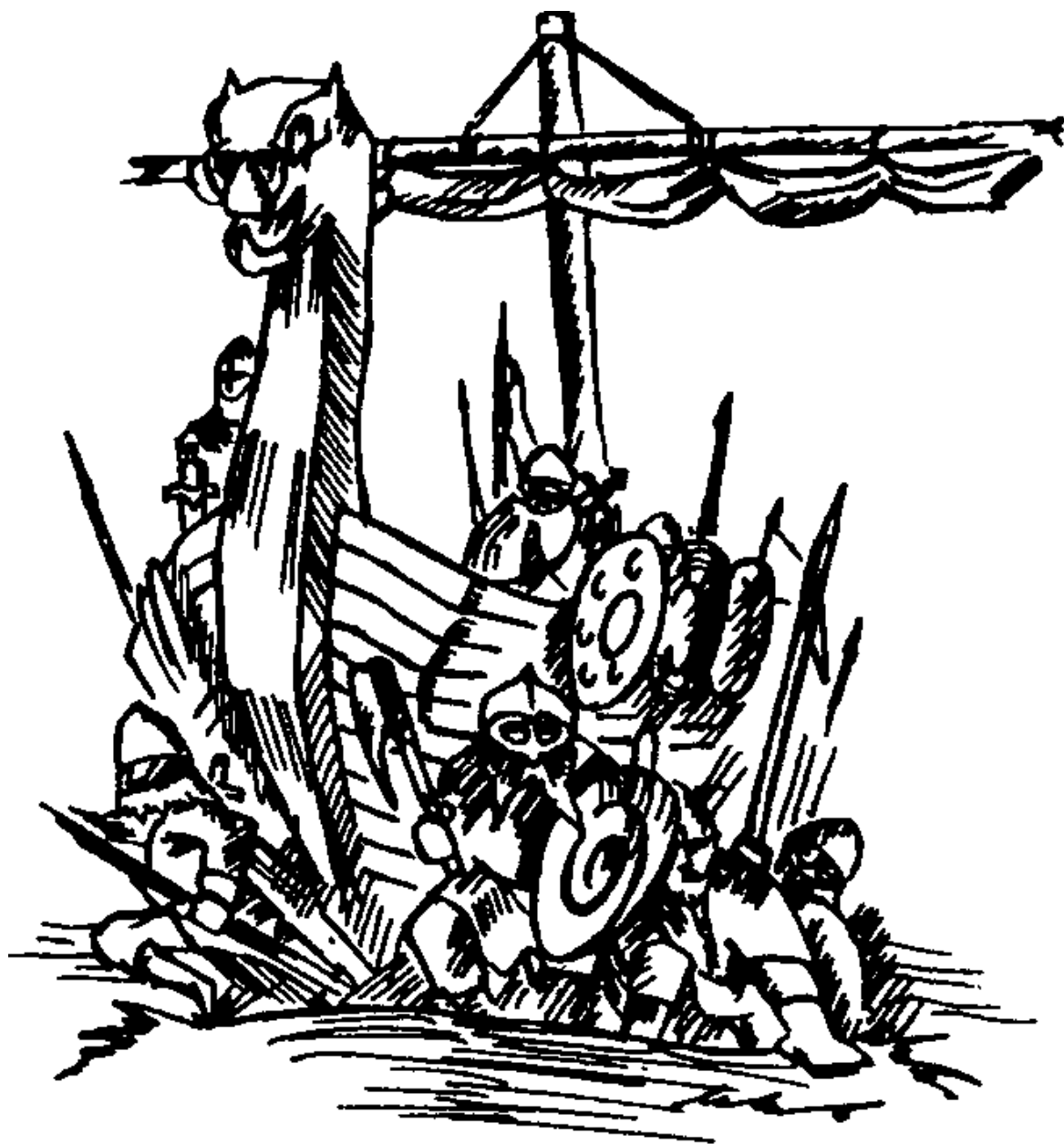
Почти нет сомнения, что наши предки верили в будущую жизнь. Это ясно вытекает из их почтения к мертвым и языческого обычая поминать покойников в тризнах и радуницах, который, будучи освящен благодатным влиянием православия, глубоко укоренился в быту русского и сербского народа; тогда как, напротив, между западными славянами почти совершенно исчез. Трудно теперь при обычаях христианских поминок определить обычаи языческих тризн и радуниц; вероятно, состояли они из трапезы, как будто приготовленной для мертвых и за которою живые осушали свои слезы и стенания медом и водкою. Эти пиршества производились обыкновенно на могилах умерших, но нередко и в домах живых, приглашающих в этот день своих покойных праотцев к себе на хлеб и на соль.

Виелоны, тризны и радуницы суть племенные названия одного и того же коллективного понятия духов, хранителей усопших душ, в первой эпохе нашего мифа. Позднее овладела выражением этих собирательных понятий богиня *Виелона* или *Тризна*, которая посему, как олицетворение смерти, стала почти тождественною с *Морою*. Странно, что в то время, как у нас языческие предания о смерти развились под влиянием православия в высокое почитание и частое поминовение в бозе почивших, эти предания на западе под влиянием католицизма перешли в совершенно противоположное понятие ада и вечного мучения. Это подтверждают самые боги западных славян, из которых одни, как *Ний* или *Пий* (в женской форме *Ния*, *Нимва*, *Нинива*, *Пия*)—*Пик*—*Пекольник* (тождественный с прусским *Пиколло* от слова пекло — ад), являются у поляков и чехов богами ада, тождественными с греческим *Плутоном*; другие же, как *Радамас*, *Родомысл*, или *Радамаргла*^[4], *Припекал* (*Прилегал*) и *Судицы* (сербские Парки), являются грозными судьями ада, имея страшными исполнительницами своих приговоров *Беду*, *Вору* и *Кугу* (у Маша *Куда*) или *Худину* (*Прозерпина*), с которыми одинаковое значение, по словам Стредовского, имеют чешские фурии: *Драчицы* или *Тассани* и тождественные с ними сербские *Дражницы* и *Стражницы*^[5].

Если теперь мы допустим, что славяне имели хотя темное сознание о будущей жизни, то нет сомнения, что понятие смерти, влекущей за собою награду или наказание, необходимо должно было принять двойственное значение добра и зла. Но из этого нельзя заключить, как думают некоторые мифологи, что все качественные названия богов зла, как, напр., *Крвник* — *Злодий* — *Злебог* — *Худичь* и пр., относились бы исключительно к богам смерти и вечного мучения. Наконец, принадлежат сюда еще, по приданному

им мифологами значению зла и смерти, некоторые символические изображения животных, как., напр., лев и дракон — *Чернитра* у балтийских славян, у нас змеи и чудовища, известные из наших преданий и сказок.

Исторически доказано, что лев, признанный учеными за изображение *Чернобога*, перешел к славянам от знамен побеждавших их саксонцев. В самом деле, этот лев саксонских знамен, одним видом своим предвещая славянам угнетение и гибель, мог легко в их суеверном и напуганном воображении перейти в символ постыдной смерти или презренного рабства и побудить их таким образом к обоготворению этого знака грозной победы как могучего кумира, к которому они стали прибегать для отвращения от них несчастных последствий подпадения под чуждую власть. Точно такое же значение имел у балтийских славян и вендов дракон–чернитра, который, вероятно, подобно туровой голове, перешел из капища на воинские знамена редарян по примеру саксонского льва, что доказывается переходом этого дракона в гербы города Росток и многих древних семейств Мекленбурга.



Об русских змеях и чудовищах мы ничего положительного сказать не можем; но, по примеру гипотез об обоготворении предыдущих зверей и чудовищ, мы можем также предположить, что чудом морским олицетворяли древние славяне набеги норманнов, варяго-русов, совершающиеся всегда посредством водных сообщений; тем более что древние корабли норманнов имели часто вид рыбы или какого-нибудь морского зверя. Это легко могло подействовать на воображение славян и заставить их обоготворять эту чудовищную форму норманнских кораблей, сохранившуюся для нас в песне:

Один корабль лучше всех:
У того было у сокола у корабля
Вместо очей было вставлено
По дороге камению, по яхонту;
Вместо бровей прибавлено
По черному соболу якутскому
И якутскому ведь сибирскому;
Вместо уса было воткнуто
Два острые ножика булатные;
Вместо ушей было воткнуто
Два остра копья Мурзамецкия;
И два горностая повешены,
И два горностая, два зимние;
У того было у сокола у корабля
Вместо гривы прибывало
Две лисицы бурнастыя;
Вместо хвоста повешено
На том было соколе корабле
Два медведя белые заморские,
Нос, корма по-туриному
Бока взведены по-звериному.

Что касается до огненных крылатых змей или змоков наших сказок, то достоверно можно предположить, что они имели почти подобное значение и перешли к нам из Литвы, где богу *Потримпо* посвящался змей, за которым ходили священники Ромовы. Он лежал в храме под скирдами хлеба и кормился одним молоком, почему у латышей до сих пор змей сохранил имя молочной матери — *реенамаhtes*. Если справедливо предположение Касторского, что большая часть западных племен нашей Древней Руси находилась под влиянием Ромовы и что кривичи даже получили свое имя от прусского первосвященника Криве, то такое подчинение славянских племен храму Ромовы не могло произойти добровольно, но было, вероятно, результатом кровавой войны, которая в народной фантазии могла легко олицетвориться в грозной форме летающего огненного змея — бога *Потримпо*.



Глава III

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ИДЕИ ПЛОДОРОДИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕЛОВЕКА

Хотя отец, как творческая сила и первоначальная причина зарождения, конечно, олицетворяет первый момент в законе оплодотворения, однако же важнейшее место в нем необходимо должен уступить матери. Она уделяет ребенку в чреве своем часть собственной плоти и собственной крови своей; она в продолжение девяти месяцев влияет непосредственно своею духовною жизнью на всю будущность нового существа и, наконец, страданиями родов

искупает и облагораживает всю низость и презренность чувственных наслаждений, от которых мужчина никакими страданиями и лишениями не очищается.

Мужчина творит бессознательно, слепо предаваясь одним чувственным своим побуждениям; женщина же дает жизнь новому существу в полном сознании ее высокого призвания. Посему, естественно, народ, поклонявшийся жизненной силе плодородия, обоготворил в женщине высший идеал закона оплодотворения, оставляя мужчине олицетворение физической силы плодородия, граничащей, большей частью, с безнравственностью любострастного приапизма.

Богинею женского плодородия у северо-западных славян считалась *Жива* — *Цица*; у вендов — *Цицара*; у поляков — *Дзидзилия*; наконец, у русских, по Кайсарову и Чулкову, — *Дидилия*, считаемая, напротив, другими мифологами богинею бесплодия. Этому божеству поклонялись все бесплодные и беременные женщины: оно покровительствовало свободному развитию зародыша и благополучным родам.

Сюда же принадлежат, вероятно, и сербские *Додола*, *Дода*, *Донда*, и это тем более можно предположить, что значение этих слов, по производству на других языках, указывает назначение их как богинь женского плодородия. У хорутан и краинцев слово *Донда* означает куклу-игрушку; у поляков *детковать*, *дудковать*, *дунки* и наконец даже русское слово *дутки*, все это намекает на что-то *детское*, которому и самое слово *дитя* совершенно соответствует; если же мы припомним, что *Дидилия*, как богиня родов, в то же время покровительствовала и воспитанию младенцев, то будет очевидно тесное сродство этого слова с богинею родов. Что же касается до *Додоле* или *Дедоле*, которую мы также встречаем под именами *Донды*, *Додо*, *Дунды* и проч., то она, вероятно, также была сначала покровительницею младенчества и только позднее сделалась покровительницею девства; наконец, по сходству и одноименности понятий, как богиня лета человеческой жизни, т. е. юности, перешла в богиню лета в собственном смысле слова, или понятия, и считалась у сербов богинею земного плодородия. Но за всем тем она не вышла из круга девических верований и забав, а сохранилась в одних лишь девических песнях и хороводах.

Мы уже выше сказали, что *Цица* была богинею женского плодородия. Этому божеству в первую эпоху нашего мифа соответствовало понятие чешской *Бабы*, которое, в собирательном значении лесных и полевых духов, крадущих грудных младенцев, еще доныне существует по преданиям в Богемии. *Баба* на всех славянских наречиях выражает старую, замужнюю и, следовательно, опытную женщину-бабушку. В сельском быту бабушка или старая опытная женщина до сих пор исполняет у молодых родильниц

должность повивальной бабки; посему легко предположить, что это имя перешло в язычестве и на духов или божеств, помощи которых человек приписывал благополучные роды. Это подтверждает самое поверие богемцев, что злые бабы крадут грудных детей. Таким образом объясняется, быть может, русское божество золотой бабы, которой кумир находился, по сказанию иностранных писателей, в стране Обдорской, при устье реки Оби. Она держала одного мальчика на руках, а другого, называемого жителями тех мест ее внуком, вела за руку.

Здесь должно еще упомянуть о рюгенском кумире *Поренуте*, представляемом германскими летописцами с четырьмя головами и пятою на груди; ему приписывают сохранение зародыша (эмбрио) в чреве матери. Но это неизвестно и весьма сомнительно.

До сих пор мы говорили о богах женского плодородия, покровительствующих свободному развитию зародыша. Теперь мы перейдем к богам плодородия человеческого в его зрелом возрасте. В этот период жизни человека религиозная идея плодородия облекается в поклонение нравственным понятиям любви и брака; но эта любовь, хотя, конечно, чувственная, облагораживается в глазах человека изящным пониманием телесной красоты и высоким уважением девственной целомудренности. Вот почему в религиозном олицетворении этого понятия преобладает женская форма богини любви, соединяющей в себе, по-видимому, противоречащие понятия девственности и плодородия, украшающей их третьим понятием соблазнительной прелести женской красоты.

В таком понятии богини любви *Жива* или *Сива* почти у всех славян принимает название *Дзиевы* или *Девы*, к которому у иных племен нередко присоединяется какое-нибудь качественное прилагательное; отсюда красная дева или красопани, заменившая, напр., у чехов собственное имя богини^[6]. Самое название богини любви, — *Дзиева—Диева—Дива—Дева* — заключает в себе не только понятие девственного целомудрия, но и прелестной красоты, что доказывается сходством корней и слов *дева* и *диво*, *девица* и *дивиться* (удивляться, глядеть).

Темный отголосок поклонения *Деве*, быть может, остался и в России в имени Купидона *Дидо*, выдуманного русскими мифологами прошлого столетия. В самом деле, в этом припеве ясное противоречие между мужеским названием *Дидо* и женским *Лады* вполне бы уничтожилось, если бы вместо *Дидо* мы стали читать *Дива* или *Дева—Ладо*, и, таким образом, в самом соединении этих слов *дева* явилась бы нам переводом неславянского имени *Лады*. Самый переход *в* в *д* допустить нетрудно, тем более что самое окончание слова *Ладо* могло к этому способствовать. Вероятно, однако же,

существовало в нашем мифе и имя *Дида*, или *Деда*, только в другом значении, что также могло быть причиной искажения слова *Дива* или *Дева*; на этом же основании перехода *д* в *в* переделывает Гануш *Дидо—Ладо* в *Видо—Ладо* или *Ладо—вит*.

К имени *Сивы* или *Дивы* принадлежит, быть может, и скандинавская богиня любви *Фрея* из рода Ванадов или Винидов, т. е. славян, как доказывает Шафарик. Карамзин упоминает о югославянской богине *Фрихи*, которую он почитает тождественною с *Фреею*; по словам Суровецкого, *Фрея* называлась также *Vanasif* и писалась руническими знаками, *Sieba* или *Tsiba*, которая ясно намекает на нашу *Живу* или *Дзеву*; *Сиф* же — имя второй супруги *Тора*, знаменитой своею красотою, — эти все имена богини любви имеют, без сомнения, у скандинавов тесное, хотя теперь почти неопределенное отношение к нашим божествам плодородия; ибо, кроме сходства *Vanasif* с нашею *Сивою*, легко еще доказать, что приведенная Вацерадом чешская богиня *Прия* не что иное, как *Фрея*; потому что губные *п—в—б—м* и *ф* заменяются одна другою весьма часто, как видели выше.

Приступая теперь к полуславянской, полулитовской богине *Ладо*, известной нам из одних только припевов и песен, мы встретим бесчисленное множество имен и припевов, имеющих своим корнем две буквы: *лид*, соединенные с различными гласными; эти имена суть следующие: *Дид* — *Дед* — *Дидо* — *Дидоле* — *Додоле* — *Додона* — *Дунда* — *Дюнд* — *Деда* — *Додо* — *Дода* — *Дуда* — *Дяда* — *Дюдо* — *Колядо* — *Коледник* — *Ладо* — *Лада* — *Ляда* (*Lieda*) — *Leila* — *Ленда* — *Лойда* — *Laila* — *Лида* — *Леля* — *Леда* — *Лёд* — *Лель* — *Полель* — *Ладон* — *Лядон* — *Лядо* — *Лалка* — *Ладоле* — *Лидо*, — и припевы: *люли*, *ей люли*, *ляли—лелом*, *лалом*, *ли\уа*. Сюда должно отнести еще литовские *Лада—Ляда—Лейма* и латышские *Лигга* или *Лоигга*.

Из этого лабиринта однородных названий и звуков, терявших часто всякое значение, до сих пор наши критики и мифографы ничего не могут вывести положительного и только напрасно истощаются в разных гипотезах и предложениях, которые часто вовсе не соответствуют ни народному духу, ни религиозным понятиям славянина и которые посему только еще более затемняют и затрудняют путь для их последователей. По нашему мнению, встречаются здесь названия и слова совершенно различных значений, которые должно сначала отделить друг от друга, чтобы облегчить себе разбор этих сродных звуков. Так, во-первых, имена *Додолы*, *Доды*, *Донды* и пр. принадлежат к понятию вышеупомянутых богинь родов и детского возраста человека *Дзидзили*, *Дидили* и *Цицерлы*; во-вторых, имена *Лёд*, *Коледник*, к водяным богам, точке замерзания (льда); в-третьих, *Дид*, *Дидо*, или к понятию *Девы—Живы*, или к особенному разряду божеств,

соответствующих мужеской форме понятия *Бабы*, в каком значении являются у нас водяные и лесные духи или дедушки, совершенно тождественные с понятием колдунов или ведьм мужеского пола; в-четвертых, *Лад*, *Ляд*, *Ладонь*, имена славянского бога согласия и примирения, происходящего от корня *ладить*; в-пятых, *Лада* и *Лейма* — литовские богини любви; наконец, в-шестых, древние славянские слова *Лель* и *Полель*, постольку лишь входящие в имена мифологические, поскольку они, как прилагательные богов любви и *лели*, т. е. нежности, выражают это качество. Начнем с последних.

Вообще мифологи принимают, что *Лель* и *Полель*, два почти одинаковые существа, выражающие собою или понятие дружбы Кастора и Поллукса, или различные оттенки любви и страсти, как в Греции Купидон и Амур. В этом отношении слово *Лель* встречается под разными формами: *Лиели*—*Леля*—*Лейла*—*Лиля*—*Лиоли* (*Ляля*); с переменою же второго л на д переходит он к именам зимнего *Коледника* и богини любви *Лиеды*—*Леиды*—*Лиды*—*Лайды*—*Лиады*—*Ляды* и пр. Все эти слова суть не что иное, как переливы одного главного звука *ие-ия*, т. е. первоначального значения буквы *е*, которая, будучи составлена из звуков *і* и *е*, переходит в русском выговоре в чистое *е*, у малороссов в *и*, у хорутан же выговаривается, наоборот, *ей*, и только в польских и чешских языках она удерживает свое первое выражение *іе* (так у нас *немец*, у малороссов *нимец*, у хорутан *пејтес* и, наконец, у чехов *піетес*). То же видели мы и в именах богинь *Девы*—*Дзиевы* или *Дивы* (*Живы*) и *Севы* (от слова *сеять*) — *Севы*—*Сивы*—*Sieva* и *Сейвины*.

Таким образом, *Лель* (с буквою *е*) является нам древним существительным именем, понятие которого сохранилось у нас в глаголе *лелеять* (в значении нежности). Отсюда наши припевы: *ой леля, леля, ой лели полеля* объясняются здесь путем чисто филологическим и не имеют в себе ничего мифологического, тем более что *полель* не что иное, как усиленное *лель*, подобно словам *мешать* и *тешить*, которых первоначальные существительные *меха* и *теха*, сохранившиеся только в усиленных выражениях *помеха* и *потеха*, теперь не употребительны.

Наименования бога примирения и согласия: *Лад*—*Ладник*—*Ладонь* (от ладони руки как знака примирения) ясно происходят от славянского корня *лад*—*ладить*, который, вероятно, перешедши у литовцев в понятие любви и дружбы, возвратился к нам под формою *Лады*, как богини любви. Что *Лада* не была собственно славянскою богинею, но перешла к нам из Литвы, это доказывает нам, во-первых, то, что имя ее встречается только у славян, живших в соседстве с литовским племенем, во-вторых же, что в нашем языке имя ее не оставило ни одного слова, выражающего любовь и счастье, тогда как, напротив, у литовцев слова: *нежность*, *любовь*, *наслаждение* и

даже название непотребных женщин происходят от имени *Лады* или *Лаймы*, подобно как в Курляндии корень *Лигга* означает всякого рода удовольствия и радости. Наконец, доказывает еще переход в литовском мифе богини *Лады* в богиню любви и то, что *Лада*, слившись в Литве с прусско-латышскими именами *Лаймы*–*Лайки* или *Лигги*, перенесла эти неславянские звуки и в наш миф под формами *Лайлы*—*Лайки*—*Лойды* и *Лалки*; подобное же происхождение имеет и наше слово *люлька*, так же как и припев: *ей люли*, которые, вероятно, произошли от латышской богини веселия, покровительницы качелей, даже до сих пор еще в Курляндии они носят ее имя (*lighotnis* — качели, *lighotces* — качаться) и составляют главную забаву простолюдинов в весенние праздники, т. е. время, посвященное *Лигге*, как богине юности и весны человека.

Что касается до самой *Лады* в нашем мифе, то она, как богиня любви, является у нас олицетворением девственности и плодородного брака и вообще счастья в любви. Но как любовь часто бывает причиной горя и даже смерти, то она нередко принимает и значение несчастной любви, семейного расстройства и развода, так, напр., в песне:

Но мне несчастье злое дало их на муку,
У меня сестра Лойда, у меня брат Лало (Ладо).

В наших песнях вообще *Ладо* (*Лель*) с различными видоизменениями ее имени имеет в припевах значение не только богини, в смысле любимого лица, но вообще часто даже синонима любви; так, говорят русняки о человеке, женившемся без любви, что он не с *Ладой* женился. Иногда *Ладо* имеет значение и даже заменяет имя невесты, как это видно в песне:

По той траве Ладо шла,
За Ладой муж бредет,
Ой люли, шелковая!

Ты постой, Ладо моя,
Ты подожди, Ладо моя,
Ой люли, шелковая!

Я, сударь, не твоя,
Я родимого батюшки,
Ой люли, шелковая! и пр.

Здесь *Ладо* является вместо имени прелестной девицы. Далее в сербской песне:

Тебе Ладо
Святой боже
Ладо Ладо
Выслушай Ладо.

Ладо является уже божеством; но таких песен весьма мало, и они могли быть произведением позднейшего времени.

К богам производительной силы человека в ее мужеском моменте зарождения принадлежат еще приапические изображения *Тура*, *Ярыла* или *Яруна* и *Припекала* (*Прилегала*). Но мы видели выше, что мужской элемент плодородия всей природы вообще принадлежит богам неба и солнца, посему и боги производительной силы мужчины–человека непременно подчиняются этим своим первообразам; самый символ этой силы и главный атрибут этих богов олицетворяет, скорее, общее понятие силы плодородия, чем значение бесстыдного разврата чувственности и сладострастия, приданное им при упадке язычества. Такое понятие этого символа облагораживает самое значение богов мужской плодотворности и вместе подает нам мысль о возможности великого распространения приапизма между славянами, обоготворяющими в нем одну лишь природную силу производительности и творчества^[7].

Имена–синонимы *Тура* и бога весеннего солнца *Яра*, *Яровита* или *Ярыла* слились у нас в одно слово *Яр–Тур*, и посему положительно можно сказать, что *Яр–Тур* в первоначальном своем значении был богом весеннего солнца и только позднее, сделавшись богом весны, перешел в народном понятии в олицетворение силы плодотворности, наиболее выступающей во всей природе в весеннее время.

Праздники *Ярыла* и *Тура* совпадают у нас с тем временем года, когда природа в мае месяце начинает оживиться. Они празднуются обыкновенно после Троицына дня или на Всесвятской неделе; в других же губерниях день *Ярыла* бывает позднее и совпадает с Петровским заговением или даже еще позднее, с Петровым днем. Вероятно, что семик есть остаток праздников *Тура* или *Яр–Тура*, которые при упадке язычества обратились в буйные разгульные пиршества, нередко оскверняющиеся самою развратною потехою и сохранившиеся отчасти до сих пор в Костромской, Тверской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской губерниях.

У нас есть довольно подробное описание этих праздников *Ярила*. Обыкновенно во Всесвятское заговение или во Всесвятское воскресение, а у некоторых на другой день Петрова дня, женщины и мужчины собирались в каком-нибудь месте, где предавались пьянству и пляскам до захода солнца, потом выносили на улицу соломенное чучело мужеского пола со всеми его естественными частями и клали в гроб. Женщины, разгоряченные вином, подходили к чучелу с громким воплем и рыданиями и произносили: помер он! помер! Мужчины сходились на этот вопль, поднимали чучело и, потрясая его, говорили: эге, баба, не бреше! вона знае, що ий солодче меду. В Галиче и Кинешме (Костромская губерния) молодые девушки потешались над упоенным стариком, изображавшим *Ярилу*, и в это время хороводные игры сопровождали эту забаву. В Твери парни и девушки на речке Лазуре собирались в честь *Ярилы* плясать под балалайку танец — *бланжу*, похожий на кадрили. В Воронеже одного мужчину наряжали в пестрое шутовское платье, навешивали на него бубенчики и раскрашивали ему лицо разными фантастическими изображениями. Этот шут представлял *Ярилу*. Вокруг него стекались гуляющие, начинались пляски и другие невинные игры, наконец, отсюда переходили к молодеческим играм, которые нередко оканчивались смертоубийством. В селе Иахимцах Рязанской губернии до сих пор празднуется день *Ярилы* ярмаркою (в июне месяце): таковая же ярмарка в честь *Ярилы* существовала недавно еще в Можайском уезде Московской губернии. Сюда же принадлежит как по времени празднества, так и по буйному веселью, пьянству и наряжанию праздник рагузского *Бамбеля*, описываемый Аппендини и празднуемый 1 мая.



Эти соломенные чучела и наряженные богами шуты служат ясным доказательством полного развития у всех славян бога мужской силы плодородия, перешедшего, как кумир, в бога буйного и часто не совсем приличного веселья. Подобное же значение придают немецкие летописцы полабскому *Припегалу* или *Припекалу*, которого имя хотя и происходит от *Пекольника*, бога ада у чехов и вендов, однако же легко предположить, что оно заменило в тех краях нашего *Ярыла*, которого имя там, в смысле приапа, не встречается.

По дуалистическому свойству нашего язычества принадлежат еще к богам человеческой производительной силы понятия отрицания этой силы, т. е. понятия слабости и бесплодия, болезни и смерти; притом, если понятие развития плодородной силы относилось к детству и молодости человека, то понятие бесплодия и бессилия принадлежит преимущественно старости. Таким образом, распадается жизнь человека, подобно жизни всей природы,

на две главные половины: *Живы* и *Моры*, плодоносной весны и бесплодной осени человеческой жизни, вот почему и недаром говорит наша народная пословица, что «старость не радость». Вообще в понятии славянина главное предназначение человека — *плодотворная сила*, почему как скоро исчезает в нем эта сила, жизнь его теряет и цель и значение; от этого—то наши предки считали главным несчастьем и главной болезнью человека потерю его физических сил, не столько еще в отношении полевых работ и хозяйственных занятий, как в отношении бесплодия и ослабления органов плодородия. Ясным доказательством этому служит в народном понятии выражение — *здоровый человек*. Оно означает, собственно, человека сильного, изобилующего производительною силою, но часто вовсе не вполне здорового.

Итак, понятия старческой дряхлости и болезненного бессилия были для славян побочными признаками родового их понятия бесплодия, выраженного в нашей мифе в образы *Корста*, *Хорста* или *Хворста*. Эти имена происходят от слова *хворый*, *хворать*, которое, вероятно, прежде служило именно выражением этого понятия дряхлого бессилия и до сих пор еще сохранило некоторый оттенок сего понятия, хотя почти слилось с понятием болезни; тогда как, напротив, корень *жив*—*жива*, по замечанию Бернгарда, носит в себе понятие не только жизни, но здоровья и благоденствия, на что, по-видимому, и намекают производные слова: *зажило*, *заживание*, *живительно*, *зажиточный* и пр. Посему почти положительно можно сказать, что *Корст* или *Хворст*, упомянутый Нестором, был богом хворости, дряхлости, болезни и бесплодия; но когда человек, устранив болезнь, стал отделять личность *Хорста* от понятия, им выражаемого, стал сооружать ему храмы и молиться его кумиру для отвращения зол, то *Хорст*, естественно, сделался из олицетворения болезни ее владетелем и посему, как распорядитель ее, по народному верованию, преобразился вскоре в кумир здравия. В этом значении Кайсаров и другие называют его русским Эскулапом.

Через мазурское племя этот *Хорст* перешел и в прусско-литовский миф, где, по словам Моне, он под именем *Курха* является каким-то богом осеннего плодородия, может быть, в значении бога осени человеческой жизни или просто окончания годового плодородия земли. Под его охранением находились также пища и напитки, вероятно, в отношении их к здоровью человека. Наконец, прибавляет Моне, был он веселым богом пиршеств, это и намекает на то, что *Хорст* перешел к литовцам в эту эпоху его развития, когда из бога болезни он перешел в бога здоровья и силы. В древней Пруссии все религиозные праздники оканчивались пиршествами, обычай же пить за здоровье издревле существовал у всех народов; посему

весьма естественно принять, что подобные пиры могли совершаться в честь бога здоровья *Курха*, вовсе не утверждая, что *Курхо* был богом веселия и пьянства.

По аналогии превращения *Курха* из Эскулапа в Вакха можно предположить, что и киевский *Корша* в эпоху упадка славянской мифологии сделался, по-видимому, богом пиров, иначе нельзя бы было объяснить, на каком основании многие мифографы почитают его за русского Вакха. Такое мнение подтверждается еще тем, что бога скотного падежа словаков *Корчуна* или *Крачуна*, как увидим впоследствии, празднуют доселе еще в Карпатских горах веселыми пиршествами. Этот же праздник *Крачуна*, совпадая с самым холодным временем зимы (24 декабря), намекает, по-видимому, на то, что и праздник *Хорста*, вероятно, совершался зимою, как соответствующей ему эпохи зимнего бесплодия.

К понятию *Хорста*, как разрушительного предзнаменователя смерти, могли относиться также некоторые из неопределившихся качественных названий богов зла, как *Злебог*—*Худичь*—*Злодий*—*Крвник* и *Бедай*, из которых только последний у хорватов получил определенное значение и празднование, совершенно тождественное с карпатским *Крачуном*.

Наконец, следует здесь еще упомянуть, что особенные большие болезни и эпидемии олицетворялись в народной фантазии отдельными образами и именами. Так изображалась, напр., чума в виде белой девы. Пока *Чума*, *Джума* или *Дзума* царствует, все деревни пустуют, петухи не поют и собаки не лают. Один крестьянин, увидев ее однажды в белой одежде с распущенными волосами, взбиравшуюся по лестнице на высокий забор для спасения от собак, подбежал и стряхнул ее с лестницы; она упала и с угрозами исчезла. Войчицкий называет ее *Powietrze* (поветрием)^[8] и рассказывает, что она выбирает себе одного мужчину, на плечах которого обходит всю Россию. Он один между общею смертностью остается здоровым и несет ее по городам и селам; все от них бежит, и где ни повеет она платком, там все погибает. Наконец, увидя издали свое родное село, где его жена, его дети, крестьянин решается бросить ее в реку Прут; но она поднялась на воздух и улетела в лес, а он погиб в реке. По другим народным сказкам, она разъезжает в колеснице, запряженной привидениями.

Глава IV

ДОМОВЫЕ ДУХИ

В предыдущей главе мы рассматривали богов общего закона плодородия, теперь нам остается еще исследовать ряд частных злых и

добрых духов индивидуальной жизни человека, в особенности понимаемых у нас под общим, но весьма неопределенным названием домовых. Эти божества разделяются на две главные категории: духов субъективной внутренней жизни человека и *Ларов* его семейного домашнего быта; славянин, обоготворяя в своем религиозном мирозерцании все явления внешней природы, необходимо должен был обоготворить в своем религиозном понятии проявления своих личных, индивидуальных ощущений, постигаемых им через самосознание своей внутренней духовной жизни. Поставленный в вечной коллизии между совестью и страстями, он, естественно, принял их таинственные голоса за высшую силу божеств, управляющих его внутреннюю жизнь, и, стыдясь невольных чувств страха, робости и всяких низких побуждений, охотно стал их приписывать независимой от него, таинственной, сверхъестественной власти злых духов. Таким образом, выразилась в нашей мифе эта внутренняя борьба совести с страстями и духа с телом в двойственной форме двух гениев добра и зла, сопутствующих каждому человеку от его рождения до самого гроба. Об них доселе сохранилось поверие, что у каждого человека в правом плече сидит его добрый гений, а в левом злой дух его жизни.

Когда ребенок рождается, его будущая судьба записывается в книгу *рода*, или, у хорватов, в книгу *рожденник* и все, что на роду написано, того ему не миновать; в небе является его звезда, а на земле его *Роженница* (*Роеница*), *Ведогон*, *Сорка* или *Братек*, гений, сопутствующий ему во всей его жизни. *Роеницы* известны в преданиях хорутан и хорватов, а в России встречаем их под именем *рожаниц*, в слове Христолюбца: «молятся и *роду* и *рожаницам*», также и в вопрошаниях Кирика: «а же сей родуй *рожанице* крают хлебы и сыры и мед». У черногорцев и сербов эти гении известны под именем *ведогон*. Они во время сна человека выходят из него и хранят его имущество от воров и жизнь от неприятелей или других ведогон. Между собой ведогонны страшно дерутся, и когда ведогон убита, то и человек умирает. Замечательно, что, когда ветер срывает листья с деревьев и они, колыхаясь, несутся по воздуху, в народе говорят: «дерутся ведогонны». В Белоруссии верят, что каждый человек получает при рождении сестрицу, или сорку, каждая девушка братца, или братека, которые охраняют их от несчастий и искушений. В марковском ономастиконе крайних божеств, приведенном Венелиным, встречаем мы также название братека с переводом *genius*.

Большая часть духов внутренней самосознательной жизни человека относится к дурным и постыдным его качествам и наклонностям, что весьма

естественно, ибо человек добрые свои поступки любил приписывать самому себе, дурные же охотно слагал на других.

Боги мрака и смерти, смешавшись в воображении человека, по причине их грозной таинственности, с неприятными ощущениями тревожного сомнения и невольного смущения, вскоре перешли в его религиозном понятии в олицетворения самых ощущений его душевного страха и треволнений; и хотя позднее они отчасти возвратились из этого таинственного мира субъективных ощущений, однако все-таки удержали свое частное значение страшилищ и пугалищ человека. Такое значение имеют у нас ведьмы, привидения и все враждебные и тревожные духи ночи и сна. Робость и малодушие олицетворялись в духах страха; отсюда *Стражники*, *Страшило*, польское *Страшидло*, у Венелина *Страшницы* или *Дражницы*, которых он называет славянскими фуриями, тогда как Стредовский этим именем переводит чешских *Тассани* или *Драчиц*; наконец, принадлежит сюда еще и *Трас*, являющийся в одной из песен кроледворской рукописи:

(Тут погнал их с тылу Тряс могучий

.....

В ту же пору Тряс на сопостата
Налетел из-за деревьев частых.)

У Моне встречаем между польскими домовыми имя *Slotraz*, вероятно злой *Трас*. Сюда примыкает, как изображение ощущения страха, русское выражение: *мурашки по коже дерут*. Это слово *мурашки* не что иное, как уменьшительное *Мура* или *Мора*, богиня смерти, которая в субъективной жизни славянина получила значение духа тревожного сна; быть может, это было аллегорическое изображение укоризны и нечистой совести, какое, по крайней мере, значение у всех славян имели *Мара*, *Мура*, *Мора* и *Кикимора*. Более в благородном значении этого чувства совести является она в нашем русском слове *моркотно*, грустно, тяжело, которое легко могло произойти от духов этого имени, тем более что в литовском мифе мы встречаем почти подобное название лесных *Маркот* или *Маркопет*. *Мурашки* и *марашки*, переходя в *рарашки*, сделались аллегорическим выражением денег, — рарашки так малы по народному поверию, что всякий человек носит своих рарашек в кармане, вот причина, почему они являются духами счастья и несчастья, в особенности в игре; эта же мысль выразилась у нас в поверье, что лешие играют между собою в карты и проигрывают друг другу дичь и зверей своих лесов. Почти такое же значение имеют, судя по названию, и

наши *Матохи*, *Мехи* или *Махи*, беспокойные духи, производящие всякого рода беспорядки в домашней утвари и всякого рода *суматохи* в семейных делах человека, — это ясный намек на лень и беспечность человека, причиняющие денежное расстройство и вообще всякие неприятности.

Отсюда переходим мы к пугалищам человечества. Они известны у чехов под названием *Бобак* или *Бубак*, при котором нельзя не заметить нам странной аналогии корня этого слова, *боб*, с именем *бабы*, хотя *Бобак* и нигде в женской форме не встречается; в Дубровне *Бамбел*; у поляков *ВоВон* или *Бука*; литовское *Буббулис*, которого настоящее значение для нас совершенно утрачено; но собственно же привидением и грозным *Вампиром* является у сербов *Вуколак*, *Валколак* или *Вулкодлак'*, т. е. человек, в которого через 40 дней после его смерти входит нечистый. По истечении этого срока он во время ночи оставляет свой гроб и ходит сосать кровь и мозг сонных людей; посему когда народ подозревает какого-либо покойника в этих ночных прогулках, его выкапывают из могилы, бьют кольями и, наконец, сожигают. В России, замечает Д. Языков, существует и доныне почти тот же обычай относительно умерших чародеев и колдунов, в сердце которых из предосторожности вбивают осиновый кол. По имени же своему *Вулкодлак* или происходит от какого-нибудь поверия о древнем волхве, или принадлежит к общему южноевропейскому поверию о морском волке, означающем также человека, в которого ночью вселяется бес.

Переходя теперь к злым духам внешнего мира, ведьмам и колдунам, мы необходимо должны заметить, что в этих повериях, кроме чисто мифических созданий испуганной фантазии простолюдина, смешиваются еще и искаженные исторические предания о волхвах и чернокнижниках, которых мы считаем, как заметили^[9] уже выше, за древних священников язычества в России. Имея, вероятно, некоторые сведения о физике, астрономии, медицине и в особенности некромантии, они легко приобрели между суеверным и необразованным народом славу знахарства и чародейства, которыми они старались воспользоваться для обращения новых христиан к богам язычества, с которыми связывалась и прежняя их власть над народом. Здесь было бы слишком долго и вне цели этой книги распространяться более насчет этого предположения, но, читая внимательно предания о новгородских, ростовских и пр. волхвах, сообщенные нам нашими церковными летописцами, мы найдем в них полное подтверждение этого мнения, отделяя при этом в рассказах самое предание от колорита, приданного ему христианскими летописцами, смешивающими из ненависти к недавно искорененному язычеству мифические понятия древних богов с понятием адской силы демона. По примеру жрецов западных славян можно допустить, что волхвы занимались пророчеством, истолкованием гаданий и

небесных знаков, почему они и встречаются у южных славян исключительно под именем ведомцев^[10], которым соответствует и русское их прозвание *Вещий*, *Вещун*, *Ведовед* и все вообще происходящие от слов *вещать*, *ведать*, перешедшие у простого народа в синонимы колдунов, чародеев, знахарей и проч.



Может быть, даже существовали в нашем язычестве волхвы женского пола, жрицы и оракулы, как было это в Греции, Риме, Германии и Галлии, и от которых могло произойти наше поверье о ведьмах, сербских Вещих и Вещинах. В России славятся ведьмы киевские, разгуливающие, подобно германскому поверью о Блоксберге, в особенности в ночь перед Купалом на Лысой горе. Главная из ведьм знаменитая Яга баба:

Баба Яга,
Костяная нога,
В ступе едет,
Пестом погоняет,
След помелом замечает.



Перейдем теперь к *Пенатам* и *Ларам* древних славян. Сюда могут быть отнесены отчасти почти все полевые, лесные и даже речные духи плодородия, первых эпох нашего мифа, как частные хранители полей, огородов и палисадников каждого крестьянина. Дом же, изба или хата принадлежит особенному покровительству собственно домовых: у чехов *Господаринок*, или, по Стредовскому, *Скрыток* и *Ссетек*, по хорватскому ономастикону *Сидек* и *Скритек* или *Shkzateh*, у сербов *Мома* дух спокойного сна и отдыха, которому противоположны давящие (наваливающиеся) домовые, моры и кикиморы; почти подобное значение имели, вероятно, наш *Ослад* или *Услад* и польская *Ниега* (*Нега*), быть может, боги чувственных наслаждений.

Сюда же принадлежат еще и некоторые частные поверия о *Змоках* или лучше *Цмоках*, от слов *чмокать*, *цмокать* — свистеть, подобно звуку поцелуя; они прилетают к своим приверженцам под видом кур, ящериц или огненных змеев и дают им деньги. Также считаются домовыми и все боги, хранители разного рода скота или домашних зверей и птиц, о которых упомянем при богах животного плодородия.

Наконец, *Ваструха* и *Чур* или *Пан Чур* (переделанный у нас в невежливое слово *Чурбана*) олицетворяют понятие права собственности и владения имуществом. В этом значении примыкают к ним боги земных кладов и вообще богатства, как: *Эмоло*, *Дзиедка*, *Рарашка* и латышская

Земма. *Ваструха* живет в доме и караулит воров. Ничто не утаится от ее острого слуха, и потому поверье — где она живет, там ничего пропасть не может; даже девическое целомудрие, как честь и клад дома, естественно, подлежит ее охранению. *Пан Чур* одним своим появлением в какой-нибудь дом изгоняет из него всех нечистых духов, которые всегда при входе в доме чурются, чтоб узнать присутствие в нем или отсутствие *Чура*. Вот почему при появлении беса или домового стоит только назвать *Чура* (зачураться), и призрак тотчас исчезнет; как хранитель имущества является *Пан Чур* у многих славян богом границ. Имя *Чура* живет до сих пор во всех славянских наречиях во множестве слов, как — *чуровать*, *чуриться* и пр. и приговорок: *чур ми*, *чур ти*, *чур* не трогать, не делать, наконец, и в поговорке: *чур ти на язык* — все это показывает ясно добрую силу, приписываемую язычеством благодетельному богу, охраняющему не только всякое вещественное имущество, но даже, как показывает пословица, духовные тайны и мысли человека как собственную его принадлежность.

Польские и сербские писатели сохранили нам, кроме этих домовых духов и божеств, еще множество других имен, которые отчасти, быть может, и в самом деле принадлежат нашему язычеству, но между которыми, однако же, многие или по неславянскому звуку своих имен, или по натянутости своих названий и значения легко могут быть подозреваемы в действительности их существования в религии древних славян. Поэтому мы здесь ограничимся выпиской этих имен, оставляя в стороне всякий критический разбор, излишний здесь по самой очевидности сомнений, возбуждаемых этими названиями и понятиями.

Сюда принадлежат польские домовые духи, упоминаемые Ткани и Моне: *Algis* — посланник богов (Меркурий); *Krixtos* — хранитель крестов на дорогах; *Бенкис* — бог путешествий, отыскивающий спутников и сохраняющий от всяких несчастий; *Трититас* и *Кирбиксту* тушат свечи и хранят от пожара; *Prigisfitis* — хранитель тишины в доме, малейший шум его оскорбляет; *Буднитай* будит заспавшихся; *Аспеления* живет в углу хаты и охраняет ее жителей; *Убланич* хранит домашнюю посуду; *Дугна* — хранительница теста; *Поленгабия* и *Выгорек* смотрят за домашним очагом; *Датанс* и *Товалс* — боги изобилия в доме; *Лигичь* и *Дерсинтус* — примирители ссор и хранители семейного счастья; *Пици* и *Гонду* — боги любви и брака.

Наконец, к этому разряду относятся еще имена совершенно неизвестного значения: *Tikli*, *Sala*, *Slotraz*, *Birsuli*, *Atleibos*, *Siricz*, *Klamals*, *Dvaigunth*, *Raugusemapath*, *Matergabia* и *Luibegeld*. Также и частные божества городов, областей и семейств: *Devoitis*, *Velustis*, *Guboi*, *Tverdicos*, *Kirnis*, *Simonait*, *Sidy* (Дзидзилия?), *Rekiczov* и пр. В Богемии Текта, дочь

Крока, обожала кумир *Климбы*; князь Пржимысл — *Дирзу*, князь Банка — *Kuhalo* (*Купало?*), князь Недомысл — *Красотину* и княгиня Людмила — *Красину*, вероятно *Красопаню*, т. е. *Живу*. У сербов встречаем мы понятия Муз—Грации, Фортуны, Купидона, Вакуны и Минервы под именами: *Марливки*, *Милиты* (*Милита—Милуша—Милица*), *Среча*, *Любичек*, или *Срдичек*, *Намарнеза*, или *Помарнеза*, и *Мадрица*, или *Мудрица*.

Глава V

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ИДЕИ ПЛОДородИЯ В ЦАРСТВЕ ЖИВОТНЫХ

Идея плодородия и размножения животных, птиц, рыб и зверей, несомненно, также имела, как и плодородие человека, свое особенное олицетворение в славянской религии. Но когда со временем боги животного плодородия достигли степени кумиров, покровительствующих этим животным, тогда они отчасти потеряли свое первобытное значение и, подобно переходу *Морены* в растительном царстве из богини смерти в богиню осенних плодов, сделались из божеств размножения зверей богами их смерти, т. е. богами охоты и звероловства.

Причина этого перехода заключается в том, что человек, взирая на закон плодотворения животных с своей субъективной точки зрения, в этом размножении видел только свою частную выгоду, до которой он большею частью достигает посредством убийства самих животных, добывая этим себе пищу, меха и пр. Таким образом, понятие размножения соединилось в уме человека почти неразрывно с понятием убийства животных, и боги, олицетворяющие их плодородие, сделались в то же время богами смерти животных и обогащения человека. Вот почему понятие *Живы* и *Моры* относительно зверей слилось в одно представление славянской Дианы—*Живонны* (*Дивонны*, *Дзиевонны*) или *Марцаны* (*Маржаны*). Имя *Живонны*, как имеющее своим корнем слово *жив*, ясно намекает на первоначальное ее значение богини плодородия; прибавление же буквы *о*, вероятно, можно отнести к тому, что она образовалась не от слова *жив* — *жизнь*, но от слова *живот* (животное).

Живонна, или *Зевонна*, почиталась в особенности в Польше и у полабских вендов; у чехов же занимала ее место *Маржана*, которую Вацерад считает Дианою; *Живонна* была богинею плодородия всех животных вообще, позднее же перешла в покровительницу охотников и лесов. Но достигла ли она полного своего развития и имела ли кумиры, определенно сказать нельзя, хотя Кайсаров и упоминает о каком-то

разрушенном ее храме в 965 году в Польше. Здесь же должно упомянуть о *Елевце*, как о славянском Актеоне, которого Венелин приводит в своем списке хорутанских божеств; но так как это имя более нигде не встречается, то трудно решить, кто именно был *Елеви*. Может статься, это было собственное имя знаменитого полководца или охотника, перешедшее в народные песни и почитаемое позднее за имя языческого божества, подобно чешскому Мичиславу, заменившему в Богемии лицо бога войны и другие подобные примеры. С другой стороны, имя *Елевца* легко могло произойти от искажения имени *Волоса*, или *Велеса*, через отнятие буквы в, что в славянских наречиях подтверждается многочисленными примерами.

Скотоводство было одним из главнейших богатств земледельческих славян, посему и развилось в их религии понятие скотного бога до степени одного из главнейших их кумиров. В первой эпохе нашего мифа соответствовали, вероятно, судя по аналогии звуков, скотному богу *Волосу*, или *Велесу*, русские великаны — *Волоты*, которые, как олицетворение физической животной силы, могли принять позднее значение богатырей.

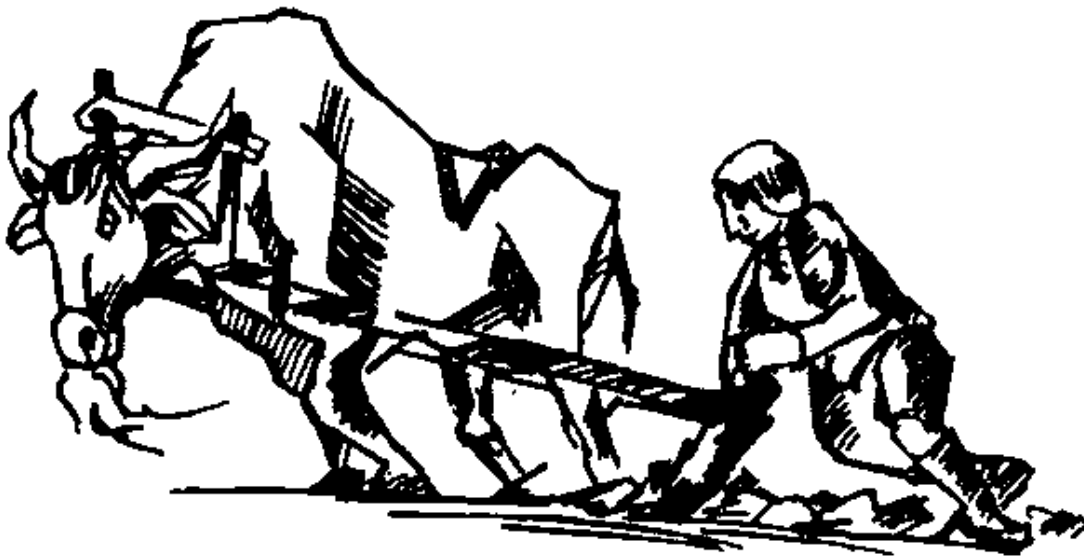
Волос, или *Велес*, обоготворяем был как бог стад и скота не только во всей России, но и у чехов, моравов и болгар. Из наших летописей известно, что главные кумиры его находились в Киеве, Новгороде и Ростове. Им и *Перуном* клялись наши предки в договоре Святослава с греками: «Да имеем клятву от Бога, ему же веруем, в *Перуна* и *Волоса*, скотья бога» и пр. Об нем упоминается также в «*Слове о полку Игореве*», где вещий Боян называется *Велесовым внуком*. Вацерад в своей «*Mater Verborum*» переводит Велеса через Пана; Добровский же утверждает, что имя *Велеса* нередко и встречается даже в чешских книгах XVI века, хотя ныне оно совершенно забыто. Наконец, как замечает Болонский, существует еще некоторое родство между богом стад и названием валахов, или влахов, которые сами зовут себя волосами. Это подтверждается, по его мнению, гербом валашского княжества, который состоит из бычачьей головы, намекающей на прежнее поклонение *Волосу*, от обоготворения которого этот край, столь богатый скотом, и мог получить свое название. Это мнение подтверждается еще тем, что в Валахии, как и в России, св. Власий почитается народом за покровителя скота.

Все это достаточно показывает нам, что *Волос* не только достиг полной степени своего развития как кумир, но что он даже завладел первым местом после *Перуна* в религиозных верованиях восточных славян. Посему и достоверно можно предположить, что *Велес* в первобытном своем значении принадлежал к богам солнца, тем более что бык и рога во всех вообще делах служили всегда символами богов солнца и самое имя нашего *Волоса*, как

увидим дальше, весьма сходно по значению и звукам с халдейским Ваалом, или Баалом.

В Белоруссии *Велес* является под именем *Богана*, и тамошние крестьяне говорят до сих пор еще о родившемся или умершем скоте: *Боган* родил теленка; *Боган* задушил овцу и т. д.; у поляков поклонение скотному богу раздробилось на несколько низших личностей, как-то: *Горданичъ* — покровитель телят; *Ратайнича* — покровитель лошадей; *Гардунитис* — бог телят; *Припаршись* — хранитель поросят; *Кремара* и *Крукис* — боги свиней; *Курвейчин*, или *Ерайчин*, — бог ягнят; *Валхина*, или *Волчина*, — покровительница домашних зверей и *Гуди* — покровительница оленей и богиня лесов. Также у чехов существует поверие, что *Пикулик* кормит лошадей.

Вообще можно предположить, что в последнее время нашего язычества каждое животное имело, вероятно, своего особенного покровителя, который часто в то же время исполнял должность домового духа. Это доказывается и тем, что в России еще до сих пор разные животные имеют своих покровителей в Святых нашей Церкви. Так св. Стефан наблюдает за лошадьми; св. Власий — за рогатым скотом; Никита — страж гусей; Сергей — покровитель кур; Анастасия — хранительница овец; наконец, св. Савватий и Зосима пекутся о пчелах. Посему, быть может, и ошибочно, Ткани в своем «Словаре славянской мифологии» упоминает о богах *Созима* и *Зозима*, покровительствующих пчеловодству у русских славян; у поляков же они носят, по словам его, имена *Аусфея* и *Бибилиссы*.



У юго–восточных славян, по словам Карамзина, обоготворяли пастухи *Генилия* (по–чешски *Henidio*), но этот бог, как увидим далее, по значению своему принадлежит к богам солнца и даже имя его вовсе не славянское.

Богам бесплодия, болезни и смерти животного царства являются *Корчун*, или *Крачун*, *Бадай*, или *Бедай*, *Стриибек*, или *Трибог*, и *Маржана*. У карпатских словаков до сих пор еще *Крачун* почитается особенным покровителем скота и домашних зверей и ежегодно празднуется накануне Рождества Христова. Но как корень его имени *кор*, так и совпадение его праздника с началом зимы ясно намекают на происхождение его от *Хорста*, вероятно, в значении бога болезни и бесплодия скота, который со временем, подобно своему первообразу в человеческой жизни, *Хорсту*, перешел в бога, покровительствующего размножению скота. Совершенно тождествен с *Крачуном* сербский и хорутанский *Бадай*, *Бадняк* или *Бедай*; имя его производят от слова *бедный* или *бедовый*, но по сходству звуков и значения с белорусским *Батаном*, скорее, должно считать корнем его имени русский глагол наш *бодаться*, *бадать*.

Как эпидемические болезни человечества: чума, поветрие и проч. имели в славянском мифе свои особенные изображения, так и эпидемии скота олицетворялись в лице *Стриибека*, *Триибека* или *Трибога* (*Стрибог?*), которого Средовский и Венелин означают латинским *lues* и немецким *Seichgott*. Многие считают его за трехголового кумира *Трибога*, напоминающего штетинского *Триглава*, но вероятнее произвести имя его от древнего слова *Стри* — воздух, от которого и славянский эол получил имя *Стрибога*, быть может, тождественного сначала с *Стриибеком*, богом ветров и поветрия, что совершенно соответствует значению *lues* или *Seichgott*.

Наконец, грозный момент смерти и процесс разложения олицетворялся как для человека, так и для всего животного царства в форме *Морены*, которая в последнем случае носила преимущественно имя *Марцаны*, или *Маржаны*.

Глава VI

БОГИ РАСТИТЕЛЬНОГО ЦАРСТВА

Растительное царство разделяется по времени своего развития на две главные половины весеннего и осеннего плодородия, посевов и жатвы, олицетворенные в нашем мифе *веснянками* и *оснянками*. Первые слились у южных славян в личности богини весны, совершенно тождественной с весеннею *Живой*, носящей в этом значении по преимуществу имя *Сиевы*, т. е. *Севы*, или *Сейвины*, у хорутан. Оснянки же перешли, вероятно, в

понятие бога или богини осени, хотя собственное имя этого божества вскоре совершенно заменилось именем *Моры*, или *Морены*, однако же сохранился след его в названии народного праздника Рязанской губернии: *Авсен*, или *Овсен*. По созвучию этому имени соответствует *Освен*, которого Гануш принимает за эхо, но вероятнее всего, что это одно и то же имя божества осеннего *Асвена* и *Авесна* (*Освен—Овсен*), о котором восклицает справедливо Макаров: «Уж не он ли наша Церера?» Когда же началось в нашем мифе преобладание религии солнца и вместе с нею появилось астрономическое времяисчисление, то боги весеннего и осеннего солнца овладели со временем значением *Се́вы* и *Морены* и, нисшедши с неба на землю, стали обоготворяться как боги земного плодородия. Таким образом, *Яр* сделался богом весны и ярового хлеба; *Световит* же покровителем богатых и урожайных жатв. Но эти боги, собственно, сюда не принадлежат; ибо они, имея главным значением своим солнце, являются богами плодородия только в переносном смысле.

Понятия лета и зимы имели также, вероятно, своих представителей в славянской теогонии; но память об них почти совсем изгладилась, почему не без основания предположить можно, что эти понятия подчинялись более общим представлениям *Живы* и *Моры*. В первой эпохе нашего мифа мы встречаем, однако же, имена *летниц* и *зимянок*. Дамианович называет *Хору* богинею лета и супругою *Похвиста*; но как имя ее, так и аллегорическая связь с богом ветра дают нам право принимать ее за иллирийскую богиню осени; а как мы уже выше предположили филологическое тождество *Моры*, *Воры* и *Хоры*, посему нам нетрудно принять, что *Вора*, как богиня ада, была тождественна у поляков с северной *Морой* и южной *Хорой*. По-видимому, принадлежат сюда упомянутые Карамзиным имена иллирийских богинь *Даморы* и *Даворы*, о которых хотя ничего не известно, но легко предположить, что они выражали *время до осени* (лето), что показывает приложенная к слову *мора* частица *до*. Сюда же, вероятно, должно отнести встречающуюся в Книтлингской Саге *Пизамару* и упомянутый Нестором киевский идол *Семарглы* (*Замарглы*, или *Зимарглы*, — *Симарьглы*), из которой Стрыйковский сделал весеннюю богиню *Зимцерлу*, из слов: *зима* и *стерла*. Гануш и Моне принимают *Семарглу* за богиню зимы, что и в самом деле вероятно по самому составу этого слова из *за* и *мора* или из *зимней Моры*, впрочем, это имя дошло до нас в весьма искаженном виде, так что собственного корня его почти определить невозможно.

Кроме этих временных богов плодородия, имеем мы еще множество имен коллективных духов производительной жизни земной растительности, как-то: болгарские *Орисницы*, русские *Рожницы*, *Гречи́хи*, *Полудницы*, *Припольницы*, *Полянки*, *Леснянки*, сербские *Довья-мужья* и наши *Лешие*,

чешские *Бабы*, герцеговинские *Стуачи* и, наконец, *Русалки*, *Мавки* и сербские *Вилы*, хотя последние и не собственно сюда принадлежат.

Неопределенность значения всех этих земных духов плодородия была причиною частого их смешения в народных повериях славянина. Так, *Русалки*, *Вилы* и *Мавки*, хотя духи собственно водяные, являются нередко у нас аллегорическими изображениями растительной природы, они бегают по полям и рощам, качаются на деревьях и играют в тростниках, которые, как полуводяное растение, находятся под их особенным покровительством; *Вилы* у чехов переходят иногда в злых духов ада и являются у Средовского под именем греческих Гекат. Почти подобное значение имеют у них и *Бабы*, которые крадут детей, выходящих на поле, и потом их душат. Это поверие существует и у нас насчет *Полудниц* и *Припольниц*, которых значение у нас совершенно смешалось. Впоследствии мы увидим, что *полудницы*, так же как *денницы*, *ночницы*, *утренницы* и *вечерницы*, принадлежат к богам денного оборота солнца, т. е. к богам различных времен дня; *припольницы* же, напротив, царствуют над полями, как *леснянки*, *лешие*, известные в Сербии под именем *Довья-мужья*, над лесами. *Гречихи* и *рожницы*, вероятно, также особенный род полевых духов гречихи и ржи, если последние не происходят от *Рожаниц*, о которых мы уже упомянули выше.



Мы не станем входить здесь в подробное описание всех поверий, существующих у нас о *леших* и *леснянках*, упомянем только одно, которое невольно поражает нас как аллегория произрастительной жизни деревьев и

травы — что *лешие* в лесу ростом наравне с деревьями, на лугу наравне с травой.

У всех южных славян, при наступлении жатвы, существует девичий праздник, в который одна из девиц убирается колосьями и полевыми цветами; после чего вокруг нее образуется хоровод, который обходит всю деревню и за свои песни и пляски получает от каждого хозяина подарки и угощение. Такой обычай ясно намекает на языческий праздник славянской Цереры; но имена, данные девице, исполняющей роль древней богини, совершенно племенные и у всех различны. Эти имена: *драгайка*, *пополуга*, *додола* или просто *царица* и *невеста*, посему и нельзя определенно сказать, к какому божеству плодородия она относится; хотя можно предположить, что все эти имена происходят от времен язычества и, вероятно, относятся к частным названиям *припольниц*, *Стуачь* и *Орисниц*, которых происхождение нам также определить невозможно.

Соответственно Церере являются у поляков покровителями земледелия и хлебопашества *земник* и *Лавкпатим*; но, кроме того, у них существовало еще много частных богов произрастительной природы, так, *Кирпичь* и *Зеленичь* считаются покровителями травы и моха; *Ласдона* — покровительница орехового дерева и орехов и *Кирнис*, или *Чириш*, — черешневого дерева и вишен; последнего Ткани почитает, впрочем, позднейшим и не славянским божеством, предполагая, что имя его произошло от немецкого слова *Kirsche* (вишня), хотя равно оно могло образоваться и от слова черешня. В Сербии *Цветня*— *Цветница* была богинею цветов, ее же Дамианович переделал в *Рожниццветорцу*, чтобы перевести ею имя Флоры. Между лесными богами, соединившими в одну личность рассеянные понятия о *леших* и *леснянках*, замечательнее всех *Бор*, или *Святибор*, бог лесов у русских и поляков. В Рюгене он превращен в *Боревита* и также иногда встречается под именем *Поревита*. Дамианович переводит имя Марса *Бором*; но это предположение нам кажется весьма ошибочным, ибо *Бор*, как бог лесов, мог перейти в народном понятии в покровителя охоты и, быть может, даже грабежа и злодейства; но никогда он не мог породить понятия воинственного Марса.

У вендов, по мнению Ткани, лесной бог, являющийся под видом козла, носит имя *Берстука*, которое, вероятно, есть искажение коренного слова *Бор* (*Борстук?*).

У поляков считалась богинею лесов *Гуди*, представляемая под видом оленя, слово же *Гуди* по звуку своему сходно с именем вендского лешего *Густо* и упомянутого Гизебрехтом померанского бога лесов *Годерака*.

Наконец, белорусы почитали богом лесов *Белуна* на том основании, что он выводит из лесов заблудившихся в них; но это чистая аллегория, и *Белун*

не что иное, как солнце. Следуя ему, заблудившийся вскоре находит конец леса и благодарит за это солнце, т. е. *Белуна*.



В южных краях славянского племени, где теплое небо Иллирии и Сербии способствует произрастательности виноградных лоз, могло существовать божество, покровительствующее этим лозам и которое имело бы большое сходство с понятием Вакха. Таким богом вина в Дубровнях (Рагузе) был, по Аппендини, *Gorae*, или *Zarae*. Но это предположение, по самому корню слова, сомнительно и гораздо вероятнее считать *Зарая* за бога зари от иллирийского слова *зора* — *zorja* или за бога земного плодородия вообще — от слова *зарнак*, *зарно* — *зерно*. Что касается до *Горая*, то это, кажется, совершенно другое имя и только производя его от глагола *гореть*, можно таким образом сблизить его с понятием зари. Такое предположение подтверждается еще тем, что в Сербии бог винограда назывался *Загреем*, от имени которого могло произойти и славянское название города Аграма, Загряя, или Загребя. Но это имя, скорее, принадлежит к греческой мифологии, ибо Загреус был сыном Юпитера и Прозерпины и считался

Вакхом, так же как и наследник его Дионисий, сын Семелы, сотворенный из той силы, которую Юпитер почерпнул в груди растерзанного гигантами Загрея. Случайное ли здесь сходство звуков, басня ли, перешедшая от греков к южным славянам, или, наоборот, славянское имя, вкравшееся в мифологию греков и римлян через побежденных иллирийцев, это предоставляем исследовать и решить другим, более ученым, нашим читателям.



В хорватской «Грамматике» Марка мы встречаем еще новое имя славянского Вакха — *Пуста*; но так как слово *пуст* (пост) означает у хорватов время мясоедия, или карнавала, и притом пост, или *пуст*, этимологически собственно ничего не значит, то и принимает Венелин, что это слово происходит от имени божества веселия. Простой народ говорит он, охотно называет известное продолжение времени именем совпадающих праздников, так, напр., Филиповки, Петровки и пр.; так точно могли и язычники назвать известные времена именами своих богов.

Если принять существование *Пуста*, то мы невольно вспомним и о германском *Пустерике*, которого найденные кумиры до сих пор необъяснимы. Это толстые вакхические фигуры из бронзы или глины, которые внутри пусты (отчего, быть может, произошло и имя *Пустерика*) и обыкновенно с открытым ртом и отверстием на голове, так что если в это отверстие влить кипятку, то кумир из рта пускает дым; ясно, что этот кумир изобретение хитрого жречества, обманывавшего таким явлением суеверных язычников.

Теперь мы переходим к *Корсту* растительного царства, т. е. к богу болезни и бесплодия растений, неурожаев и засухи и вообще всех зол земледелия. По корню своему должен это место занимать в нашей мифе *Кордо*, *Крдо*, или *Кродо*. В Богемии он носил имя *Hladolet*, что ясно намекает на бога голода (*глад*—*hlad*). Немецкие мифологи почли его за голодного Сатурна, съедающего своих детей; но это мнение кажется нам совершенно нелепым.

Подобно *Корше*, *Кродо* со временем из бога бесплодия перешел в покровителя земного плодородия и таким образом получил название *Житизрата*, вратителя жита или хлебов. Естественно, что при земледельческих занятиях славян бог хлебопашества должен был получить у них высокое значение, этим и объясняется поклонение кумиру *Кродо* у всех полабских племен, у которых, между прочим, он в особенности почитался в Гарце. Истукан *Кродо* стоял на высокой, лесом обросшей горе близ Гарцбурга за милю от Гослара, где до сих пор еще хранится пьедестал этого истукана. Наконец, у чехов и поляков богом хлебопашества является *Крикко*, которого Волмер производит от прусского *Курхо*, но так как сам *Курхо* есть одно из многочисленных форм *Корши*, то вероятнее почитать *Крикко* за понятие тождественное с *Кродом* как в первом, так и в последовательном его значении.

Глава VII

БОГИ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Неорганическая природа, минералы и воды, имеет также, без сомнения, свою произрастительную жизнь и свою производительную силу, но эта жизнь и эта сила для нас тайна, которую едва ли разгадает когда-нибудь наука. Славяне, сознавая существование этих тайных законов производительной силы, поклонялись им как частному понятию общего закона жизни плодородия.

Земля, как понятие общее, служила всем народам олицетворением жизни и плодотворности природы; но как частное понятие — материка —

она выражает здесь минеральное царство, и вот почему у славян все духи земного материка перешли впоследствии в хранителей кладов; такой аллегорией, очевидно, изображали все богатства, скрытые в недрах земли.

Такими духами первой эпохи считать должно *Скритек*, которые, по народному поверию, живут внутри земли и называются также *Колтками* и земляными духами (*Земпаці–Zemraci*); из слития их вышла богиня земли, которую некоторые мифологи отыскивают в имени *Зибоба*, преобразовав его в *Землебога*. В Польше и Богемии называлась она *Земинюю* (или *Немиза*); в Литве же известна под именем *Земмы*, которую Крузе называет матерью земли, возвращающею людям все ими потерянное и живущею в недрах земли; из этого последнего понятия и вытекает значение ее как богини земных сокровищ. У славян, живших на Двине, хранителем несметных сокровищ почитается *Ямолла*, или *Емола*, у белорусов же *Дзиедка*, которой глаза горят как огонь или золото. Отсюда произошло поверие, что там, где на поле виден огонь, хранится клад; при этом случае и говорит народ, что *Дзиедка горит*. Почти тождествен с этим понятием чешский *Пильвит*, считавшийся богом земного богатства и подземных сокровищ и которого имя Гануш слагает из *пливный* и *вит*, т. е. *плодоносный Вит*.

Горы имели в славянской религии своих особенных представителей; их считали обиталищем духов, и Кирилл в своем послании к русским, не обращенным еще к христианству, говорит: «не нарицайте себе бога ни в камени» и пр. В наших песнях и повериях упоминается о белом горячем камне Алатырь и о Корочуновом камне. У мыса Горенского, близ Рюгена, по свидетельству Гельмольда, находился большой камень, издревле называемый *Buskahm* — божий камень, которого почитали все рыбаки; близ Демина находился еще другой божественный камень, также и Конь—камень. Наконец, осталось во всех краях, обитаемых славянскими племенами, множество названий гор и скал, намекающих ясно на первобытное, священное их значение; также известно, что для постройки храмов и кумиров выбирали преимущественно горные места, на горах зажигали костры и приносили жертвы скалам и камням.

Земляные духи *Скритики*, или *Скриштики*, встречаются также нередко в понятии горных духов; но кроме их, были у славян еще особенные горные духи, называемые вендами *Gorsony*. Моне упоминает о слове *Горыня*, как об имени горной богини, но это, вероятно, ошибочно; тем не менее нельзя не предположить, что русское *Горыня* и змей *Горынчице* произошли, вероятно, от этих первоначальных горных духов. Наконец, принадлежит сюда и олицетворение эхо, которое наши предки считали за злого горного или лесного духа, подшучивавшего над человеком. Сербы называли его *Огласуванкой*; чехи же и западные славяне — *Ослой*, или *Освеной*.

Вероятно, имела подобное значение в Польше вышеупомянутая богиня охоты и лесов *Гуди*, судя по происхождению имени ее от глагола *гудеть*.

Водяные божества

Вода, как стихия, непосредственно действующая на плодородие земли, необходимо должна была занимать в нашей мифе весьма важное место, и весьма вероятно, что водяные боги в этом отношении часто имели значение символической силы богов плодородия и, наоборот, *Жива* и *Морена* могли принять значение богинь воды и дождя.

Касательно поклонения славян жизненной силе, скрывавшейся в воде, мы имеем самое древнейшее свидетельство в словах Прокопия, который говорит, что славяне обожали реки и Нимф, приносили им жертвы и гадали по ним о будущем. Между русскими летописцами замечательное свидетельство об этом мы имеем в словах Нестора: «кладзем и езером жертву приношаху»; также и в слове Кирилла, где читаем: «не нарицайте себе бога... ни в реках, ни в студенцах». Подобные свидетельства о поклонении потокам, ключам, рекам и озерам находим мы и между западными славянскими летописцами, как у Козьмы Пращского, Длугоша, Эббо, Сефрида и Гельмольда.

Кроме сего, намекают еще многие обычаи на подобное поклонение, например, древний суд Божий посредством испытания водою, находившийся во всех древних славянских уложениях; бросание в реки и колодези венков, яств и денег, обычай, сохранившийся до сих пор у многих славянских племен; купание и погружение детей в воды Дуная, упомянутое Львом Диаконом; купание каренцких священников при заходе солнца; купание простого народа в России и в Малороссии в день Ивана Купалы. Наконец, следует еще упомянуть о существовании некоторых священных рек и озер, о великом религиозном значении которых еще доныне в песнях и сказках остался некоторый темный отголосок. Таковы у русских были *Дунай*, *Дон*, *Буг*, *Днепр*, *Волхов*, *Ильмень*, *Ивановское озеро* и пр.; у вендов озера: *Ретрайское*, *Студеней*, и *Гломское*; у сербов же и хорватов всякий ручей освящается особенною в нем живущею и его олицетворяющею *Вилой*, как это видно в песне:

Вила, Драва, Вунока, Хорватица
К нам су такой В иле долетале
Кое с Дравом и Вуном супрошле

Донесле нам превеселе гласе.

В слове о суевериях неизвестного писателя читаем: «Иже суть крестьяне верующе в вилы, ихже числом тридевять сестренниц глаголят окаяннии невегласы».

Достоверно можно сказать, что и у прочих славян всякая река, всякое озеро имели своих особенных нимф и духов, удерживавших, однако же, общие имена *Вил*, *Воднянок*, *Водянок*, *водяных дедушек*, *водяных мужей и жен*, *Гуделок*, *Дугней*, *Езерниц*, или *Озерниц*, *Змоков*, *Купал* и *Купальниц*, *Лихоплясок*, *Мавок*, *Малок*, *морских Панок*, *Русалок*, *Топлиц*, или *Утопленниц*, и *Топников*. Поверия о нимфах почти одинаковы у всех славян; их описывают прекрасными сиренами, с длинными косами, плещущимися в воде при лунном свете и прельщающими своими прелестями несчастных прохожих; часто они также выходят на берег, в особенности в России на русальной неделе, качаются на деревьях, пляшут на лугах и принуждают прохожих плясать с ними до последнего издыхания или защекочивают их своими ласками; иногда они бывают добры к людям и приходят к ним на помощь, в особенности это можно сказать о сербских *Вилах*. Что же касается до водяных духов мужеского пола, они большею частью злы и отвратительного вида и смешиваются в народных повериях с лешими и уродливыми домовыми.

Мы уже выше упомянули о поверии, что *русалки*, *водянки* и *мавки* суть дети, умершие без крещения; также все утопшие девицы и молодые женщины переходят в *русалок* и *утопленниц*; но старухи и утонувшие мужчины делаются *змоками* и *топниками*. В некоторых странах называют русалок *Лихоплесками* от того ли, что они лихо плещутся или лихо пляшут — неизвестно; ясно только, что Гануш совершенно ложно переводит это слово, говоря, что лихо означает злое, а плески производит от *плести* — *зло плещут*. России принадлежат преимущественно *Русалки* от древнего славянского слова *руса*, река, сохранившегося только в нашем языке в слове *русло* (ложбина, глубь реки). В Малороссии существуют *Утопленницы*, которых Гоголь так поэтически описал в одной из драгоценных его повестей. В Украине встречаем мы имя *Мавок*, или *Малок*, это души некрещеных детей, сопровождающие русалок и, по-видимому, подчиненные им. В Литве песни упоминают, кроме *Русалок*, еще *Гудалок* и *Дугней*, которых, однако же, по именам их нельзя считать за чисто водяных духов. У чехов носят нимфы имя *Панок*, водяных или морских. Наконец, на всем юге живет доныне имя *Вил* или *Бел*, о которых народные сербские песни сохранили нам самые поэтические сказания.

Кроме того, сербские *Вилы* носят еще некоторые личные названия. Дамианович упоминает 9 славянских Дриад: *Дайра, Дора, Додона, Мета, Пелидора, Пыта, Примна, Тиха* и *Янира*.

Из *Езерниц*, или духов, обитающих в озерах, вышло название польского бога озер *Езерним*. От купальниц произошли имена *Купальницы* и *Купалы*, которые, в первобытном своем значении, олицетворяли, вероятно, наитеплейшее состояние воды, позволяющее купание, точно так же, как *Лед* и *Коледник* олицетворяли оледенение воды. Но так как эти понятия, чисто водяные, совпали с небесными праздниками солнечных поворотов, то и понятия этих праздников перешли на *Куполу* и *Коляду* и заменили их первоначальное значение богов воды. Подтверждение этому мы находим в самых песнях и обычаях Ивана Куп алы; частое упоминание воды, обычай купаться и плескаться на заре этого дня, бросание в воду венков и пр. ясно намекают на первое значение *Купалы* как бога купания, т. е. теплой воды. С другой стороны, *Лед* и *Коледник*, по созвучию своему, также смешались с преданиями о Леле, Леде и *Коляде*.

При введении христианства праздники *Купальниц* и *Купалы*, совпадая со днями преподобной Аграфены (Агриппины) и св. Иоанна Крестителя, дали этим церковным праздникам свои языческие прозвания. Странно только, что в то же самое время, как имя Ивана сделалось тождественно с *Купалою*, оно не соединилось с именем Агриппины, но, напротив, с именем Марии, откуда — *Иван да Марья*. Причиной тому, как увидим дальше, было смешение двух религиозных элементов — туземного обоготворения воды с иностранною религиею солнца, завладевшею позднее нашим мифом. Ясное доказательство этому мы находим в самом празднике *Купалы*, в который обычай зажигать огни (символ солнца) есть общее достояние всех европейских народов, между тем как купанье и поклонение воде есть исключительная принадлежность славянских племен.

День *Купалы* был как будто брачным праздником небес с богинею земного плодородия *Мореною*. Имя бога небес со временем утратилось и заменилось в народных песнях именем водяного бога *Купалы*, который, в свою очередь, перешел во времена христианства в Ивана; *Морена* же, напротив, не только удержала свое имя, как видели выше, но, по-видимому, завладела и значением *Купальницы*, почему и явилось возле имени *Купалы* имя Марии, смешанное с *Мореною*, богинею осени.

Водянки и *воднянки* переходят со временем в лица *водяного мужа* и *водяной жены*. Эти два лица своим тождеством с *Купалой* и *Купальницей* ясно намекают на существование двух отдельных божеств воды мужского и женского пола и, вероятно, имели с ним одно значение; от простых же смертных они отличаются только тем, что с их платья вечно льет вода. Они,

подобно другим водяным духам, привлекают своими криками прохожих к берегам рек и озер и, схватив их, насильно увлекают за собою.



Имя *водяных мужей* и *водяных дедушек* весьма важно здесь потому, что из них родилось понятие славянского Нептуна, *Водина*, или *Вода*, которое, перейдя от нас к скандинавам, быть может, заменило в их мифологии имя главного бога небес, подобно как у нас оно заменилось именем *Купалы*, или, основываясь на сходстве звуков имени нашего *Бодана* с скандинавским *Водином*, или *Одином*, могло передать отчасти ему свое значение. Этим объясняется в германской мифологии явление *Водина* как духа или бога воды, давшее повод некоторым старинным хроникам назвать его Нептуном; ибо он часто представляется лодочником, плавающим по морю и умиряющим волны и бури. В этом случае *Один* носит еще другое прозвание, *Никара* и *Никасса*, которое, по-видимому, его собственно германское имя; славянское же его название *Вода*; ибо немецкие русалки именовались *Никсами*; финские же и эстляндские *Некками* и множество шведских и датских названий, намекающих на корень *нек*, *ник*.

В одних только этих иноплеменных сагах мы находим верное объяснение нашего *Вода*, которого одно название сохранилось между славянами и которого изображению изобретатель прильвитских кумиров придал воинственный вид германского *Одина*. Наши мифографы, не понимая прямого смысла его имени, стали искать в нем бога войны, производя его от слова *воевода*, *война*, или совершенно его откинули, как бога вовсе не славянского. Главная причина, почему имя его исчезло из народной памяти, по нашему мнению, та, что оно заменилось ему

принадлежащим прозванием *Морского Царя*, которое вполне выражает понятие Нептуна и совершенно соответствует описанию скандинавского *Водима — Никара*. Под властью этого *Морского Царя* находилось еще мифическое существо чуда морского, представленное так уродливо во всех наших сказках и песнях.



О *Мокоше*, или *Мокошле*, известно только, что кумир его находился в Киеве; но какое это божество, определить трудно. Вацерад называет его богом дождя; Колар же описывает его получеловеком, полурыбою, что дает ему некоторое сходство с чудом морским; в позднейшее же время обоготворяли его в значении бога дождя и сырости, и к нему прибегали с молитвами и жертвоприношениями во время большой засухи. В христианстве это перенесено на св. пророка Илию, которого называли *мокрым*.

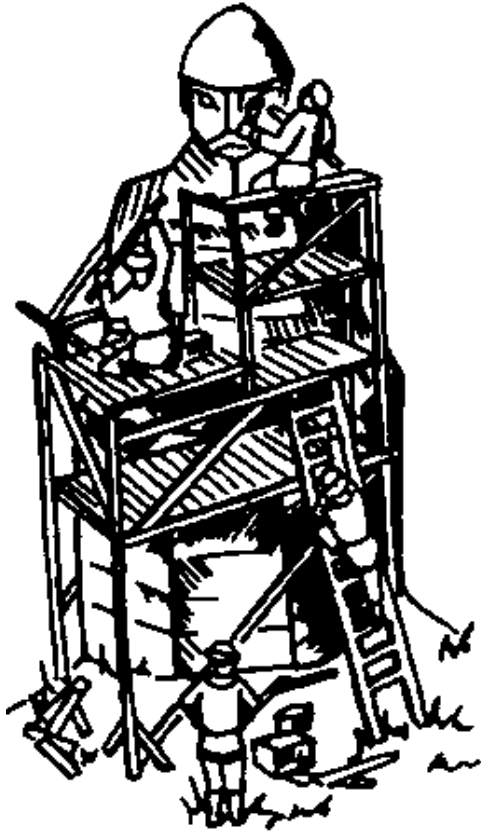
Теперь остается нам решить, одно ли и то же понятие у разных племен выражали *Царь Морской*, *Вода*, *Купала* и *Мокошла*? На этот вопрос нельзя отвечать положительно, но, вероятно, между ними были некоторые легкие оттенки, для нас неуловимые, и посему они только могут служить нам доказательством великого значения воды в религиозном быту нашего язычества.

Глава VIII

БОГИ НЕБА ВООБЩЕ

Мы уже выше заметили, что боги неба, олицетворяя собою мужеский элемент, силы плодородия, у нас долго были лишены почти всякого значения. Но в конце второй эпохи нашего мифа они не только возвратили себе свое первоначальное значение, но, покорив своей власти всех божеств женского земного плодородия, дали всей религии совершенно новое направление, изменили все коренные начала нашего язычества; сознательная религия поэтических олицетворений сил природы уступила место поклонению бессмысленным кумирам язычества и касте их жрецов.

Положительно можно сказать, что эта мгновенная перемена всех народных верований не могла произойти мирным внутренним путем логического мышления, но была результатом внешней борьбы двух разнородных начал — религии земли и религии неба, которые случайно встретились в нашем мифе, получив внезапный толчок извне по влиянию на нас иностранных мифов Литвы и Скандинавии. Самая эпоха чистого идолопоклонства наших предков носит на себе несомненные признаки влияния на нас скандинавского и литовского мифов, без чего эта победа богов неба не могла бы быть так поразительна и так отлична от прежней религии славян. Хотя определить точно и положительно эпоху перехода религии от поклонения качественным свойствам и явлениям природы к обоготворению кумиров небесных богов теперь, конечно, невозможно.



Тем не менее находим мы в словах Нестора, касательно России, ясный намек на то, что поклонение *Перуну* в Киеве было иностранное нововведение Владимира: «И нача княжити Володимир в Киеве один, и постави кумиры на холме вне двора теремного: Перуна древяна, а главу его сребрену, а ус злат и Хърса, Дажь Бога и Стрибога и Симарыгла и Макошь. Жряху им, наричающе я богы, привожаху сыны своя и дъщери жряху бесом, оскверняху землю теребами своими, осквернися кровьми земля русска и холм—от».

Хотя мы не имеем столь ясного свидетельства относительно *Световита* и *Радегаста*, но если нам удастся показать взаимную тождественность этих богов с *Перуном*, то легко слова Нестора о нем перенести и на кумиров *Ретры* и *Арконы*.

Небесные и атмосферические явления, как принадлежавшие к понятиям жизненных явлений природы, необходимо должны были иметь в славянской религии своих представителей. Поэтому к понятию солнца должны быть отнесены сюда все те божества, которых имена, по общему закону развития всех наших мифических названий, выражают собою главное свойство бога солнца, как, например: *белый, красный, ярый, ясный*, отсюда *Белбог, Белен, Яр, Ярыло, Ясен, Есен*. Подобным образом в

сложном имени арконского *Световита* весьма вероятно принять первое слово *свет* за коренное славянское название бога солнца. Что же касается до второго слова в имени *Световита*, то мнения и толки об нем различны. Прежде всего скажем, что это слово встречается единственно у западных славян Балтийского моря, но зато оно соединяется со всеми главными корнями славянских богов, как-то: *Корый*, или *Хорый*, *вит* (*Хоревит*), *Морый вит* (*Моровит*), *Борый вит* (*Боревит*), *пыльный вит* (*Пильвит*), *рюгенский вит* (*Ругевит*), *ярый вит* (*Яровит*) и, наконец, *светлый вит* (*Световит*).

Мы не станем здесь распространяться насчет уже давно опровергнутого мнения, что *Световит* происходит от св. Вита, тогда как, напротив, народная почтительность к языческому кумиру перешла по созвучию этих слов на имя христианского мученика. Другое мнение читать Святovid, вместо Световит, т. е. святой вид глаз, Божий глаз, не менее нелепо, в особенности если мы это мнение применим к прочим именам богов, сложным словом *вит*, или *вид*. Наконец, третье, более справедливое предположение, что *вит* — древний корень, означающий воинственность и сохранившийся в русском слове *витязь*. Но самое слово *витязь* не есть славянское; оно происходит, по Рейфу, от скандинавского, хотя и ошибается он в самом корне, производя *витязь* от слова *viking*. Вит — *wicht* есть чисто германский корень от глагола *vihan*; поэтому вит в первом своем значении означало *существо, лицо*. Но позднее, в особенности в уменьшительном слове, употреблялось оно только как название духов *Wichtlein*, *Wichtelmann* и до сих пор на шведском языке гениев называют *Waett*. Ясным доказательством, что *вит*, или *вихт* означает лицо, служат многие немецкие слова, до сих пор существующие, как, например: *Boesewicht* (*boeserwicht*) — злодей, злой человек и пр. В настоящее время *wicht* употребляется как ругательное слово, совершенно сходно с *kerl*, но по-русски непереводимое^[11].

Таким образом, не только объясняется значение слова *вит* во всех названиях божеств западных славян, но оно даже подтверждает сказанное выше об образовании собственных имен наших богов из прилагательных, означающих главное их свойство, и из присоединения к ним имен существительных для означения индивидуума, как например: *бог, муж, царь, дедушка, пан* и пр. Отсюда *Световит* не что иное, как *светлый вит*, т. е. *светлый муж, светлый бог*; *Ядовит* — *ярый муж* и пр. Здесь кстати упомянуть еще о *Евите*, которого Дамианович принимает за греческого Зевса, быть может, придавая славянскую форму латинскому *Jovis*; но вероятнее, что это есть сокращение *Ессевита*, т. е. *ясного вита*, которого

поляки обоготворяли под именем *Есса*, немецкие же мифологи, неизвестно почему, переделали в греческого Язона.

Переходя к имени *Радегаста*, мы прямо увидим, что это название чисто славянское, хотя и трудно определить, происходит ли оно от радушного хлебосольства наших предков — *рад гостям* или от воинского духа редарян и померанцев — *ратный гость*, т. е. ратный господин, воевода, военачальник. Во всяком случае, *Радегаст* не есть настоящее имя славянского бога славы и войны, потому что это имя в странах, отдаленных от Ретры, совершенно нигде не встречается. В Моравии бог войны, совершенно тождественный с *Радегастом*, носит имя *Мичислава*, моравского князя, который по смерти был обоготворяем народом и заменил со временем у них первоначальное имя воинственного бога; самое имя *Радегаст* носит на себе несомненные признаки новизны отсутствием в нем общего закона образования всех наших языческих имен, почему нетрудно предположить, что оно, по подобию моравского князя, было названием простого смертного, прославившегося своею храбростью между балтийскими славянами и заменившего своим именем, впоследствии, имя главного бога войны.

Хотя наши ученые-филологи полагают, что корень имени *Перуна*, или *Парома*, существовал в славянском языке, но, кроме польского наречия, мы его нигде не встречаем. Напротив, во всех литовско-прусских наречиях до сих пор встречаем имя древнего Ромовского громовержца *Перкунуста*, как в названии грома, так и во множестве географических имен. Так, по-литовски говорят: *Perkunas musza* (гром ударил), *Perkunas granja* (гром гремит); по-латышски *Pehrkons sperr* (гром ударил), *Perkuhns* или *Pehrkons* (гром), отсюда, вероятно, и польское выражение *пиорун* в значении громового удара. Между именами, напоминающими имя Перуна, находятся в Бранденбурге *Барендорф*, или *Парендорф*, *Барнов*, или *Парнов* и *Порниц*; в Померании *Перкам*, *Перневиц*, *Першк* и пр.; наконец, в Курляндской губернии близ города Либавы село *Perkuhnen*, которое яснее всех прочих показывает на свой корень.



В славянских землях географических имен, происходящих от *Перуна*, почти не существует, за исключением далматской горы — Перунова дубрава и села Перкуниста в Валахии; но странно, что имя *Перуна* в понятии *Парома*, или *Берома*, весьма живо сохранилось у карпатских словаков, где до сих пор это имя служит ругательным словом. Несмотря на все это, нельзя считать имя *Перуна* за славянское и гораздо вероятнее принять, что оно перешло в Россию или через варягов, или через кривичей, предполагая между ними распространение религии прусско-литовского *Криве*. Grimm идет еще далее; он доказывает происхождение имени *Перуна*, или *Перкуна*, от немецкого корня Fairguni, Fairguns, которое у Ульфилы на древнем готском языке значит *гора*; у других хроников древнее имя Virgunia — новое Erzgebirge; Virgunt Schwarzwald, и Fioer-gun, Fioergynjar — имя матери *Tora* в «Эдде», часто переходящее на громовника, ее сына, который тождествен с нашим *Перуном*. Но если *Перун* новейшее германско-литовское название бога грома, какое же было его древнее славянское имя? Судя по аналогии с другими богами, положительно сказать можно, что его называли *Громовником* или *Молником*. Первое имя, т. е. громовника, сохранилось для нас как прилагательное *Перуна*, перешедшее позднее на пророка Илию, который как у нас, так и у германцев получил прежнее великое значение *Перуна* и *Tora*. Слово же *молник* у нас изгладилось, но в германском мифе перешло в имя главного атрибута *Tora* — его палицы, называемой *миё* — Mjolner.

Таким образом, *миольнер* в руках *Тора* не что иное, как громовые стрелы: *donner Keule, Thorstein* (в Курляндии — *Perkuhnstein, Perkuhnakmens*), о которых существует в Германии и России одинаковое поверье, что они бросаются громовержцем с неба и так глубоко входят в недра земли, что только по прошествии семи лет снова выходят на ее поверхность; нашедший такой камень приносит его домой, полагая, что он сохраняет жилище от громового удара.

В Германии посвящался *Тору* дуб; то же самое дерево считалось, по словам Козьмы Пращского, жилищем *Перуна* в Богемии; далее в Литве и вообще у всех славян огни, зажигаемые в честь *Перуна*, горели из одних дубовых ветвей, и главное капище его в Литве находилось в густом дубовом лесу Рамов. Вундерер во время путешествия своего по Курляндии в 1613 году нашел в Мариенгаузене вместо христианской церкви языческий дуб, которому поклонялись латыши под именем *Перкунова дуба*. Также *Прове*, или *Проно*, которого Касторский справедливо почитает за искаженного *Перуна*, обоготворялся в дубовом лесу близ Штаргарда в Альтенбурге. Наконец, самое название горы *Перкунова дубрава* в Далмации также намекает на поклонение *Перуну* в дубовых лесах.

В подтверждение тождества *Перуна* с *Тором* можно привести также наше народное поверье, что раскат грома производится огненной колесницею, в которой разъезжает *Перун*, позднее же заменил его св. пророк Илия. Это поверье происходит от представления *Тора*, который в «Эдл, е» описывается разъезжающим в колеснице, запряженной козлами, а посвящением этих животных *Тору* Гримм объясняет осетинский обычай приносить козла в жертву св. Илие. Еще яснее выступает тождество *Тора* с *Перуном* в том, что у нас в Новгороде часть города, обитаемая языческими приверженцами *Перуна*, долго носила имя *Торовой страны*, сторона же города по сю сторону Волхова, обитаемая христианами, получила имя Софийской стороны от древнего собора Св. Софии.

На острове Рюген обоготворялось весеннее и осеннее солнце под именами *Яровиша* и *Световита*. В Книтлингской саге они известны под именами *Турупит* (*Турувит?*) и *Пурувит* (*Перуневит?*). Первое имя относится к *Яровиту*, или, лучше сказать, к *Яру*, который, как видели уже выше, совершенно тождествен с *Туром*; что подтверждается еще в «Слове о полку Игореве», где безымянный поэт своему герою Всеволоду дает прозвание *Яр-Тура*. Что же касается до слова *Пурувит*, то оно, вероятно, должно иметь свой корень в имени *Перуна* и относится здесь, по-видимому, к *Световиту*^[12].

Из древних праздников языческих славян Балтийского моря летописцы сохранили нам имена *Турицы* и *Летницы*, которые, судя по аналогии их с

доныне еще существующими праздниками весенних посевов и летних жатв, вероятно, относятся: первый к весеннему *Яровиту*, или *Турувиту*, второй же к осеннему *Световиту*, о празднике которого в Арконе нам сохранились весьма подробные сведения. Наконец, по мнению Гануша, *Турицею* назывался также праздник *Радегаста*, и это тем более достойно вероятия, что сам *Радегаст* есть не что иное, как *Тур*. Отсюда понятно, почему бычачья или туриная голова есть необходимый атрибут кумира *Радегаста* в Ретре и Вольгасте и почему также *Радегаст*, подобно своему первообразу *Туру*, является богом войны, совершенно сходным с далматским *Туриссою*, или *Турицею*.

Подобное же значение, вероятно, имел и русский *Тур*, судя, по крайней мере, по именам эстляндского бога войны *Турнифаса*, крайнского *Торика*, или *Турика*, и хорватской *Беллоны*, *Торка*, или *Турка*.

Все эти названия ясно имеют первоначальным корнем своим имя германского громовержца *Тора*, или *Донара*^[13], встречающегося во всех мифах Европы под различными названиями: в Лапландии *Тиермес*, у казанских чувашей *Тора*, в Эстляндии *Тар*, или *Таратар* (св. *Тар*), обоготворяемый также на острове Эзеле под именем *Tarappihha*, сходного с названием *Яровита* в Книтлингской саге; в Англии *Тарамис*, или *Тундерер* (громовник), и, наконец, у кельтов *Танарус*, или *Таранус*.

Имя *Танарус*, или *Таранус*, встречается также на аквилейских надписях, что и подало повод Аппендини считать его за славянского бога. В доказательство сего приводит он далматское выражение *tam, tamuti* (большой шум, шуметь). Этот же корень существует в русских словах *торкать, турнуть, торчать, торчъ* (военное оружие) и *тормошить*. Сюда же должно отнести французское *tarabuster*, которое, равно как и слова *tarabas* (инструмент, которым будили монахов в монастырях), *tarages* и новейшее латинское слово *taratantaria*, употребляемое хрониками Средних веков для названия труб, звучащих при последнем суде, все происходят, по словам Мартина и Латура д'Оверня, от имени кельтского громовержца, до сих пор сохранившегося в языке британской Арморики в названии грома — *taran*, от которого могло произойти и французское *tonerre*, если оно не есть собственная первоначальная форма германского *donner*, происходящего от бога *Тора*.

В Малороссии *таран* означает пестрого разношерстного быка, и, вероятно, наше слово *товар* имело у нас прежде значение *скота*, даже в Южной России между простолюдинами теперь сохранилось это значение, прямо намекающее на происхождение слова *товар* от *тура* — быка. Переход буквы *у* в *в* факт, почти не нуждающийся в примерах; все имена, сохранившие корень *taurus*, пишутся у нас *таврус*: *Taurida* — Таврида,

Mynotaure — Минотавр и пр. Поэтому можно предположить, что и слово *товар* принадлежит к тому же разряду и имеет своим корнем слово *тавр* — *taurus*, которое сохранилось во всех европейских языках: латинское и французское *taurus*, *taureau*, немецкое *Stier* и *Thier* (зверь — не потому ли, что бык *зверь* по преимуществу?), русское *тур*, наконец, британское *taro* (*tarn*), которое приводит нас снова к малороссийскому *тарану*. Еще замечательнее в этом отношении русское *тур* в смысле огненного (в Краледворской рукописи *тур* — огненный зверь) или ярого, храброго, как встречается оно в «Слове о полку Игореве». Совершенно в том же смысле употреблено Гомером название бога войны — турый, или ярый, Аерис (Марс). В латинском языке, полагает Латур д'Овернь, слова *torquere*, *tortor*, *tormentum* должны были иметь свое начало в имени *Thoга*. В немецком языке слово *tumen*, вероятно, имеет то же происхождение. Сюда же принадлежит и слово *toumois* — турнир, которое, вероятно, означало первоначально испанские *taureados* и легко могло произойти от британского корня *tara*.

Наконец, слово *toure*, *torra* — башня, вероятно, также имеет некоторую связь с скандинавским Тором, тем более что оно на всех языках Европы удерживает одинаковый корень: *torre*, *turm* и древнее русское название подвижных башен на колесах, употребляемых прежде при осадах и о которых память сохранила нам народная поговорка: *напустить турысы на колесах*.

К этому корню *тор*, *тур*, *тар* и *тир* принадлежат еще многие исторические, мифические и географические названия; упомянем здесь главнейшие. Брат Нина, ниневийского царя, назывался *Цуром*, или *Туром* (*Ассуром*). Геродот упоминает о скифском короле Идотаврусе. В Ликийи находился оракул *Apollonis thyricus*, и в Лакедемоне этот же бог носил имя *Apollonis thoratis*. В скандинавском мифе *Тусс*, или *Туре*, означало целый ряд великанов, от которых произошли имена чудских племен агатырсов и туренгетов. У англо-саксов слово *thurs* означало греческих циклопов. Племя трансальпийских галлов, живших в нынешнем Пьемонте, называлось *Taurius*. *Taurus* — цепь гор в азиатской Турции.

Таким же образом многие названия городов и некоторых рек имеют своими корнями *тор*, *тур* и *тир*. Как, например: Тир, древний город Финикии; *Thurium* был город в Месании, Тура (в Тобольской губернии), Турани (в Венгрии), Турбах (в Швеции), Туркуен (*Tourcoing* — близ Лиля во Франции), Турски (в Польше), Турец (в России), Турия (испанский Арагон), Турия (в Турецкой Сербии), Терия (в Волынской губернии), Турин (столица Пьемонта), Туринск (в Сибири), Турка (в Галиции), Туран (Валахия), Турнау (Богемия), Турров (Шотландия), Турзи (Неаполитанское королевство), Тур (во Франции), Турней (Бельгия), Туров–Туровск–Туровицы (в России),

Торисов и Торлаубе (в Ютландии), Торбург (в Трансильвании), Тури (во Франции), Турсо (в Шотландии), Торен (в Северной Пруссии), Тарнов (в Галиции), Тюринген (средняя часть Германии), Thor-awida (Тор помоги, в Лифляндии, т. е. Дерпт), Тренден (Курляндия) и Торальден. Река Турано (в Средней Италии), Тарн (Thym — река в Англии), Тур (река в Швейцарии), Тургау (в Швейцарии). Наконец, некоторые собственные имена древних германцев: Thorfried, Thorfid, Thorbem и пр. и имена варяго-русов, упомянутые Нестором и Карамзиным: Турбит, Турберн, Турдов, Турвуди и пр.

Наконец, нельзя не упомянуть здесь о предположении некоторых ученых-филологов, что имя *Тора* в тесной связи с славянским корнем *твор*, *творить* и, таким образом, *Тор* не что иное, как имя бога-творца; это тем более замечательно, что этот корень сохранился во всей чистоте своей в названии литовского бога солнца *Сотварос*. Этот корень мы встречаем еще в древнечешском слове *stvor* (*ztvor*), которое в рукописи „*Mater verborum*» принимается за имя египетского Озириса; в этой же рукописи зодиак называется *zvor*, т. е. *sver* — слово, совершенно тождественное с санскритским названием неба *svor*, или *svag*. Хотя такие производства этимологов должно принимать с большою осторожностью, но тем не менее нельзя не выставить здесь, конечно, как чистую гипотезу, происхождение имени германского громовержца от санскритского названия неба. Такое предположение объяснило бы нам происхождение славянского бога огня и войны — *Zuarazika*, или *Сворога*, о котором упомянем дальше, тем более что санскритское слово *Svarga* (от корня *свор* — небо) употреблялось и в смысле прозвания бога солнца. Таким образом, *Тор* и *Сворог* явились бы нам одним и тем же прозванием небесного бога огня (солнца и молнии). Но положительное решение подобного вопроса нам тем более не по силам, что сам Шафарик его разрешить не осмелился.



Если мы теперь предположим, что *Тор* значит творец, то этому названию высшего бога небес, по своему смыслу и значению, совершенно соответствует имя киевского *Дажбога*, о котором мы в Ипатьевской летописи читаем замечательные слова: «и по сем (Сворог) царствова сын его именем солнце, его же наричут Дажбог. Солнце царь сын Сворогов, еже есть Дажбог». Конечно, упоминание о *Дажбоге* как сыне *Сворога* есть не что иное, как аллегорическое выражение писателя, которое перевести должно тем, что *Дажбог* относился к *Сворогу*, как частное понятие к общему, т. е. понятие солнца к понятию неба (небесного огня), или понятие подавателя земных благ к понятию бога-творца и общей творческой силы природы и жизни. Отсюда можно заключить, что *Тор* — творец, *Сворог* — небо (свор), а *Дажбог* — солнце, как будто проводник мужеского элемента творчества (неба) на женский элемент плодотворения (землю). Ибо, в самом деле, солнце прямым влиянием своих лучей на производительную силу природы является нам как будто посредником между небом и землею, между творцом и творением. Этими только шаткими предположениями ограничиваются наши сведения о *Дажбоге*, или *Дашубе*, которого наши прежние мифологи почитали за бога богатств; Бодянский же, опираясь на упомянутое

свидетельство Ипатьевской летописи, видит в нем вольный перевод зендского имени бога солнца *Кора* или *Кореша*, сохранившегося у нас, по его словам, в имени *Хворста*, которого он почитает тождественным с *Дажбогом*.

Теперь мы возвратимся к славянским богам неба и солнца. В описании богов, покровительствующих плодородию животных, мы уже имели случай заметить, что слишком большое развитие в России кумира скотного бога *Велеса*, или *Волоса*, невольно наводит нас на мысль, что в нем есть влияние поклонения небу и, вместе, соединения в одно название двух совершенно различных божеств — скотного бога *Волоса* и солнечного кумира *Велеса*. Такая мысль подтверждается многими догадками и предположениями: 1) значением быков во всех древних мифах Азии и Европы; 2) филологическим сближением имени *Велеса* с Ваалом и с нашим *Белбогом*; наконец 3) двойственностью, встречающеюся во всех солнечных богах славянского мифа: *Яровит* и *Световиш*, *Радегаст* и *Световит*, *Чернобог* и *Белбог*; у нас же эта двойственность выразилась в именах *Перуна* и *Велеса*.

В парфянской религии митрайский бык, пронзенный мечом Митраса, служил аллегорическим изображением плодотворного влияния солнечных лучей на темную землю. В Египте Апис был земным представителем солнечного бога Озириса. У финикийцев и халдеев солнце обоготворялось под именем Ваала в форме страшного черного быка, служившего в то же время эмблемою земного плодородия. В греческом мифе Юпитер в виде тура, похитителя Европы, носил имя Тавриуса; также Диана, Вакх, Аполлон и другие боги от сопровождающих быков получили прозвания Таврополис, Таврохорос, Таврохранос, Таврофагос и пр. Сюда же относится имя Минотавра, Тавра Марафонского, убитого Тесеем, и многие другие названия, происходящие от того же корня. Далее следует сказать о повсеместных жертвоприношениях быков, гаданиях по их внутренностям и ужасном обычае многих народов бросать в пустые раскаленные медные быки в честь богов невинных детей и пленников. По словам Мартина, древние галлы клялись над медным быком, как халдеи и евреи над золотым тельцом. В Марселе найдена была в прошлом столетии статуя кельтского бога солнца *Долихениуса*, стоящего на черном быке — символе земли. Болонский дает нам другой рисунок этого бога, почти одинаковый с тем, который находится у Мартина, и снятый с медной бляхи, найденной в 1815 году у Батаанского вала близ Кёмлёде в Венгрии. По этому рисунку Болонский полагает, что это германский *Тор* под латинским именем Юпитера *Дольхена* и что бык, на котором стоит кумир, изображает славянского *Тура*. В Германии бык уступает, по-видимому, свое место рогатому козлу, посвященному *Тору*, и самое изображение дьявола с рогами

и козлиными ногами, принадлежащее преимущественно Германии, имеет также, по словам Гримма, близкое родство с Тором и его козлами, так же как и у халдеев понятие Ваала породило позднее образ Вельзевула. У западных славян бычья голова на груди *Радегаста* и на воинственных знаменах Ретры приобретает снова все свое прежнее значение. Наконец, в курганах славяно-германских племен встречаются весьма часто бронзовые божки с рогами, бычьи головы и игрушечные козлики, которые так же легко относиться могут к богослужению *Тора*, как и к поклонению *Волоса*, *Тура* или юго-славянского *Бадая*. Эти же самые рога, бычьи головы и пр. встречаются также и во многих гербах городов и дворянских семейств Средней Европы и, вероятно, начало свое имеют в языческом поклонении быкам. Так, бык, находящийся на знаменах *Радегаста*, перешел в герб великого герцогства Мекленбургского и многих городов и семейств того края; с другой стороны, мы уже упомянули о гербе Валахии, в котором изображена туриная голова, окруженная звездой, солнцем и луною, что прямо намекает на древнее парфянское значение быка как символа земли. Открытие в последние годы ниневийских барельефов, на которых встречаются многочисленные изображения быков и других рогатых животных, дает нам, быть может, ключ к этому таинственному мифу, о котором мы до сих пор можем только догадываться.

Если станем теперь рассматривать *Велеса* относительно его филологического значения, то нельзя не удивиться обширному объему корня *вел*, *вал*, *вол* или *бел*, *бал*, *бол*. В религиозном отношении прежде всего является нам финикийский и халдейский Ваал.

Баал, или Бел, бог солнца во всех различных его формах Ваала–Гад, Ваала Пеар или Фегар, Ваал–Замен, Ваал Зефон и наконец Ваал Зевуд (ваал–мух) — название, данное в насмешку евреями богу Ваал–Замен, из которого проистекло позднее имя Вельзевула, т. е. дьявола. С Ваалом совершенно сродно имя Белое, которое на восточных языках означает Господа. Вольмер говорит, что вавилоняне называли этим именем солнце, греки же придавали его Юпитеру Zeus–Belos. Оно также придавалось как прилагательное великим царям. Так, Вольмер упоминает о трех исторических лицах, носящих имя Белоса и которые, собственно, быть может, одно и то же лицо. Первый вавилонский король Белое ввел хлебопашество в своем царстве, осушил болота, провел каналы, населил все свои земли и сделал их плодородными; он дал также своему народу времяисчисление и вставил в вавилонскую башню свои астрономические наблюдения, вырезанные на глиняных досках. По смерти он стал, подобно египетскому Озирису, обоготворяться народом, почему со временем и смешался с общим понятием Ваала, если сей бог не от него произошел.

Второй Белое в греческом мифе — сын Павзания и Либии и отец несчастного Даная; он известен под названием египетского Белоса. Диодор называет его сыном Нептуна и Либии и говорит, что он отправился с колонию в Малую Азию, где основал знаменитое Вавилонское царство; а это, если бы было достоверно, доказало бы нам, что он не кто иной, как первый царь вавилонский. Третьего Белоса встречаем мы у Вергилия в имени отца Дидоны, Анны и Пигмалиона, царя тирского.

Ваал, как главный оракул знаменитого города Тира, легко считаться может источником особенного священного гадания, носящего у греков имя *Belomanteia*, которое, в свою очередь, напоминает нам германских предсказательниц Веледу и Валу; с другой стороны, Ваал как бог неба отразился в скандинавских названиях небесных жилищ Валаскиаф и Валгалла. Вельтман, рассказывая о древнем игрище новгородских жителей, состоящем в бросании палок и происшедшем, по летописям, от палицы *Перуна*, выброшенной кумиром на мост, производит этот обычай от древних восточных игрищ Дяшгади, совершавшихся в честь Ваала, и полагает, что самые слова *свалка*, *валять* и пр. в нашем языке имели корнем своим имя халдейского бога. Такое предположение тем более остроумно, что эти слова, нося в себе значение борьбы, могут быть легко отнесены к богам войны, каковым нередко являлся Ваал у вавилонян. Вообще понятие воинственности неразрывно связывалось в восточных мифах с понятием богов света и солнечных лучей; почему достоверно можно предположить, что из имени Ваала, или Баала, произошли греческая Беллона и латинские слова *bellum* и *valor*, породившие, в свою очередь, множество других в новейших языках Европы. Сюда же относятся, вероятно, знаменитый витязь греческих преданий Беллерофонт и скандинавские имена богатыря *Бела* и бога войны *Белатукард*.

В значении чистого бога солнца отразился Ваал в кельтском *Apollonus*, *Beienus*, *Belinus*, или *Belis*^[14], к которому, вероятно, также относится и богиня *Белизана* древних галлов, имевшая кумир свой в Cussy la colonne (департамент de Cote d'or). *Белленус* же обоготворялся и в древнем полуславянском Аквилее, как это видно из найденных там надписей:

Apollini
Beleno
Avg.
C. Volusius
V. S. (votum solvit)

Apollini

Beleno
C. Aquileiens Felix

Таким образом, мы невольно должны будем сравнить его с нашим *Белуном*, *Белом* или *Белбогом*, тем более что самое филологическое объяснение кельтского происхождения слова *Беленус* нам ясно показывает на славянский корень *бел*—*белый*, встречающийся в названии этого цвета во всех языках европейских. Так говорит о нем Мартин: Беленус является древнейшим латинизмом в кельтском языке, означающим светлый, белый, желтый. *Melen* и *Melin* означает то же самое. Этот переход *б* в *м* подлежит закону, который, как видели выше, весьма часто встречается в славянских наречиях, как, например, имя Венеции у южных славян Бенетки и Мелетки.

Наконец, принадлежат еще к корню Ваала, *Велеса* некоторые географические названия, в особенности славянских земель, племен и городов. Так, в Боснии и Македонии встречаем мы имя горы Велес; далее Валахия, Волинь, Вольгостици, Вилина (Вильна) и древний славянский город Юлин, или Вилин, залив Воло; также племенные названия славян велеты и венеты и множество других. Даже, быть может, принадлежит сюда по корню своему мифологическое имя сербских нимф *Вил* или *Бел*. Относительно рогатого скота корень, происходящий от Ваала, яснее выразиться не мог, как во французском слове *belter*, а в русском *вол*, *валух*, но, вероятно, относятся к нему и другие названия скота, как бык, Боек, *bove*, латинское *bovus* и малороссийское *балан*, означающее белого быка.

Таким образом, посредством Ваала, греческого Белое и кельтского *Беленуса* переходит наш скотий бог *Волос*, или *Велес*, в солнечный кумир *Белбога*, или *Белуна*, — *Белена*, качественное же название белого бога относительно солнечных лучей почти совершенно тождественно с названием светлый бог, или *Световит*. Это можно видеть из белых одеяний, которые носили жрецы Арконы; белая лошадь, стоящая в храме, была посвящена *Световиту*, к которому, по преимуществу, относилось прозвание *Белбога*. Хотя эти факты и не вполне достаточны, чтоб доказать тождество понятий светлого и белого бога, по крайней мере, они намекают на это тождество посвящением белого цвета *Световиту*.

Теперь мы перейдем к *Черноботу*, противоположному *Белбогу*. Обыкновенно наши мифографы принимают черный цвет в нравственном значении зла, как *Белбога* считают за бога блага и добра. Но гораздо ближе принять здесь слово *черный* в прямом его значении темноты, помрачения неба, которое неразрывно связано с явлением грома и молнии, как понятие, противоположное ясному белому свету солнца и дня. *Радегасту*, по словам Гануша, посвящалась черная лошадь, как *Световиту* белая; колесницу

скандинавского *Тора* возят черные козлы; наконец, *Яровит*, который не что иное, как *Тур*, или *Радегаст*, носит также имя *Наровит*, или *Каровит*, что Гануш объясняет через корень *карий*, темно-красный, коричневый цвет. На малороссийском языке слово *таран* (тот же тур) означает темную шерсть быков, противоположный же ему *балан* есть название белых быков. Хотя всего этого недостаточно, чтобы утвердительно сказать, что *Чернобог* в своем первоначальном значении не что иное, как громовник, но самое его значение злого бога ада и мрака легко могло произойти от понятия бога небесного огня и грома: все эти предположения служат только дальними намеками на какую-то тайную связь всех богов солнца и грома, которые до сих пор остаются в состоянии чистой гипотезы. Но, быть может, удастся когда-нибудь из этой гипотезы составить определенное целое — положительную систему.

К богам солнца и огня вообще, по-видимому, принадлежит по корню своему еще имя *Соботки*, служащее у многих славян Польши, Силезии и Богемии названием народного праздника Ивана Купалы; напротив же, в некоторых губерниях России оно перешло на зимний день Коляды и сохранилось еще доньше в искаженном имени силезского села Собтен и близ него лежащей горы Собтенберг, знаменитой своими археологическими древностями, которые ясно указывают на существование здесь языческого капища или священного места богослужения.

Самое слово *Саботка* или *Соботка* почитает Прейскер за имя бога огня, утверждая, что на польском языке это слово доньше означает радостный огонь, что и объясняет, таким образом, переход этого слова на название огненных праздников Купалы и Коляды; другие же видят в этом слове одно только уменьшительное имя субботы или шаббаша, как праздника нечистых духов, ведьм и колдунов; оно дано суеверием этому бесовскому празднику язычества. Если предположим, что *Соботка* существовал когда-нибудь в нашей мифе и был олицетворением огня, то, подобно богам огня, которые в своем первоначальном значении были богами солнца, *Соботка* также принадлежал, вероятно, к кумирам небесных светил. Такое предположение вполне подтверждается изучением корня *саба*, или *сова*, в восточных языках, которого, однако, не следует смешивать с еврейским саббат, саббаш или шаббаш, означающим отдых и перешедшим в название седьмого дня недели как дня отдыха и молитвы.

В Индии Сабавакха было одним из многочисленных прозваний бога солнца; на турецком языке заря называется *Sabah*, *сабаизм*, или *сабеизм*, термин, принятый в науке для означения восточного поклонения небесным светилам; наконец, еврейское слово *Sabaoth*. Все это ясно намекает на то, что корень *саба*, или *сава*, служил на Востоке названием светил, что и

объясняет нам переход его в греческий миф, где мы встречаем его как прозвание Вакха или Юпитера Сабазиуса, или Сабадиуса. Под этими прозваниями они обоготворялись в особенности во Фракии и Фригии, где существовал некогда народ сабов и большой город Саба, от которого и получила, вероятно, свое имя как царица Саба (Савская), встречающаяся в истории Соломона, так и знаменитая еврейская предсказательница Сабба, почитаемая за одну из Сивилл.

Глава IX

БОГИ НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛ

Сознание непосредственного влияния небесных светил на жизненные силы природы и человека не могло ускользнуть от внимания славянина по причине самобытного развития его религиозного мирозерцания, и вместе небесные светила, как видимые явления природы, необходимо должны были в поэтических изображениях его религиозных понятий и верований получить форму самобытного образного их олицетворения. Но эти неясные очерки первобытной религиозной фантазии славянина, конечно, вскоре должны были исчезнуть перед определенными формами принесенных к нам извне кумиров восточного поклонения солнцу и огню. Тем не менее сохранили нам наши народные песни некоторые из этих очерков, ясно указывающих на высокое значение, придаваемое языческими славянами солнцу, луне и звездам.

Таковыми преданиями в особенности богаты сербские песни. Так, в одной говорится, что солнце имеет в небе богатый терем, откуда днем выезжает на золотой колеснице освещать землю и, объехав ее, возвращается снова в свой терем. В другой песне, что утренняя звезда пропадает по три дня из своего терема. В этом же отношении существуют и у нас многие песни, так, например, одна песня начинается следующими стихами:

Первый терем
Красно солнце.
Вторый терем
Светел месяц.
Третий терем
Часты звезды

и пр.

В другой солнце смотрит через окошечко на землю. Кроме того, в сродном нам литовском мифе находим много намеков на первоначальное понятие наших предков о божественности небесных светил; так, в литовской песне солнце является супругою месяца, который за неверность свою (проведя ночь с утренницею) был рассечен на две половины разгневанным *Перуном*. В литовской мифологии были известны также дочери солнца, как видно из песни:

Куда поехали сыны Божии?
Искать дщерей Солнцевых!

Такое понятие сохранилось и у нас в детской сказке о солнечных девах, которых имя своею коллективною формою показывает нам на самую древнейшую эпоху наших мифов.

Таким образом, солнце в первые времена нашего мифа олицетворялось белыми солнечными девами, как и земля милыми девами жизни; позднее обоготворялось оно под именами качественными, выражающими главные его свойства, как свет и жар, яркость и ослепительная белизна его лучей; наконец, под иностранным влиянием Ваала и *Тора* эти прилагательные имена преобразовались в собственные названия солнечных кумиров или уступили место другим, случайным и местным названиям.

Божество, олицетворяющее луну в славянской мифологии, определить труднее. Средовский называет ее *Наченой*, Венелин же *Нотницею* и *Фриглавой*, т. е. *Триглавой*; наконец, встречаем мы у Маша *Числбога*, как бога луны; но все эти имена весьма сомнительны. *Ночена*, или *Ночница*, как далее увидим, скорее выражение понятия ночи, как денница, полудница, вечерница и пр. *Триглав*, знаменитое штеттинское божество, которое богатством своего храма могло соперничать с Арконою и Ретрой, почему и можно предположить, что такое богатство и могущество не могло относиться к поклонению кумира луны. Что касается до *Числбога*, то имя и истукан его, как сказали уже выше, выдумка золотых дел мастера, изобретшего ретрайские древности.

Более сведений имеем мы относительно планет и звезд. До сих пор еще на чешском языке сохранились названия планет, носящие на себе печать древнего язычества, и хотя некоторые из них невольно заставляют подозревать позднейший славянский перевод латинских названий, но другие, напротив, качественною формою своих имен ясно намекают на древнее их происхождение от коллективных понятий духов, олицетворяющих разные подразделения суток. Так, например, утренняя

звезда (Венера) известна под именами: *Цтитель*, денница, утренница (*Житришенка*), *Светлусса*, *Светлоносса* и *Красопаня*; вечерняя звезда под именами: вечерница и *zviretnicza*. Подобным образом и планеты: Марс называется *Смртоносом*, Меркурий — *Добропаном*, Сатурн — *Глаголедом* и Юпитер — *Кроломоцем*.

Олицетворения в нашем мифе различных времен дня и года относятся, по-видимому, к обоготворению частных понятий солнца в различных положениях его суточного и годового кругообращения. Так, год распадается на две главные половины: *яркого* (жаркого) солнца весны и лета и *светлого* (но не греющего) солнца осени и зимы *Яра* (*Яровита*) и *Света* (*Световита*). Относительно времен дня мы находим подобный же пример поклонения не понятию утра, но именно заре и первому солнечному лучу в сохранившемся для нас описании храма *Утрабога* в Ютербоке.

В первой эпохе нашего мифа этим понятиям разных времен дня соответствовали коллективы, сохранившиеся отчасти еще в наших преданиях утренниц, денниц или полудниц, вечерниц и ночниц; некоторые из них удержались доселе и перешли в названия луны и звезд; денницею Дамианович называет славянскую Аврору. Наконец, полудницы, как видели выше, перешли в наших народных повериях в злых полевых духов и одни только сохранили свою первоначальную собирательную форму. В позднейшее время утренницы и денницы слились с понятием бога зари, утреннего солнца. Таким является у сербских вендов *Ютрбок*, т. е. *Утребог*, тогда как у южных славян он носит имя *Зарнача* и *Денницы*. У поляков является Аврора под именем *Ауски*.

Тожественным с *Утрабогом* является венгерский *Hennelius*, перешедший к чехам и полякам под именем *Honidio* или *Генилия*. По-венгерски заря называется *hajnal*, по-эстляндски *haggo*, и ночные стражи в Венгрии кричат: *hajnal vagon* — заря показывается, также и на польском языке в употреблении выражения: *eynal heynal* и *heynal svita* — заря светит.

Карамзин упоминает о *Генилии*, как о боге пастухов. Такое же значение имеет чешский и сорабский *Honidio*, вероятно, потому, что образ жизни пастухов более всего соответствовал празднованию возгорающейся зари, которую они одни только имеют обыкновение встречать уже на ногах.

Имена богов, образовавшихся из собирательных понятий полудниц и вечерниц, до нас не дошли; хотя, вероятно, и существовали, как видим это в польской богине солнечного заката — *Бецлее*. Понятие же ночи так близко примыкает к понятиям зла и смерти, сна и дневного отдыха природы, что невозможно между многочисленными богами мрака, смерти и сна определить, какой именно из них есть выражение ночи как отрицания солнечного света. Вероятно, однако же, что имена *Ночницы*, или *Ночены*,

которых относят обыкновенно к луне, были названия богини ночи, которая у поляков является под именем *Брекстои*, богини мрака.

Как различные времена суточного обращения солнца олицетворялись различными божествами, то и относительно года положительно можно сказать, что различные положения солнца имели также в наших мифах особенных божественных личностей. Год разделялся, как сказали уже выше, на две главные половины: жаркого солнца — *Яра* и светлого солнца — *Светов ила*, на что намекает нам осенний праздник последнего в Арконе; поклонение же *Яру*, как богу весны, ясно показывает, что *Яр* — бог весеннего солнца, это также подтверждается и самым происхождением имени *Яра*, *Яровита* или *Жаровита* от корня *яр*—*жар*. Далее слова: *яровой* (хлеб), *яры*, овраги, образованные весенним разлитием вод, и *ярылы*, название весенних ярмарок в некоторых губерниях России и *ярый*, *яркий*, *жаркий*, *жар*, *ярость*, *ярить*, которые до сих пор удержали у нас двойственное значение бога *Яра*, как олицетворения силы солнечных лучей и чувственного плодородия, возбужденного преимущественно у всех животных влиянием на них весны. Наконец, принадлежит сюда и немецкое слово *Jahr*^[15] (год), которое, подобно русскому *лето*, от частного значения *Ярого* полугодия (весны и лета) перешло в название целого года, потому что *летницей*, или *яром*, начинался новый год наших языческих предков.

Итак, если *Яровит*, *Световит* или *Ругевит* (главный бог на острове Рюгене) суть боги весеннего и осеннего солнца, то какие же боги летнего и зимнего? Этот вопрос решить довольно трудно. Впрочем, если согласимся с Ганушем, что богами солнца в его частных годовых фазах были все многоголовые кумиры храма Каренции, принимаемые им, подобно множеству рук Браммы, Шивы и Вишну, за аллегорическое изображение числа месяцев, подлежащих их покровительству, то *Коревит*, или *Хоревит*, по корню своему *кор*, *хор* должен быть отнесен к изображению зимы, если только он не искаженное имя *Harevit*, тождественное с богом весны. В таком случае останется нам для изображения летнего солнца — *Перевит*, или *Боревит* (*Бор*, *Святибор*), бог лесов, которого имя в значении бога цветущей зелени, лета, быть может, заменило древнее название бога летнего солнца.

Наконец, нужно еще заметить, что *Поренучь*, упомянутый нами как бог зачатия, почитается некоторыми мифологами за бога годовых времен. Таким образом, штеттинский *Триглав*, по самой форме своего кумира, есть не что иное, как один из этих многоголовых кумиров солнца, перешедший из Каренции в Штеттин. Здесь он утратил свое первоначальное имя и по внешним своим атрибутам получил имя *Триглавы*, или *Трибога*.

Глава X

БОГИ АТМОСФЕРЫ

Собственные имена бога грома, уступившего свое место литовскому *Перкуну*, совершенно исчезли у славян; но тем не менее предположить можно, как мы уже сказали выше, что эти имена были *Громовник*, сохранившийся у всех славян в народном прозвище *Перуна*, и *Молник*. Венелин в своем списке хорутанских божеств приводит имена *Громины*, или *Мочирны*, и *Громека*, или *Сломека*, придавая ему значение Вулкана; но вероятнее предположить по смыслу и значению этих имен, что они относились к богу грома и молнии, который гремит и ломит (бьет, поражает). О скандинавском значении миольнера *Тора* как громовой стрелы мы уже говорили, так же как и об имени дочери *Кари* (ветер) — *Míoll*, которая ясно славянское олицетворение молнии. Но кроме этого иностранного намека на имя *Молника*, мы об нем ничего более сказать не можем.

Имя литовского бога грома проникло ко всем славянам, только не с равною силою. Так, у западных славян мы хотя и встречаем везде имя *Перкуна*, но он является в простом значении бога грома, тождественном с самим явлением, им олицетворяемым. У восточных славян он развивается до степени бога богов и овладевает всею религиею. В наших летописях в первый раз имя *Перуна* упоминается в договоре Игоря с греками: «А если их не крещено есть, да не имут помощи ни от Бога, ни от *Перуна*». Далее встречаем имя *Перуна* в договоре Святослава с греками: «Да имеем клятву от Бога, ему же веруем, в *Перуна* и *Волоса*» и проч. Это место издатель объясняет следующими словами: клялись Богом вседержителем те, которые исповедовали веру Христа, а *Перуном* и *Волосом* — идолопоклонники, находившиеся в войске Святослава. Если допустить это тонкое различие между Богом и *Перуном*, то почему же не предположить его относительно *Перуна* и скотного бога *Волоса* и понимать это место так: христиане клялись своим Богом, языческие варяги — *Перуном*, а языческие славяне — *Волосом*.

Что касается до кумиров *Перуна*, мы знаем, что Владимир поставил такой кумир на холме днепровского берега и что в Новгороде у берега Волхова, где теперь часовня, на конце моста стоял истукан *Перуна*. Но был ли он поставлен Добрынею, по приказанию Владимира, как утверждает летопись, или, что, впрочем, вероятнее, сооружен был варягами, как думают митрополит Евгений и Вельтман, это достоверно неизвестно. О киевском кумире *Перуна* приведем здесь слова Степенной книги: «И бысть в лето в

6488 устроиваше Володимир многие кумиры и повеле соделати в древе кумир Перуна, ему же глава серебряна и ус злат и постави его в Киеве на холме вне двора теремного, идеже и прочия кумиры постави Хорса и Дажба и Стрыба и Смаргла и Мокоша».

Хотя описывают летописцы ярость поклонников *Перуна* при низвержении его в волны Волхова или Днепра, со всем тем положительно можно сказать, что *Перун* не успел еще сродниться со славянами. Такое мнение подтверждается тем, что нигде, ни в песнях, ни в сказках, ни в пословицах, ни в языке нашего народа, не сохранилась ни малейшая память о нем, и без летописи Нестора и договоров, заключенных нашими варяжскими князьями, мы не знали бы о его существовании. Напротив, у южных славян, словаков, хорватов и сербов, имя *Перуна* до сих пор живет в устах народа, хотя и ниспало до степени бранного слова (*Паром* имеет значение черта).

На юге имя литовского *Перкунуста* переходит в *Паром*, *Пером*, *Бером* и даже *Прам* и *Брам*, почему Юнгманн и Гануш полагают его тождественным с индийским Брамой. В новой Греции, где, как известно из Шафарика, древнее эллинское племя смешалось с славянскою кровью дунайских вендов и антов, находит Касторский имя женской богини атмосферы *Пирперуны*, которая как по корню своему, так и по значению напоминает нашего *Перуна* и в этом сходится с сербским названием цветка *Iris*—*Перуника*, которое, в свою очередь, напоминает латышское название растения *Perkunes* (полевая горчица), называющееся на французском языке *Tortelle*, и посему относящееся к *Тору*, как лицу, тождественному с *Перуном*. Венелин, принимая в своем ономастиконе имя *Верона*, или *Берома*, за название Юпитера, приводит аквилейскую надпись, перевезенную в Венецию: *Vono Deo Bronrtoni*, и другую надпись, римскую, из Грутера:

Jovi Sancto
Brontonti
Aur. Poplius

Он читает ее так: *Jovi Sancto, Veroni tonanti* и пр., т. е. Юпитеру *Верону* (*Перуну*) громовержцу.

Явления грома и молнии почти всегда неразрывно связаны с явлениями бури, ветра и дождя, посему религиозные олицетворения этих явлений нередко между собою смешаны, взаимно меняясь значением друг друга, что и дало повод Касторскому отнести всех богов атмосферы к одному их общему началу *Перуну*. Таким образом, Касторский принимает богов *Погоду*, *Стрибога*, *Похвиста* и пр. за односторонние изображения *Перуна*,

тождественные, однако же, с общим их родовым понятием бога грома. Но, рассматривая здесь *Перуна* в первоначальном его значении громовника, т. е. олицетворение явления грома, мы не имеем причины допустить такое преобладание грома над другими атмосферными явлениями. Такое замечание Касторского может быть справедливо только относительно позднейшего значения *Перуна* в эпохе чистого идолопоклонства, когда божество и явление, им олицетворяемое, потеряли свое конкретное единство и явление подчинилось личному произволу кумира.

Ветер, по физическим своим свойствам, может быть освежительным и благодатным или холодным, бурным и разрушительным; поэтому можно положить, что наши предки, так глубоко вникнувшие во все тайные законы природы, должны были иметь двух различных богов ветра — *зефира* и *бури*. Таковы были, вероятно, *Похвист* (*Посвист*) и *Стрибог*; но как бог бури, развившийся до степени кумира, мог, подобно богам бесплодия и болезни, перейти впоследствии в благодатного отвратителя бури, то нам никоим образом определить невозможно, кто из этих двух божеств олицетворял зловредный элемент ветра. Этим объясняется странное противоречие наших мифологов в объяснении значения наших славянских Эолов.

Карамзин зовет *Похвиста* богом ясных дней и сильных ветров; Венелин, напротив, переводит его: *malus aeg.* Ткани сравнивает его с *Негодой*, другие же с *Погодой* (*Подаго*). Наконец, по словам Дамиановича, *Посвист* есть западный ветер, предвещатель радостей грядущего лета и счастливый супруг *Хоры*, богини первой части года, т. е. лета; он переносит людей, посылаемых богами, на назначенные им места.



Подобное противоречие поражает нас и при имени *Стрибога* у поляков и чехов *Стрибека*, *Стриш* и *Стригона*. О *Стрибоге* знаем мы из *Нестора*, что кумир его находился в Киеве, но яснее определяет нам его значение безымянный писатель «Слова о полку Игореве»: «Се ветры Стрибожи внуци веют с моря стрелами на храбрые полки Игоревы». Слово *стри* сохранило до сих пор на моравском языке значение воздуха, что и показывает нам происхождение имени *Стрибога* гораздо яснее, чем предположение Гануша, что имя нашего Эола есть сокращение слова *быстрый*, которое он старается отыскать в германском *Пустерике*, или *Пистрихе*.

Кроме этих главных божеств, встречаются еще некоторые племенные названия богов ветра, о которых, впрочем, кроме весьма сомнительных догадок, ничего верного нам не осталось. Так, некоторые ученые называют польскую *Немизу* богинею ветров, польского *Васпулича* богом вихря и бури и вместе прислужником *Перкуна*, сербскую *Фертуну* — богинею ветров, наконец, принадлежит сюда отчасти и чешское поверье о *Рарашках*, поднимающих пыль столбом во время бури и вихря.

В тесной связи с громом и ветром находится дождик. Подобно ветру, он имел, вероятно, двойственное значение доброго и злого; к нему примыкают понятия росы и сырости и связывают его, таким образом, с понятием водяных божеств, которые имеют большую аналогию с богами дождя и сырости. Так, мы имели уже прежде случай упомянуть о *Макоше*, или *Макошле*, обоготворяемом у нас в Киеве и которого Стредовский и за ним многие другие называют богом дождя, производя имя его от корня *мокромта*; этот же корень встречается и в именах водяных духов *Змоков*, и в хорватском названии богини *Мочины*, или *Мочирны*, приведенным Венелиным как синоним *Грумины* — богини дурной, мокрой погоды.

Наконец, самое состояние погоды имело в славянском мифе свои особенные названия, которые, конечно, неразрывно связаны не только с предыдущими божествами грома, ветра и дождя, но и с богами солнца; быть может, что они даже только одни прозвания этих различных богов. Так, тихое и ясное время обоготворялось почти у всех славян под именем *Погоды*, или *Подаги*, сырая же холодная погода называлась *Негода*, т. е. *непогода*. Наконец, еще принадлежит сюда *Догода*, которого одни считают за погоду, другие на непогоду.

Мороз и холод имели также свои олицетворения; так, мы уже говорили о боге *Лёд*. Замечательнее в этом отношении в скандинавской мифологии сказание о *Кари*, сыне *Форниотра* (т. е. *Перуна*), боге воздуха и холода. Он имел двух сыновей: *Lokul* (glacies) и *Snaer* (nix) и одну дочь *Mioll*; по

Вольмеру же он имел сына *Фроста (Хроста)* и внука *5л/о* (снег). Во всем этом предании ясно выступают славянские корни: лед, снег, молния и пр. Теперь у нас существует *Каре*, или *Кари*, в значении злых духов *Кароссов*, или *Мароссов*, которых самое имя намекает на тождество с словом *мороз*. Эти духи бегают по полям и дуют в кулаки; от пяток их отдается треск, от дуныя в кулаки свист ветра, вот отчего и говорят, что мороз трещит. Этим объясняется выражение «мурашки по коже дерут», ибо здесь мурашки явно не что иное, как уменьшительное имя *Мароссов*, т. е. мороза, которое, в свою очередь, по корню своему относится к богине смерти, зимы, сна и холода *Моры*, *Мары* или *Морены*.

Здесь нельзя нам не обратить еще раз внимания на перенесение значения языческих богов на христианские имена святых апостолов и угодников нашей церкви. В особенности это перенесение видно в песнях и преданиях сербского народа, где, кроме громовника Илии, встречаем еще святую Марию, как хранительницу молнии, св. Пантелея, покровителя дождя, св. Фому, как владетеля облаков, св. апостолов Петра и Павла, как покровителей земных плодов: пшеницы и винограда, св. Николая, как владетеля над водами, и, наконец, св. Савву, как покровителя льда и снега.

Так сказал им он и подняшеся.
И делили они дары Господа,
Что Господь подарил им в веденье:
Святы Петр и апостол Павел
Виноград и пшеницу взяшеся.
Святый Илия громы небесные,
А Мария стрелы и молнии.
Святый Фома — владыко над облакы,
Пантелей — покровитель дождика,
Святый Спас — покровитель хлебушко,
Николай — владыка над водами,
Святый Савва — над льдами и снегами,
Иоанн — над собором ангельским.

Глава XI

БОГИ ОГНЯ И БОГИ ВОЙНЫ

Первородная стихия огня, как проявление тайной силы природы, была, без сомнения, предметом обоготворения древних славян. Но в настоящее время, при смешении этого понятия огня с позднейшим его аллегорическим

значением земного представителя и символа небесного огня светил и молнии, нам почти невозможно отделить в многочисленных преданиях о славянском огнепочитании чистое обоготворение огня, как бога или природного явления; от обрядов, относящихся к символическому поклонению солнцу и грому.



Ясные указания на высокое значение огня у славян мы находим, с одной стороны, в поверьях карпатских словаков, что свет произошел от брака царя огня с царицею водою и что все начало жить на земле только с тех пор, как загорелся огонь внутри земли, с другой стороны, нам известно, что богу грома *Перуну* горели у восточных славян вечные огни дубового дерева. Это высокое значение огня, так же как и богопочитание его, подтверждается многими свидетельствами летописцев и новейших писателей. Так, Срезневский говорит, что хорутанские девицы в великий четверг, или в четверг после Троицы, праздновали освящение огня с песнею «Sweti se sweti ogenj sweti se». Антон приводит обычай лужицких пастухов праздновать день св. Фейта, или Вита, зажиганием костров из благовонных растений, что прямо намекает на древнее богопочитание *Светови-та*. Сюда же, по мнению Гануша, относились огни дня солнечного поворота, сохранившиеся у нас до сих пор под именем Купальных, или Святоянских, огней и которые, если не именно к *Световиту*, то, по крайней мере, относятся к одному из наших древних богов неба, солнца или грома.

Нет сомнения, что огонь в глазах наших предков имел какую-то живительную и очистительную силу, которая являлась в особенности в так называемом *новом огне*, или *царь-огне*, (германское *Notfeuer*), добываемом посредством трения и спасительном в особенности против скотного падежа; а это невольно намекает нам на близкую связь богов рогатого скота с богами солнца, которым почти во всех мифах Европы рогатый тур служил обычным

атрибутом. Точно в таком же понятии встречается у сербов *Зничь*, от слова *нитите* — *возгнетать*, из чего некоторые мифологи, как Дамианович, заключают, что *Зничь* было собственным именем славянского Вулкана и бога огня.



Через эти огни, добываемые до сих пор в Иванов день в некоторых частях России и Германии посредством трения, перегоняют скот и перепрыгивают люди для очищения от злых духов, болезни и язв; им же приносят нередко и жертвы. Так, в сербской песне Будинская королева сожигает на живом огне (*ватра-жива*) рубашку, превращающую досель сына ее в чудовище. Финны и эстонцы до сих пор сжигают в Ивановскую ночь белого петуха. Сюда относится и вышеупомянутая русская песнь о жертвоприношении козла. Еще следует упомянуть здесь о гаданиях по пламени, на лучинах, на углях и золе, принадлежащих, по-видимому, к древнему культу огня.

Из всего этого мы никак не можем определить: живой ли огонь был собственным предметом обоготворения, или, быть может, его почитали как символ небес. В первом случае бог огня, по предположению Дамиановича, носил, вероятно, у южных славян имя *Зничь*, или царь-огонь. В России встречается он под именем *Сворога*, или *Сворожича*, который, по Ипатьевской летописи, был богом нравственности и отцом солнца, или *Дажбога*; в «Слове» же о суевериях ясно упоминается *Сворог* как бог огня: «И тако докладывают им требы и коровай им ломают и куры им режут и огневи молятся зовут *Сварожцем*». В Польше и Богемии существовала, по словам Стредовского, богиня огня *Диблик*, которую он переводит именем Весты; но по самому названию видно, что это понятие не относится ко временам язычества, но, скорее, произошло позднее от понятия Вельзевула, владетеля подземных огней ада, как уменьшительное имя дьявола. В Силезии, по словам Прейскера, обоготворялся, быть может, огонь, как видели выше, под именем *Саботки*, или *Сабатки*, давшей свое имя горе Соптенберг.

К собственному обоготворению огня как природного явления, по-видимому, принадлежит в особенности почитание священного домашнего очага, олицетворенного в Польше под видом домового духа, *Выгорища*, которому, вероятно, соответствовал у других славян *Пан Чур*, что и объясняет нам превращение имени его в *чурбан*, т. е. древесный пень, как предмет, будто приносимый в жертву богу *Чуру*. У хорутан, хорватов и прочих южных славян подобный пень носит имя *бадняка*, или чурбана, и занимает главное место в зимнем празднике, известном под именем *бадного вечера*, Беда, Крачуна или Полежайника. Обыкновенно накануне Рождества Христова отправляются поселяне в лес и, срубивши там толстый дубовый пень, в сумерки привозят его с большим торжеством к себе в хату, где встречает его полежайник, гость, приглашенный на вечер для исполнения должности церемониймейстера. Бадняка кладут на очаг, и

начинаются приготовления к великолепному ужину. При появлении звезды полежайник поздравляет хозяина с праздником, посыпает избу зерновым хлебом, или самого его обсыпает; потом, взяв кочергу, бьет по догорающему бедняку так, чтобы летели от него искры, причем он за каждым ударом приговаривает: «О волико говеда, о волико коня, о волико коза» и пр. столько же вам рогатого скота, столько же лошадей, коров, овец, кабанов и пр. и пр. Потом бросает он в золу несколько денег, и все присутствующие следуют его примеру. В Черногории льют на бадняка масло, вино и бросают на него соли и муки; когда же он загорится, то зажигают от него свечи и лампаду и начинают молиться Богу. У карпатских русняков, где этот праздник отправляется под именем Крачуна в тот же день и почти таковым же образом, место бадняка занимает огромный сноп хлеба, который обливается всеми возможными яствами и напитками, после чего он также сжигается на очаге. Конец праздника везде одинаков: насытившись и напившись вдоволь, хозяева и гости встречают наступающий праздник большею частью под столом.

Во всех этих обычаях бадняк принимает, без сомнения, значение домашнего благого бога очага, но, с другой стороны, в то же время он может служить ясным намеком на прежнее поклонение кумирам *Бадаю*, *Бедаю* и *Крачуна*, которые, как видели выше, считаются покровителями по преимуществу скота и только отчасти богами растительного плодородия. Как скотий бог, *Бедаи*, по подобию нашего тождественного с ним *Волоса*, или *Велеса*, может легко иметь тайную связь с богами солнца и быть аллегорическим представлением не кумира *Бедаи*, но понятия солнца; таким образом, святость очага явилась бы символическим изображением неба, и боги его слились бы с богами небесного огня. Но гораздо яснее выразилось у нас это перенесение небесного света и огня на земной огонь в преданиях об огненных людях, змиях, блудящих огнях, огневиках, огнянках, змоках и блудницах, так же как в существующем поверье татранских словаков, что огонь породил солнце, звезды и месяц.

При имени *Змоков* нам необходимо еще раз напомнить читателю, что как здесь, так и во многих местах слились в один и тот же звук, в одно и то же имя два и, быть может, три совершенно различных понятия: одно понятие — свистящих домовых *Змоков*, или *Цмоков*; другое — водяных духов *Взмоков* (от корня мокрый, мочить) и, наконец, третье — литовских *Смокасов*, или *Змокасов* (наших *Смоков*, *Змоков*), которые обыкновенно представляемы под видом огненных змеев, олицетворяют небесный огонь и, в особенности, молнию, действительно имеющую змееобразную форму. Поэтому при существовании имени *Змоков* у всех славян нельзя судить о

распространении между всеми поверья об огненных змеях, которые преимущественно принадлежат северо-восточным племенам, т. е. тем племенам, где наиболее распространилось литовское поклонение *Перуну*, который, как владетель молнии, был, вероятно, и начальником всех *Змокасов*.

Ясное свидетельство иностранного происхождения огненных *Змоков* представляет нам чародейская песнь солнечных дев, приведенная Сахаровым, в которой между русскими словами мы встречаем разные, совершенно иноплеменные и непонятные нам звуки: во всем доме — гилло магал — сидела солнцева дива, не терем златой — шингафа — искала дева... и далее, пицано, фукадалимо короиталима канафо. — Полкан, полкан! разбей ты огненного змея и пр. Желательно было бы, чтобы природные литовцы, латыши или финны обратили внимание на этот отрывок, в котором легко, быть может, нашли бы они родные звуки.

Вообще, во всех наших народных сказках и песнях огненный змей дышит чем-то иноплеменным, враждебным, и убийство змея Горынчища Добрынею, вероятно, считать можно фантастическою аллегориею изгнания или покорения иностранцев нашею богатырскою силою. Кроме того, о самой песне нужно заметить, что она принадлежит, по крайней мере, по переделке, к позднейшей эпохе изгнания поляков, утвердивших на престоле Лжедмитрия, что доказывает самое имя чародейки Марины (жены Лжедмитрия), вероятно, в прежнее время *Моры* или *Морены* как богини зимы и смерти; если же это допустим, то огненные змеи, прилетающие к Марине, суть не что иное, как польские дружины.



Мы уже выше упомянули, что понятие войны, как определенной науки, и вытекающее из нее поклонение идее военного искусства в образе бога-полководца могли родиться только в таком народе, у которого вполне развилась политическая жизнь и государственная власть. Поэтому боги

войны принадлежат необходимо уже гораздо позднейшей эпохе нашего мифа и, вероятно, вошли в него в эпоху принятия нашим язычеством чужестранных кумиров небесного света и огня. В самом деле, все кумиры солнца и грома третьей эпохи нашего мифа сосредоточивают в себе понятие богов войны и бранной славы; все они представлялись вооруженными с головы до ног, что в религиях Азии было символом небесных богов: солнца и грома, у нас же явилось просто в прямом значении атрибутов войны. Так, у западных славян все рюгенские Виты: *Световит*, *Ругевит*, *Яровит* и пр. считались богами, покровительствующими воинским предприятиям своих приверженцев. Также известно, что ретрайский *Радегаст*, носящий прозвание *Разводица* — разводителя или предводителя, т. е. полководца, изображался воином с птицею (символ славы) на шлеме, бычьей головою (символ силы) на груди и с щитом и копьем в руках. Наконец, у южных славян Марс обоготворялся под именами *Турицы*, *Тура*, *Торка* и *Торика*, которые все происходят от громоносного *Тора*. У сербов, по словам Дамиановича, Марс встречается под именем *Бора*; но это, как уже заметили выше, довольно сомнительно, потому что самое слово *Бор* ясно намекает на имя бога лесов; могло ли из этого понятия произойти понятие бога войны, это вопрос, требующий еще дальнейшего подтверждения^[16].

Если понятие войны в высшем значении науки не могло принадлежать первым эпохам нашего мифа, то, напротив, понятие вражды, ссоры, боя и драки в более частном и низшем значении, вероятно, принадлежит к самому древнейшему времени совершенной дикости нашего народа, когда право заменялось силою кулака и ничто не удерживало человека в порывах диких страстей гнева и бешенства.

Итак, первоначальное значение нашего природного бога войны было собственно понятие вражды и ссоры *развод*—*Разводиц*, как и противоположный ему бог мира, примирения и согласия: *Ладонь* или *Лад*, *Ляд*, *Лиуда* от корня *ладить*, в переносном значении перешедший в бога войны, подобно как боги болезни и неурожая сделались со временем богами здоровья и плодородия.

Противоположное слову *ладить* является у западных славян имя *Разводица* или *Разводника*, которое ясно по смыслу своему соответствует понятию если не войны, то, по крайней мере, ссоры и неприязненных отношений. Под этим именем обоготворялся, вероятно, древний бог войны; но когда это значение перешло у вагринцев на Радегаста, у моравов же на Мичислава или Вичислава, то слово Разводиц из собственного названия славянского Марса перешло в качественное прозвание этих кумиров.

В описании храма города Ретры или *Радегаста*, Дитмар упоминает, кроме *Радегаста*, о другом воинственном боге *Разводице*, называемом, по изданию Перца, *Суаразиком*; по древнейшему же изданию Вагнера *Луаразиком*. Много рассуждений, толков и остроумных догадок породило между германскими мифологами это почти необъяснимое название бога войны. Согласно с чтением Вагнера, Шафарик и за ним Гануш старались произвести его имя от слов *лев* и *разить* — *разительный лев*. Но в 1844 году Шафарик, отрекшись от своего первого мнения, бросил новый свет на это доселе не разгаданное божество славянского мифа. Он доказал тождество дитмарского *Луаражича*, или *Суаразика*, с русским *Сворогом*, встречающимся в Ипатьевской летописи и в «Слове Христолюбца», где он является богом солнца и огня, отчего он легко мог перейти и в бога войны.

Сюда принадлежат еще некоторые племенные названия великих воеводцев, перешедших, подобно вышеупомянутому *Мичиславу*, в число славянских божеств или, по крайней мере, сохранившихся в народных преданиях как имена баснословных богатырей: русский Добрыня, вендские Зоне и Плуссо, принесший в жертву Радегасту в 1066 году мекленбургского епископа Иоанна. Вообще, богатыри Волоты и Полканы, как олицетворения физической силы, были, вероятно, в большом почитании у наших предков, так высоко ценивших силу во всех ее проявлениях. Вот почему и была она обоготворяема на Руси под видом Сильного и Крепкого бога, который, впрочем, вероятно, не что иное, как одно из многочисленных форм бога войны.

Наконец, нам остается сказать несколько слов о *Полкане*. Мы заметили уже выше, что имя *Радегаста* произошло, вероятно, от ратного гостя, т. е. господина, воеводы, словом, *Радегаста*, ратника по преимуществу, что подтверждается и тем, что, подобно *Световиту*, в храме *Радегаста* содержались лошади для собственного его употребления. У нас это понятие ратника олицетворилось в фантастической форме славянского Центавра *Полкана*, который посему, может быть, не что иное, как наш русский *Радегаст*.

К имени *Полкана* примыкает еще суздальский бог *Плихан*, или *Полхан*, по которому до сих пор небольшая ярмарка во Владимирской губернии носит имя Полиханской.

Глава XII

ПРАЗДНИКИ И ВРЕМЯИСЧИСЛЕНИЕ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

Понятие времени вообще, как не основывающееся ни на каком достоверном факте, вероятно, у славян не существовало, хотя некоторые

ученые и принимают *Житоврата* или *Кродо* за нашего Сатурна, и Дамианович переводит греческого Хронуса именем *Временника*: но это сомнительно, и вероятнее считать его за вольный перевод славянского мифолога, тем более что этого имени мы нигде не встречаем.

Славяне, предаваясь преимущественно поклонению земной природе, вероятно, считали сначала время, сообразуясь с самими явлениями годовой жизни земли, атмосферы, вод и растений; но этот расчет, по различным температурам мест и времен, не имел ничего определенного. Вот почему наши предки принуждены были наконец прибегнуть к общечеловеческому астрономическому исчислению времени и празднованию определенных дней солнечных поворотов и равноденствий. Наш простой народ до сих пор не любит определять время месяцами и приблизительно означает его своими сельскими работами или большими церковными праздниками. «Когда рожь поспеет, — когда скот выгонят в поле, — в крещенские морозы, — в великий пост, — в петровки»... При означении церковных праздников придает он им часто прозвания, относящиеся к его сельской жизни, и соединяет с понятием этих праздников известные свои занятия или природные явления. Так, например, название Татьяны крещенской — от крещенских морозов; Герасим—грачевник назван так от того, что в это время прилетают грачи; Иеремия—запашник — в этот день начинают запашку полей; Марфа и Ирина—рассадицы — в эти дни рассаживают огороды; Акулина—гречишница — в этот день сеют гречиху, и многие другие подобные примеры. Некоторые праздники перетолковывают также на свой лад; так случалось мне слышать, что праздник Сретения Господня есть *встреча* зимы с весною; день сорока мучеников называет народ *сорокой* и полагает, что в этот день трескается лед и пост переламяется пополам: в этот день пекут пироги в виде сороки, и жаворонки, как в день Герасима, в виде грачей; обычай, вероятно, имеющий свое начало в языческих жертвоприношениях.

Год, как видели выше, разделялся у славян на две главные эпохи *Живы* и *Моры*, весны и осени; но самые дни, разделяющие эти два полугодия одно от другого, нам неизвестны, и, вероятно, никогда точно и положительно не были определены, завися от большей или меньшей продолжительности жаров или морозов и вообще от температуры и земной растительности. Каждое полугодие разделялось, в свою очередь, на две главные эпохи: начала и полного развития, весны и осени, соединенных между собою второстепенными празднествами, которые все подчинены главному понятию *Живы* или *Моры*. Таким образом, полугодия каждой из них являются, скорее, как один непрерывный праздник богини весны или осени, нежели как время, подлежащее ее покровительству.

О собственном празднике *Живы* как богини жизни, мы имеем свидетельство Прокоши, что оно совершалось в первые дни мая месяца; но это замечание, быть может, относится к *Живе* как богине любви, достигшей степени кумира.

При первых предвестниках весны спешили славяне хоронить злую *Мору* и с крыш домов своих призывать благодатную весну. В Польше окликают весну в великий четверг до восхода солнца. К этому же обычаю относится встреча первого дождя или грома с особенными обрядами и песнями, как, например:

Дощику, дощику,
Милый дощику,
Кропи жутко,
Шоб б ухо чутко.
Дожжь, дожжь,
На бабину рожь,
На дедину пшеницу,
На дивкин лен
Поливай ведром.

Первого марта многие славяне имеют привычку ходить на могилы покойных и служить по ним панихиды; это осталось от древнего обычая при окончании года и начале нового лета праздновать поминки всех скончавшихся в минувшем году. У лужитанцев, близ Гёрлица (в Саксонии), до сих пор сохранился обычай ходить в воскресенье четвертой недели великого поста на Тодесберг (Todesberg — гора смерти) с зажженными факелами и, помянув там всех скончавшихся, тушить факелы и возвращаться с песнею: «Смерть мы потушили, новую жизнь зажгли». Этот праздник с разными изменениями празднуется почти во всех краях Германии, где жили прежде славяне, и известен под общим названием *Todaustragen* (выношение смерти).

К этому общему названию выношения смерти принадлежит и обычай, существующий доныне у многих славян, праздновать окончание зимы похоронами *Моры*, или *Морены*, т. е. аллегорическое олицетворение зимы и прошедшего года, кончавшегося у древних славян с наступлением весны. Парни или девки (смотря по местному обычаю) собираются в первых днях

марта месяца и носят по деревне соломенную куклу или длинный шест, обвешанный женскими платьями. После чего они спешат это чучело бросить в реку или болото или сжигают его посреди деревни, сопровождая эти обряды хороводными песнями, в которых до сих пор еще слышно имя *Моры*, или *Морены*.

Когда снег совершенно растает и зазеленеют поля, тогда совершается празднество в честь скотного бога *Волоса*, в то время, в которое выгоняют скот на поле. До сих пор еще у нас пастухи имеют обычай в день св. Власия служить ему, как покровителю скота, молебн. У некоторых западных славян, напротив, скот выгоняется в день св. Вита (вероятно, в память *Световиша*), причем зажигаются в честь его огни, через которые перегоняют скот — обычай, существующий и у нас в день *Купалы*.

Когда земля совершенно освободится от своего зимнего покрова и крестьянин принимается за плуг, тогда приходит время *Живы–Севы*, т. е. богини посевов; почему до сих пор у крайнцев время посева носит имя языческой богини *Сеивины*. Наконец, когда реки после разлития войдут в берега, когда рощи зазеленеют и звери, скрывавшиеся в них, начнут плодиться, тогда подходят праздники русалок, мавок, леснянок, леших и вообще богов чувственного плодородия. Еще до сих пор в России неделя от седмицы св. Отцов носит имя *русальной недели*, первый же понедельник после Троицы называется *русальными проводами*. Но преимущественно день, посвященный русалкам, это четверг зеленой недели. В это время русалки пользуются полною свободой бегать по полям и рощам, чтобы вдоволь наплясаться за целый год; утопленницы нередко в эти дни посещают своих родителей, но большею частию их страшатся. Никто не осмеливается в это время купаться, кроме киевских ведьм, и в лес ходят только с полынью и зарею^[17], предохраняющими от невыносимых щекотаний русалок. Девушки сплетают венки и бросают их в поля, чтобы русалки ими украшались. Наконец, в день проводов русалок собираются все женщины и девушки вокруг чучела, представляющего русалку: они разделяются на две партии, одна защищает куклу, другая старается овладеть ею; после чего все вместе отправляются в поле, разрывают чучело и разметывают его по полю или бросают в реку.

После русальной недели наступает семик, праздник цветов и зелени, и, вместе, праздник любви; девушки собирают цветы, плетут из них венки, пляшут на лугах и вокруг деревьев и, сгибая березовые ветви, целуются через них с мужчинами; в песнях семика воспеваются веселие и любовь, цветы и зелень. У некоторых славян этот праздник оживления растительной природы называется *зеленым днем*, *зеленою неделей*, подобно как в Германии он носит имя *зеленого царя* или *зеленого человека*. У других же он

имеет характер семиков прежнего времени и превращается в развратное пиршество, празднуемое в честь чувственного *Тура*; отчего, быть может, и происходит обычай целоваться в этот день через березовую ветвь.

Наконец, настает великий день *Купалы*. Им, по-видимому, оканчиваются праздники весеннего полугодия, как Колядами оканчиваются праздники осеннего, хотя полугодие *Морены* и не начинается прежде жатвы, а именно, спустя два месяца после *Купалы*, так же как и царство *Живы* начинается только два месяца после Коляды. Жатва хлеба, собирание осенних плодов, яблок, груш, апельсинов и винограда, освящение плодов в храме, благодарственные молитвы за них, приготовление зимних припасов, наконец, безмятежный отдых от летних трудов и радостная встреча зимних забав — вот полугодие *Морены*, оставившее нам менее сведений, чем полугодие *Живы*, но все-таки отразившееся во многих обычаях нашего народа. Так, оно сохранилось отчасти для нас в праздниках Обжинках, или Спожинках, бабьем лете, Семеновом и Аспосовом днях и, наконец, в рождественских святках, или Колядах.

Вот весь годовой календарь первоначальной эпохи нашего язычества; его недостаточность, по необходимости, принудила славянина прибегнуть к другому вернейшему измерению времени, которое, вместе с поклонением богам неба, вскоре покорило и присвоило себе все главные формы и обычаи первоначальных празднеств славян, почему нам теперь почти невозможно вполне определить границу между праздниками чисто земного плодородия и праздниками солнечных богов.

По различным положениям солнца год разделялся у славян также на две половины, совершенно соответствующие по времени с полугодиями *Живы* и *Морены*. Весеннее солнце называлось *Яром*, или *Туром*, почему *Яр*, или *Яровит*, у многих славян перешел в бога весеннего плодородия.

Главный весенний праздник древних славян был Турица, или Литница, который, по мнению Гануша, совпадал с праздниками ретрайского *Радегаста* и рюгенского *Яровита*, быть может, во время весеннего равноденствия. С другой стороны, Аппендини рассказывает об обычае в Рагузе первого мая наряжать двух мужчин и одну женщину в *Турицу* и *Вилу*, что вполне соответствует русским праздникам *Тура* и *Русалок*, которые бывают в одно и то же время, хотя и принадлежат совершенно разным началам. У нас остатки буйных празднеств *Тура* и *Ярыла (Яра)* встречаются обыкновенно на троицкой или семицкой неделе, также в петровское заговенье, т. е. в мае месяце; но, вероятно, все это был один и тот же праздник начала весны, перенесенный, по позднему развитию нашей северной природы, от дней весеннего равноденствия на май месяц. Мы

ничего положительного не знаем относительно праздника *Перуна* в Киеве, но если *Перун*, как бог грома, тождествен с *Туром*, то предположить можно, что суеверная встреча первого весеннего грома есть остаток его праздника.

Полное развитие весны, или день летнего поворота солнца, есть один из важнейших праздников всех славян, известный под именами дня св. Иоанна, Ивана или Яна и Ваяна (у словаков и сербов), в Польше и Богемии *Саботки*, у хорутан *Креса* (от слова *кресати* — вырубать, возгнетать огонь), в Далмации *Коляды*, у нас же встречается под именами *Купалы*, или *Купальницы*.. Странно только то, что этот праздник носит в Далмации имя ему противоположного дня зимнего поворота солнца, когда, напротив, в некоторых губерниях России праздник Коляды называется *Субботками*.

Как весной, так и осенью было у нас два главных праздника относительно солнца: праздник сентябрьского равноденствия, совпадающий с жатвенными праздниками земного плодородия, и праздник зимнего поворота солнца 24 декабря, как начало и зенит осеннего развития холода и длинных ночей. Первый, слившись с праздниками осеннего плодородия, совершенно в них исчез, но германские летописцы Гельмольд и Саксон Грамматик сохранили нам подробное описание торжества его в храме бога осеннего солнца *Световита*. Обыкновенно после жатвы стекалось в Аркону великое множество народа для приношения в жертву *Световиту* первых собранных плодов. В самый день праздника первосвященник осматривал прежде всего рог с вином, находящийся в руке *Световита*, и по мере полноты его предвещал народу изобилие жатв будущего лета; потом, вылив старое вино, он наполнял рог свежим и выпивал его в честь своего бога. Наконец, снова наполнив рог вином, он возвращал его кумиру. После этого приносили в храм большой жертвенный пирог, за которым обыкновенно прятался жрец, и если его не было видно за пирогом то это считалось хорошим предзнаменованием, в противном случае жрец увещевал всех присутствующих, для показания своего усердия к *Световиту*, приготовить на будущий год побольше пирог. Этим оканчивалось богослужение, после которого начинались пиршества и веселия, продолжавшиеся несколько дней сряду. В этих обрядах ясно видна хитрая выдумка жрецов *Световита*, почему, естественно, эти обряды и должны были исчезнуть вместе с падением кумира и касты его жрецов. Впрочем, этот обычай печь большие пироги в честь богов осеннего солнца и плодородия сохранился до сих пор у всех славян, хотя и перешел на канун Рождества Христова, т. е. на второй праздник осеннего солнца.



Приступим теперь к двум главнейшим праздникам славянского народа, сосредоточивающим в себе все его верования и поклонения и выразившим самым соединением религии неба с религией земли в одну общую форму

богослужения, обоюдное примирение их в абстракт религиозного мирозерцания славянина. Эти два праздника, Купалы и Коляды, по внутренним их свойствам и значению совершенно почти тождественны между собою, с тою лишь разницею, что летний день Купалы более природный и общественный праздник наслаждения настоящими благами, напротив, Колядо домашний и семейный праздник отдыха, ворожбы и мольбы за будущее. В день Купалы очищаются люди и скот от прежних недугов и вредных влияний злых духов через купание или перепрыгивание через огонь, которому приносят благодарные жертвы из настоящих богатств природы, как цветов и благоуханных трав. В зимний праздник огонь делается частным достоянием домашнего очага, каждый дом имеет свой особый огонь, на котором ворожат его хозяева и с которым они делятся пищею и вином, не столько жертва благодарности за прошедшее, как мольбы о будущих благах. В день Купалы все ведьмы слетаются на Лысую гору близ Киева пировать и плясать, и вся природа оживляется толпою злых и добрых духов, вредящих или помогающих человеку в его колдовствах и отыскивании магических трав. Словом, это праздник всех духов и тайных сил, олицетворяющих в нашей ми-фологии жизнь природы. Колядо же праздник одних домовых духов, которые шутят над человеком, пугая его воображение разными чудовищными явлениями, в память чего и произошел, вероятно, обычай святочных наряжений и скоморошничеств. Даже в самом колдовстве колядных дней скрывается какое-то природное бессилие, человек ворожит о будущем, гадает по частным приметам ежедневной домашней жизни; когда, напротив, понятие о папоротнике, полыни и пр. носит в себе какую-то таинственную жизненную силу могучего чародейства. Из всего этого ясно видно преимущество Купалы над Колядою. Отсюда объясняется причина, почему значение летнего праздника для нас гораздо яснее и положительнее, чем значение Коляды, полное понятие о котором мы можем иметь только из праздника Купалы, как летней его параллели.

Относительно религиозного значения праздника Купалы у язычников мы уже заметили выше, что в нем соединялись три совершенно разных понятия: бога воды, бога весеннего солнца или грома и богов земного плодородия, т. е. *Купалы*, *Яр-Тура* или *Перуна* и *Живы* или *Морены*. Как зенит развития весны и поворот солнца на осень, этот день соединял в себе, по-видимому, понятия весны и осени, *Живы* и *Морены*, *Яра* и *Света*. В России существует до сих пор обычай купаться в реках только с 24 июня до дня Илии Пророка (20 июля), и это время у крестьян нередко называется *купальньиш*. Точно так же мог древний праздник Купалы продолжаться несколько недель, и, начинаясь днем бога весеннего солнца или плодородия,

оканчиваться со днем *Морены* или *Громовника*, не заключая из этого, чтобы непременно день Илии Пророка совпадал с языческим праздником *Перуна* или *Тора*. Легко даже быть может, что 23 июня был праздник богини весеннего плодородия, которой имя заменилось в этом случае прозванием *Купальницы*, а 24 июня праздник *Громовника*, известный у язычников под названием *Купалы*. Таким образом, *Жива* или *Морена* — *Купальница* и *Перун* — *Купало* совершенно соответствовали бы теперешним названиям этих дней: Аграфена Купальница и Иван Купало, и ночь, разделяющая эти два праздника, отделяла бы в то же время весну от осени. Не это ли причина, почему *Купало* и соответствующий ему *Колядо* до сих пор удержали у нас характер ночных праздников чародейства и колдовства? В подтверждение этого мнения приведем мы обычай Полтавской и Черниговской губерний накануне Иоанна Крестителя сжигать соломенное чучело, обычай, ясно принадлежащий к обрядам весеннего изгнания смерти; но здесь замечательно, что это чучело то удерживает имя *Моры* или *Мары*, то принимает имя *Купалы*. В самых песнях встречаются нередко оба имени вместе:

Ходили дивочки около Мареночки,
Коло мое водыла Купала.

Во времена христианства имя Ивана совершенно заменило в наших песнях имя *Купалы*, которое, в свою очередь, некогда заменило название бога грома. Теперь спрашивается: какое же имя заменило у нас название языческой *Морены Купальницы*? В наших преданиях имя Аграфены с именем Ивана нигде не встречается, напротив, имя Ивана соединяется почти всегда с именем Марии: так, в названии травы *Иван-да-Марья*, в обычном произношении при крещении Мавок и Русалок: «Крещаю тебя Иван да Мария во имя Отца и Сына и Св. Духа», и, наконец, во многих песнях, как, например:

Иван да Мария
На горе купалыся.
Гдзе Иван купався,
Берег колыхався.
Гдзе Мария купалась,
Трава росцилалась.

И у нас также соединение имени *Купалы* с Мариєю сохранилось в песне:

И вы, люди, порадуйтесь,
Как нынче Иван с Мариєю
За одним столом сидят,
Как нынче Иван с Мариєю
Все одни яства едят,
Как нынче Иван с Мариєю
Все одни речи говорят.

Морена Купальница, как богиня земного плодородия и воды, олицетворяла собою, вероятно, понятие плодородной влаги дождя и росы; если мы теперь допустим, что *Морена* могла, по созвучию своему, перейти в имя Марии, то этим значением *Морены*, как богини дождя, объяснится свидетельство Гримма, что в Средние века во многих католических странах Богородица считалась особенною покровительницею плодотворного дождя, почему и прибегали к ней с мольбами и крестными ходами во времена сильной засухи. У нас сохранилось, по-видимому, отчасти подобное значение в причитании к дождю: «Мать Божия подавай дождя на наш ячмень, на барский хмель» и пр. В этих мольбах к Богородице упоминалось нередко имя Илии Пророка; в сербских же народных песнях упоминается он как брат Марии, которая является здесь в значении повелительницы молнии.

Почти подобное значение имеет она в вышеупомянутом финском предании, где она нам представляется на огненной колеснице, приписываемой обыкновенно *Громовнику*. Если мы теперь все эти христианские имена заменим своими первоначальными языческими названиями, то сама природа покажет нам их логическую связь. Так, понятие дождя как явления, принадлежавшего преимущественно лету и осени и своим действием способствующего к оплодотворению земли, с одной стороны, необходимо сливается с понятием осеннего плодородия, с другой стороны, как всегдашний спутник грозы и молнии, оно более приближается к понятию небесного бога грома.

Таким образом, день *Купалы*, как аллегорический союз *Перуна* и *Морены*, получает значение праздника дождя и влаги, совершенно тождественное с первоначальным его значением праздника воды, что, вероятно, и было причиною преобладания имени *Купалы* над именами богов неба и земли, вдвойне примиренных как в празднике, так и в самом его названии. Это примирение, олицетворенное в славянском язычестве в

празднике *Купалы*, изобразилось поэтически в фантастической сказке о невестке чародейке *Марине* и прилетающем к ней любовнике ее Змее Горыныче, о котором мы уже имели случай говорить выше. Змей Горыныч не что иное, как частное прозвание огненных *Змоков* Литвы, которые, как видели, олицетворяли у нас аллегорическое изображение молнии; Марина же, как и Мария, может почитаться здесь за ошибочное произношение *Марены* или *Морены* — богини смерти и зимы, преобразившейся в злую чародейку. Самая красота ее и молодость, противоречившие обыкновенному отвратительному виду ведьм, как будто намекают нам на светлую сторону *Марены* как богини жизни и осеннего плодородия.

О празднике Коляды наши догадки гораздо темнее. Ясно только, что этот праздник, подобно Купале, продолжался несколько дней, что сохранилось еще до сих пор; главное же время этого праздника, ночь под 24 декабря, которая, по случаю кануна Рождества Христова, перешла на следующую ночь, с 24-го на 25-е. У некоторых славян, в особенности русских, переходит этот праздник на канун Нового года и продолжается до 6 января, почему и разделяются у нас Коляды На Рождественские, Васильевские и Крещенские. У южных славян принимает день зимнего равноденствия имена бадного вечера, *Бадняка*, *Бедая* и *Крачуна* (у карпатских словаков). Это последнее имя существовало, по-видимому, прежде в России, где Рождественский пост носил имя Корочунского, и так как именно в это же время в Литве праздновался бог *Курхо*, как было сказано об этом выше, то мы и предположили, что это было и праздником киевского *Хворста*, или *Корста*. *Хорст*, как бог дряхлой старости, подлежит владычеству *Морены*, олицетворяющей относительно человеческой жизни постепенное ослабление жизненных сил и окончательный момент смерти и разложения нашего бренного тела. Почему можно предположить, что, подобно *Морене*, он также перешел в олицетворение недеятельной жизни земной природы и праздновался в самое холодное время года; на это, по-видимому, указывает то, что зимний холод изображался у нас под именами злых духов *Мароссов*, или *Кароссов*, очевидно, происходящих от общего корня *мор* и *кор*; из первого образовалось русское слово *мороз*, из второго же немецкое, ему соответствующее, *Frost*, которое в скандинавской мифологии было именем бога холодов *Фроста*, а в славянском выговоре *хвост*, т. е. наш *Хворост*, или *Кориша*.

В России известен еще праздник Коляды под именами Святков, Окрутника (в Новгороде), Субботки (в Торопце) и Авсена или Аусена и Таусена (во Владимирской губернии), из которых последнее относится

преимущественно к Васильевским Колядам, т. е. к кануну Нового года, отсюда и видно, что этот праздник считался не зимним, но осенним праздником, вероятно, вторым главным праздником, заключающим собою осеннее полугодие и давшим, быть может, впоследствии всему этому времени свое имя *авсена, овсена, оусена, освена* — осени.

Как в праздники Купалы соединялись три разных элемента поклонения: вода, обоготворение земного плодородия и творческая сила неба (солнца, грома и огня), так и в празднике Коляды можно предположить то же самое. Праздником воды здесь был бог *Лед*, или *Коледник*, от которого произошло, вероятно, и самое общее название Коляды, которое, в таком случае, правильнее писать *Коледа*, от него же слова — *коледовать, колдовать и колдун*. Относительно земной природы богиня осени *Мора*, или *Морена*, является здесь, по-видимому, в мужской форме своей *Хорста, Корста, Корочуна* и пр. Наконец, о богах неба, празднуемых в день Коледы, нам ничего не известно. Замечательно, однако же, что в Скандинавии совпадает с нашим Колядою праздник громовника *Тора*, известный под именем Юолы. С другой стороны, праздник *Бедая* у южных славян во многом намекает на происхождение его от обрядов обоготворения солнца или грома, как по самой филологической связи его имени с *Боганом, Беленом и Белом*, или *Баалом (Ваалом)*, и по значению его, как бога скота, так и по самым обрядам этого праздника, носящим на себе ясные признаки поклонения огню, этому аллегорическому символу небесных светил. Поклонение огню в этот день существовало, вероятно, и в некоторых частях России, что видно не только из обычаев гадать в эти дни по пламени и углям, но и по названию этого праздника в Псковской губернии — *Субботки*.

Вот все, что мы знаем о Коляде; из этих немногих догадок хотя и нельзя вывести заключения, но они достаточны, чтобы убедиться в тождестве значения и самой судьбы этого праздника с соответствующим ему днем летнего поворота солнца.

Колядою оканчивался цикл религиозного года древних славян; гадания, жертвоприношения и мольбы о будущем годе являются уже радостными предвестниками воскресения новой жизни из холодного сна зимней природы и рождения нового года, подобного рождению Пеликана из крови угасающего его предшественника.



КРАТКИЙ ОЧЕРК РУССКОЙ МИФОЛОГИИ

Языческие верования славянского народа вообще можно разделить на три племенные области мифических преданий: южных, западных и восточных (русских) славян. Эти области хотя и тесно связаны, как филологическим сродством языка, так и общими между ними обычаями и обрядами, но тем не менее как по внешней форме культа, так и по внутреннему его значению совершенно между собою различны. Каждая из них составляет свой особенный и вполне замкнутый мир своих племенных верований. Этим трем племенным областям славянской мифологии соответствуют и три главные ступени их языческой религии. Первая из этих ступеней — непосредственное поклонение природе и стихиям; вторая — поклонение божествам, олицетворяющим собою эти явления, и третья — поклонение кумирам, уже повелевающим над ними. Западным славянам Балтийского поморья и берегов Лабы (Эльбы) принадлежит, по преимуществу, последнее, т. е. кумирслужение, тогда как, напротив, к сербам и хорватам относится прямое, непосредственное поклонение природе, оживленной народною фантазиею толпами собирательных духов, столь же многочисленных, как многообразны проявления в природе одних и тех же ее законов. Нашим же русским преданиям суждено было служить связующим звеном между этими двумя крайними ступенями развития славянского мифа и соединить кумирслужение западных племен с поклонением стихиям и явлениям природы южных славян. На этой первой ступени развития антропоморфического направления человек, не понимая

еще общего закона единства многоразличных, но сродных явлений и желая олицетворить каждое отдельное явление, каждый отдельный предмет в человеческую форму, создает в своем воображении для каждого явления толпу духов, не имеющих еще индивидуального значения, а понятых им только как коллективы различных проявлений одной и той же силы природы. Отдельная личность божества еще сливается в общем родовом понятии, но коллектив его имеет определенные признаки, как, например, Водяной Дедушка, Леший, Домовой и пр. Мало-помалу эти бесчисленные коллективы сливаются в одну главную индивидуальность, которая или поглощает их в себе, или подчиняет своей власти. Так, например, до сих пор все названия бесов и демонов имеют на всех языках, при коллективном своем значении, еще другое — собственного имени главного их предводителя, беса бесов, дьявола.

Между тем человек, живя и изучая природу, приобретает с каждым днем новые понятия, вытекающие одно из другого и дробящиеся до бесконечности в его уме. В этом непрерывном переходе от родовых понятий к более частным, в этом дроблении человеческой мысли лежит логический процесс развития всякого политеизма, облекающего отвлеченные понятия в видимые образы богов и кумиров. На второй ступени своего развития язычество для каждого общего понятия однородного явления создает отдельное лицо, тождественное с самим явлением, и значение такого лица определяется единственно значением конкретно связанного с ним явления; так, например, бог грома, бог дождя суть не что иное, как самые явления грома, дождя и пр. Посему и внешние формы, и символы этих божеств еще очень бесцветны, и даже самые названия их свидетельствуют о неразвившейся еще личности. Причина этому та, что эти названия или заимствуются от самого явления, как погода — мороз, или состояются из прилагательных, определяющих общее свойство не столько лица, как явления и требующих необходимого присоединения существительного бог, пан, царь и проч., чтобы сделаться собственным именем божества, напр. Бел-бог, Добро-пан, Царь-морской и пр. Для этих божеств создает народная фантазия свои образы, изустное предание их именует, и обряды изъясняют их значение; но, несмотря на это, образы, имена и атрибуты все еще колеблются в какой-то таинственной неопределенности до тех пор, пока, наконец, зодчество не установит различные оттенки понятия какого-нибудь божества и не окаменит его, так сказать, однажды навсегда в определенные формы.

Здесь настает третий период мифического развития. Кумиры, перестав быть средством изображения, возбуждающим народное благоговение, становятся сами предметом обоготворения и поклонения и, утратив

конкретное единство своих образов с выражаемыми ими понятиями, принимают совершенно индивидуальное значение покровителей и распорядителей тех явлений и сил природы, с которыми были прежде тождественны. Этим кумирам создаются храмы, учреждаются целые касты жрецов для приношения им жертв и для отправления богослужения; их имена из прилагательных, выражающих общие свойства природы, обращаются в имена собственные или заменяются другими, случайными и местными названиями. Словом, кумиры получают вполне определенную объективную индивидуальность.

Народ, более и более сродняясь с своими божествами посредством их человеческих форм, вскоре невольно передает им, в своем воображении, все свои страсти и оживляет их бездушные истуканы физической деятельностью человека. Боги начинают жить земною жизнью, подвергаясь, кроме смерти, всем ее случайностям, и из образной объективности переходят к действительному субъективному существованию: они вступают в узы брака и родства, и новые кумиры не только уже как понятия, путем мысли, вытекают из своих первообразов, но рождаются от них физическим рождением человека.

По нашему мнению, славянский миф не дорос до этой субъективности его богов, хотя многие полагают, что эта последняя степень развития только затеряна в народной памяти, но все же когда-то существовала и у нас наравне с другими народами древности. Не станем оспаривать здесь это мнение, но факт остается все тот же, что для нас, в настоящее время, эта субъективная жизнь славянских кумиров не существует.

Итак, славянскую мифологию, по ее развитию, можно разделить на три эпохи: духов, божеств природы и богов-кумиров.

Это деление подтверждается отчасти и словами святого Григория (Паисиевского сборника), ясно указывающими на три различных периода языческого богослужения: «Начата требы класти роду и рожаницам переже Перуна бога их, а переже того клали требы упирем и берегиням».

Подтверждение того же найдем мы и в самом постепенном введении христианства между славянами. Так, например, в преданиях южных славян, прежде других принявших христианскую веру, преобладают преимущественно коллективные духи, кумиры же у них вовсе не встречаются. В Моравии, Богемии, Польше и России, при существовании некоторых даже кумиров, большая часть богов — божества природы, принадлежащие второй эпохе, когда, напротив, у полабов и поморян коллективы совершенно исчезают и вся религия сосредоточивается на некоторых главных объективных личностях арконских и ретрайских идолов. Иногда даже замечаются, при преобладании объективных кумиров,

некоторые признаки перехода богов к жизни субъективной. Так, например, об лошади Световита шло поверье, что сам бог ездил на ней по ночам, а Перун в Новгороде заговорил человеческим голосом и бросил палицу свою в Волхов.

Обращая внимание на самое богослужение славянского язычества, мы найдем также и в нем полное подтверждение нашего мнения. В самом деле, хотя сведения, дошедшие до нас о богослужебных обрядах славян, скудны и недостаточны, но со всем тем они ясно носят на себе печать какой-то разнохарактерности, которую, по нашему мнению, только и можно объяснить различны ми временами религиозного развития. Если же мы на обряды богослужения распространим наше общее разделение славянского мифа, то этим не только подтвердим предложенное разделение, но и объясним самые факты, которые, взятые вместе, часто противоречат друг другу.

В самом деле, в первую эпоху нашего мифа человек, не зная даже личных богов, естественно, не имел ни определенных мест богослужения, ни определенных лиц для совершения его, и как божества были неотдельно слиты с самими явлениями природы, которым они служили аллегориями, то и естественно, что человек приносил свои жертвы непосредственно самим явлениям. Уже Прокопий свидетельствует, что славяне приносили жертвы рекам и нимфам: и донныне сохранились еще обычаи и обряды бросания венков, яств и денег в реки, колодцы и озера. «Не нарицайте себе бога ни в камени, ни в сту-денцах, ни в реках», — говорится в «Слове» Кирилла, а Нестор также прямо упоминает, что «кладзем и озерам жертву приношаху». Обычай вешать на ветви дерев и класть на камни или у корня старого дуба дары, приносимые человеком невидимым духам, вполне подтверждает нашу мысль, что жертвы приносились некогда самим явлениям природы. Эти жертвы приносил всякий, без посредства особенных, для того назначенных жрецов; впрочем, эту должность, в большие народные праздники, отправляли, быть может, старцы, которые в народной и гражданственной жизни славян пользовались всегда великими правами.

С более точным определением значения божеств природы стали определяться и места жертвоприношений и молитв. Действительно, у славян, до существования кумиров и, следовательно, до построения им храмов, были известные места, на которых они привыкли молиться какому-нибудь божеству. Это подтверждается многими свидетельствами. Так, Константин Порфирородный говорит, что руссы приносили жертвы на днепровском острове Св. Георгия; Сефрид говорит о дубе, где живет какой-то бог, которому приносились жертвы; Гельмольд, Дитмар, Саксон и

Андрей, жизнеописатель святого Оттона Бамбергского, знали у полабских славян множество священных рощ, где поклонялись какому-нибудь священному дереву, в позднейшее время замененному иногда истуканом какого-нибудь бога.

К разряду мест, посвященных богослужению, надобно причислить еще священные горы, холмы и все многочисленные городища, а наконец, как переход к последней эпохе славянского мифа, и некоторые капища, как храм Ютербока, которого устройство ясно доказывает, что в нем не было идола, но просто обоготворялось явление первого луча восходящего солнца. Храм этот освещался только одним небольшим отверстием, которое было обращено на восточную сторону так, что он озарялся светом только при восходе солнца; арабский писатель Массуди также упоминает об одном славянском храме, в куполе которого было сделано отверстие для наблюдения восхождения солнца.

При определенных местностях необходимо должны были существовать и определенные лица для совершения богослужебных обрядов, но, вероятно, они еще не составляли замкнутой касты жрецов. Не были ли то Волхвы, Вещие и Кудесники (чудесники), лица, не посвятившиеся в это звание, но вызванные минутным вдохновением? Ответом на этот вопрос может служить назначение Волхвов, которые, подобно жрецам других народов, гадали и предсказывали будущее.

С появлением кумиров определяются особенные обряды для богослужения, появляются богатые капища, и образуется целая каста служителей и жрецов, которые, пользуясь суеверным страхом народа к кумиру, не только обогащаются его дарами, но и завладевают часто политической властью его царей. Так было в Рюгене и у редарян.

Праздники, жертвы, обряды и гадания — все сосредоточивается вокруг кумира и его служителей и окружается для народа какою-то недоступною таинственностью, под которою легко отыскать хитрые обманы корыстолюбивых жрецов. Последняя черта резко разделяет все богослужение наших предков на две, совершенно отдельные, половины: непосредственного поклонения явлениям природы и чистого идолослужения. Первая, подобно вере в духов и божества природы, и поныне не искоренилась еще из быта простого народа: его праздники, песни, гадания, суеверия — все носит на себе печать этих времен язычества и служит нам материалами для его изучения; тогда как от времен чистого идолопоклонства все исчезло — и разврат вакхических пиршеств, и возмутительные кровавые жертвоприношения, и богатые храмы, и чудовищные истуканы, все, нередко даже имена этих кумиров. Самый факт изглаживания из народной памяти всего, что относится к последнему

периоду нашего мифа, доказывает нам новизну идолослужения между русскими славянами, не успевшего еще твердо у них укорениться, и разрушенного, вместе с самими кумирами, при первом появлении христианства. В этом заключается, может быть, причина, почему между восточными славянами христианство не только почти не встретило нигде сопротивления, но что сами язычники призывали к себе проповедников новой веры. Нельзя не заметить здесь, что эти две совершенно отдельные эпохи, обоготворения природных явлений и позднейшего кумирслужения, отозвались в дошедших до нас сведениях (собственно русской мифологии) в разделении этих сведений, по их источникам, на народные поверья и исторические данные. Одни дошли до нас путем изустного предания, в суеверных обрядах, сказках, песнях и различных изречениях простого народа, тогда как другие сохранились в летописях и письменных памятниках нашей исторической старины.

Божества изустного предания живут и доныне в народном суеверии, и их имена известны почти всякому русскому простолюдину; о кумирах же письменного предания мы не находим в народе ни малейшего воспоминания, и не сохранились они нам в летописях и духовных сочинениях средневековой нашей литературы, имена этих кумиров остались бы навсегда для нас неизвестны.

Из немногих до нас дошедших собственных имен богов–кумиров мы не имеем решительно никаких сведений не только об личности этих божеств, но даже и о наружной форме их истуканов. Об одном только Перуне знаем, что он был сделан из дерева с серебряной головой и золотым усом, да что была у него палица, которую новгородский истукан бросил в Волхов. Эти боги не имеют особых символов и атрибутов, и наше воображение ничем не может руководствоваться для воссоздания этих идолищ при встрече их имен в наших летописях.

При таком отсутствии всякой определенной наружности кажется невозможным допустить существование субъективной личности этих кумиров, и нам, скорее, верится, что они не доросли до индивидуальной жизни Торгов и Одинов, Юпитеров и Аполлонов, чем предположить, что *биографические мифы* (если смеем так выразиться) наших божеств могли до того исчезнуть из народной памяти, что даже наружный вид этих богов не сохранился в наших преданиях.

Единственной основой того, что наши боги жили когда-то человеческой жизнью, вступали в брачные узы и наживали себе детей, служит, для защитников подобного тезиса, отчество Сварога.

Имя Сварога встречается в наших письменных памятниках в одном только месте Ипатьевской летописи, заимствованном из Болгарского

хронографа и переведенном им, в свою очередь, из византийского писателя Малалы. Ясно, что дело идет здесь о Египте; но подобно как в греческих и латинских текстах Малалы вставлены, для объяснения, имена Гефеста — Вулкана и Гелиоса — Sol, точно так же вставляются в славянском тексте имена Сварога и Дажбога: «И бысть по потопе и по разделении язык, поча царствовати первое Местром, от рода Хамова, по нем Ермий, по нем Феоста, иже и Саварога нарекоша Егуптяне, и по сем царствова сын его, именем Солнце, его же наричют Дажьбог». А далее: «Солнце царь, сын Сварогов, еже есть Дажьбог».

Форма же Сварожич встречается в «Слове о суеверии»: «Огневи молятся, зовут его Сварожичем». Наконец, у славян балтийских существовал кумир, названный Дитмаром Zuarosici, о котором упоминает и св. Бруно в своем письме к императору Генриху II. Долго ошибочно читали это имя Льваразиком и объясняли его многообразно, пока, наконец, Шафарик решил дело, отождествив его с Сварожичем «Слова о суеверии». Из этих данных некоторые ученые немного самовольно произвели Сварога в славянского Сатурна, забытого отчасти бога неба и отца солнца и грома, Дажбога и Перуна, которых они поэтому называют Сварожичами.

Но основать эту родословную наших богов на словах Малалы было бы принять и Гелиоса за сына Гефеста в греческом мифе, и едва ли следует разделять на две различные персоны Сварога и Сварожича или Зуаразика западных славян и видеть непременно в окончательной форме этих последних отчество, других примеров которого наша мифология не представляет.

Осколки русского язычества, сохранившиеся для нас в народных обрядах, поверьях, приметах, сказках, загадках, заговорах и эпических приемах и выражениях древнейшего языка, — все непосредственно относятся к самым предметам, законам и явлениям природы. Таким образом, мы этими данными можем вполне воссоздать степень религиозного понятия, связывающегося, в воображении наших предков, с физическими их познаниями различных сил и явлений природы. Суеверные обряды нашей дохристианской старины указывают прямо на поклонение и жертвоприношение стихиям, как, например, прыганье через огонь и сожигание в огне, купание и бросание в воду и пр. Главная характеристика подобных преданий русского народа есть глубокое наблюдательное познание природы и жизни вообще. Познание это нередко скрыто от простого глаза под оболочкой аллегорической сказки или меткого эпитета, а иногда выражается перенесением (путем сравнения) отвлеченной идеи на вещественный предмет, близкий человеку. Таким образом становится этот видимый предмет символом и эмблемой отвлеченной мысли, воспоминание

о которой неразрывно связывается с этим предметом. Так, например, черный цвет, напоминая собой ночной мрак, постоянно служит изображением всего мрачного, злого и мертвящего, тогда как, напротив, белый, красный и желтый цвета, как цвета дня и солнца, не только становятся синонимическими эпитетами этих явлений, но связываются в человеческом воображении со всеми понятиями добра и блага.

При этом роскошно-эпическом воззрении человека на природу божества-кумиры, олицетворявшие некогда собою те же силы и явления природы, дошли до нас в бесцветной неопределенности пустых имен, ни о чем не говорящих нашему воображению, так что решительно ни в одном из наших кумиров мы не отыщем баснословных преданий, которые привыкли встречать в классических мифах Греции и Рима.

Какое множество у нас поверий, примет, загадок и приговоров, определяющих собою не только естественные, но и суеверно-мифические качества и свойства небесных светил, природных стихий и даже многих животных и растений, а между тем, как сейчас заметили выше, о самых важнейших кумирах Киевского холма, которых имена постоянно повторяются всеми летописцами, мы, кроме этого пустого имени, ровно ничего не знаем.

Из всех мест, где Нестор говорит о языческих божествах наших предков, важнее всего то, где упоминает о кумирах, поставленных Владимиром в Киеве. Это место оставляет свою неизгладимую печать на всех позднейших свидетельствах наших древних писателей об этом предмете. Там имя главного бога Перуна отделяется от других кумиров описанием его истукана; за ним следуют: Хоре, Дажбог, Стрибог, Семаргла и Мокош (Мокоша). Этот порядок исчисления кумиров удерживается в том же месте нашей истории и с самыми незначительными изменениями в Архангелогородской, Никоновской и Густинской летописях, в Степенной книге и у немецкого писателя Герберштейна, откуда он переходит и к польским историкам, и позднее, с их изменениями, возвращается к нам обратно, как увидим дальше. В текстах, свидетельствующих о верованиях славян вообще, выпускается описание кумира Перуна, но тем не менее он удерживает в них первое место. Из других же божеств иногда выпускаются, по-видимому, те, которых сочинители почитали менее важными: мних Яков называет только Перуна и Хорса; св. Григорий — Перуна, Хорса и Мокоша; в «Прологе», изданном проф. Бодянским, — Перун, Хоре, Семаргла (Сима и Ргла) и Мокош; в Макарьевских Минеях — Перун, Хоре, Дажбог и Мокош, и проч. и проч.

Со времен влияния на наших писателей польских хроников, является в Густинской летописи (о идолах руссов), у св. Димитрия Ростовского и в

Киевском Синописе Гизеля совершенно новый порядок божеств. В нем Перун занимает первое место, но к описанию его идола прибавляется и то замечание, что он обоготворялся на высоких горах и что в честь его горели костры, погашение которых наказывалось смертной казнью; второе божество Волос, третье Позвизд, четвертое Ладо, пятое Купало, шестое Коляда. Что этот ряд богов прямо заимствован из иностранных источников, показывает ясно в Густинской летописи самое имя Перуна, называемого в этом месте летописи Перконосом, когда несколько страниц перед тем мы тут же встречаем чистый текст Нестора о сооружении кумиров в Киеве. Даже на конце этого чуждого порядка виднеется нам еще влияние Нестора, но уже изменившееся в своей орфографии: кроме тех, бесовских кумиров, еще «и ини идоли бяху, именами: Усляд или Осляд, Корша или Хоре, Дашуба или Дажб», и прочие имена несторовских кумиров. Усляд произошел от ошибочного перевода слов *ус* *злат* немецким путешественником Герберштейном. Далее, имена Корша и Дашуба также совершенно чужды нашим туземным писателям, хотя последнее объясняется отчасти правописанием Степенной книги: Дажаба, но и это, быть может, описка, тем более что в другом месте той же книги напечатано Дажба, вероятно, происшедшее от несоблюдения титла над сокращенным: бога (ба).

Волос не упомянут Нестором в числе кумиров, сооруженных Владимиром; но из договора Святослава видно, что он занимал весьма важное место между славянскими божествами, почти равное с Перуном, с которым он ставится как будто в параллель, почему он и занимает первое место за Перуном у польских писателей и их русских последователей. Подобное сближение Перуна с Волосом встречается и в словах мниха Якова^[18]. Из этого свидетельства, повторяющегося в Торжественнике^[19] и в макарьевских Четвы–Минеях, можно заключить, что идол Волоса находился в Киеве, вероятно, еще до Владимира, почему и не упомянут Нестором. Еще яснее подтверждается это предположение свидетельством Степенной Книги, где, при созидании киевских кумиров, летописец, списывая прямо с Нестора, не упоминает о Волосе; но, напротив, при уничтожении их он перечисляет всех поименно, и вслед за Мокошем называет еще и Власия, скотьего бога. В «Слове» св. Григория встречается загадочное имя Вила в единственном числе и мужеском роде: «и Хорсу, и Мокоши, и Вилу», которое мы принимаем здесь за Волоса, на том основании, что в неизданной части этого «Слова» Вилом называется финикийский Ваал: «Был идол, нарицаемый Вил, его же погуби Даниил Пророк в Вавилоне».

Кроме шести главных кумиров, упомянутых Лаврентьевской летописью, встречаются в наших древнейших письменных памятниках

несколько других прозвищ языческого политеизма Древней Руси, как Сварог, Сваражич, Род и Рожаница, Упыри, Берегини, Навии, Плуга и др.

Со вставкой в Густинской летописи (о идолах руссов) и гизелевским Синописисом начинается уже литературная обработка славянской мифологии, ложное направление которой еще долго процветало у нас, как в поддельных летописях XVIII века (подобно Иоакимовской), так и в сочинениях туземных мифологов конца прошлого столетия: Попова, Чулкова, Глинки и Кайсарова. Эти сочинения, под влиянием польско-германской учености XVII века и ее крайне ложного направления, наводнили наше туземное баснословие списками богов, полубогов, героев и гениев всякого рода^[20] и множеством преданий и подробностей, основанных большею частью на произвольных вымыслах или на фактах, взятых извне и нашему краю совершенно чуждых.

Большая часть имен, встречающихся в этих списках, принадлежит кумирам западных славян и отчасти древних пруссов, обоготворяемым в знаменитых капищах Арконы, Ретры и Ромовы. Киевские же кумиры постоянно упоминаются в нерусских формах Дашубы, Корши и т. д., явно заимствованных из иноземных источников. Из наших народных суеверий и сказок попало в эти списки только немного наиболее известных имен: Русалок, Леших, Домовых, Полкана, Кощея и Бабы-Яги. Названия народных праздников Куп алы и Коляды пожалованы в особые божества плодов и праздничных пиршеств, которых истуканы будто стояли в Киеве; точно так же возведены реки Дон и Буг в какое-то особенное обоготворение со стороны наших предков, хотя о последних великорусские песни и предания ничего не знают, когда, напротив, Дунай, Волга и сказочные Сафать и Смородина-река действительно имеют некоторое право на внимание русской мифологии. Но едва ли гг. Попов и Глинка знали про наш древний героический эпос, когда они даже не трудились проверять германо-польские сведения о киевских кумирах сличением этих сведений с доступными им русскими источниками. Остальные имена этих списков принадлежат большею частью к чистым вымыслам. Подлог многих из них для нас ныне уже очевиден, как, например, упомянутый выше Услад, Зимцерла (богиня весны, зиму стерла), Детинец, Волховец, Словян, Родомысл и многие другие. Но не всегда удается нам с верностью указать на начальный источник подлога или недоразумения: откуда взялся кумир Сильного бога, так подробно описанного в словаре Чулкова? Откуда и сведения о Золотой бабе^[21], обоготворяемой обдорцами? Откуда Стени, Литуны и Куды, попавшие у Глинки в один разряд с Домовыми, Лешими и чертями вообще, Живот, хранитель жизни, и, наконец, даже воспетый

Пушкиным Лель и брат его Полель, эти мнимые Кастор и Поллукс славянской басни?

На подобных шатких основах зиждятся и доныне целые системы славянской мифологии не только германских ученых, подобно мифологии Эккермана (1848), но и многих исследователей из славян, в особенности между чехами, как, например, Гануш, Юнгман и Ткани, в мифологическом словаре которого (Znaim, 1824) Илья Муромец упомянут русским Геркулесом, а святой Зосим Соловецкий — Zosim Schuzgott der Bienen bei den Russen.

Вообще славянская мифология, в германской своей обработке, осталась еще доныне в области отжитого классицизма, стремившегося непременно подвести ее под уровень греческой теогонии и во что бы то ни стало отыскать у нас божества, соответствующие знаменитым богам древнего мира.

Вторая существенная ошибка подобного направления — обобщение всякого чисто местного предания: нисколько не принимая во внимание, что часто одно и то же божество является в различных местностях под разными именами, ученый методист из каждого подобного синонима старается воссоздать новую личность, которой и приписывает тут же, в своем воображении, значение, соответствующее тому или другому божеству классических преданий. С каждым новым сочинением, написанным в этом духе, увеличивалось у нас число божеств новыми если не вымышленными, то в России, по крайней мере, положительно никогда не существовавшими именами. Вот почему и кажется нам, что первая современная задача науки — очистить наши русские предания от чуждых им наносов и определить наконец верное разграничение между русскими и нерусскими источниками.

Вообще в русском мифе собственные имена играют большею частью самую последнюю и незначительную роль, как и постараемся доказать это впоследствии. Гораздо важнее обряды и празднества простого народа и, в особенности, суеверные понятия и воззрения его на природные явления, светила и стихии, горы и реки и баснословные растения и животные, о которых гласят доныне еще наши стихи и песни, заговоры, сказки, загадки и прибаутки. Так, например, обряды *опахивания* или *коровьей смерти*, кликанье весны, добывание *живого царя-огня*, поверья о полете огненных змеев или расцвете папоротника в Ивановскую ночь и, наконец, древнейшие предания о сотворении мира, острове Буяне и загадочной Голубиной книге.

В детстве своем человечество боязливо и благоговейно поклоняется тем предметам и явлениям природы, которые более других поражают его физические чувства, и потому естественно, что небесные явления, как солнце и звезды, гром и молния, становятся первейшими предметами

суеверного обожания. Но когда, с оседлой жизнью, человек знакомится с хлебопашеством и разведением плодов, чувство личной пользы заставляет его обратить свое внимание на землю и плодотворную силу растительной природы, — тогда и в религии его боги неба постепенно уступают свое первенство представителям земли. Вот почему у западных славян, заживших раньше нашего оседлой жизнью, яснее формулировалось поклонение земной природе в обоготворении богинь Живы и Моря, разделивших между собою весь годовой цикл земной произрастительности.

На долю Живы досталось полугодие плодотворной летней жизни природы, на долю же Моря — время бесплодного ее зимнего отдыха. С представлением Живы слилось понятие всего юного, светлого, мощного, теплого и плодотворного; с представлением же Моря — всего мрачного, холодного, хилого и бесплодного.

Если у нас на Руси не сохранилась память о двух богинях, разделяющих между собою годовую жизнь земной природы, как у западных славян, то причину тому следует искать в преобладании религии мужской творческой силы небес над обоготворением пассивного женского элемента земли. Солнце, в благотворном и зловредном отношении своем к земной природе, точно так же разделяется на два лица зимнего и летнего солнца, светлого бога *ярых* продотворящих лучей (Белбога) и бога не греющего бесплодного периода мрака и холода (Чернобога). У поморских славян истуканы всех солнечных божеств представлялись с двумя или четырьмя лицами или головами, указывающими на две главные половины, лето и зиму, или на все четыре времени года. Массуди в своих путешествиях по славянским землям видел где-то у моря истукана, которого члены были сделаны из драгоценных камней четырех родов: зеленого хризолита, красного рубина, желтого карнеола и белого кристалла; голова же его была из чистого золота. Эти цвета ясно намекают на зеленую весну, красное лето, желтеющую осень и снежную зиму; золотая же голова — это самое небесное светило. Имена поморских богов солнца все оканчиваются общим прозвищем *Vita*, подобно как разноцветные члены истукана оканчиваются одной общей золотой головою; и не без некоторой вероятности можно допустить, что первая половина этих имен хранила в себе именно частный смысл — весеннего, летнего или зимнего, когда слово Вит означало общее понятие бога или лица. Так, например, *Gerowit* — *Ierowit* невольно наталкивает нас на слово *яр*, сохранившее донныне значение весеннего; яровой хлеб, яры (весенние промоины). Русское божество Ярыло и проч., когда, напротив, *Коревит*, или *Хоревит*, напоминает русского Хорса (Корша) и Карачуна.

Из киевских кумиров, упоминаемых нашими летописями, относятся к богам солнца имена Дажбога и Хорса, которые, как заметил профессор Бодянский, почти во всех текстах стоят неразлучно друг подле друга, как синонимы одного и того же понятия; и оба они, по словопроизводству своему, один от *gar* — день (немецкий Tag), другой от сур или *коршид* — солнце, по смыслу своему тождественны.

Из этих двух главных олицетворений солнца грозное значение его как зимнего Сатурна, Ситиврата или Крта (Крчуна) славяно-германских поверий Средней Европы принадлежит у нас на Руси, по-видимому, Хорсу. Это грозное значение зимнего солнца неразрывно связано в мире сказок и суеверий с понятиями смерти, мрака, холода и бессилия; те же понятия соединяются и с представлением божества разрушительной бури, метели и холодного западного ветра вообще, как антитезис теплого ветра летнего полугодия. Вот почему божества зимнего и летнего солнца легко могли слиться в одно представление с соответствующими им божествами ветра, или, по крайней мере, обмениваться с ними именами и значениями. Так, в Алексеевской церковно-славянском словаре слово *хор* объясняется западным ветром, и в «*Sacra Moraviae historia*» Средовского Chrwors (наш Хоре, или Корша) толкуется Тифоном.

Вообще преобладание у нас божеств неба и воздушной стихии над божествами земного плодородия указывает на древнейший период кочующего быта, когда скотоводство доставляло единственное богатство человеку, еще не знакомому с хлебопашеством. Вот почему все боги-покровители скота, в первоначальном своем значении, божества солнца. Эпизоотия доныне выражается у нас словом *поветрие*, прямо указывающим древнейшее воззрение человека на воздушную стихию как на причину всякой болезни. Таким образом, Стрибог (значение которого, как бога ветра, по «Слову о полку Игореве», нам несомненно) переходит у Средовского в Trzibek, бога поветрия; у карпатских словаков подобное же значение придается Карачуну^[22]. Наш Сатурн — Хоре является в значении западного ветра — хор, когда сербская Хора — супруга бога ветров Посвиста, которого Средовский, в свою очередь, называет Nehoda и переводит словом Intemperiae. Таким образом, боги не только холодного зимнего ветра, но и зимнего солнца являются и богами смертоносного поветрия относительно животного царства. Замечательно в этом отношении чешское прозвище Крта (Сатурна) Костомладом^[23], т. е. молотильщиком костей, которому отчасти соответствует наш русский Кощей Бессмертный, носящий постоянно в сказках космогоническое значение зловредного начала зимнего солнца. Точно так же, с другой стороны, скотий бог Волос (Велес, Власий), как и

Егорий Храбрый наших песен, не что иное, как олицетворения того же солнца, но в благотворном значении тепла и лета.

Таким образом, под влиянием этого дуализма и всякое явление природы представляется человеку с двух различных сторон его благотворного и зловредного влияния. Если же в вечно возобновляющейся борьбе добра и зла окончательная победа остается всегда доброму началу, то это потому только, что человек, изучая законы природы, убеждается ими, что нет абсолютного зла и что всякое, по-видимому вредное, явление носит в себе зародыш новых благ. Падающий плод своим гниением освобождает к жизни хранимое в нем зерно, а сон и отдых своею безжизненностью возобновляют силы как человека, так и природы.

С подобным убеждением взирал русский человек и на собственную свою смерть не как на окончательное уничтожение, но видел в ней, напротив, продолжение той же земной жизни, только под другой, простому глазу незримой, формой.

Нигде в наших языческих преданиях мы не находим и малейшего намека на представление особенных небесных или подземных жилищ мертвецов^[24]. В могиле же продолжают они жить жизнью земною, покровительствовать своим живым потомкам и непосредственно разделять с ними все радости и заботы земного их существования. Вот почему и духи-покровители семьи и дома: Род, Чур (Щур) и Дедушка Домовой связаны родственными узами с их живущими потомками и настоящими хозяевами избы. Хозяин нередко употребляется в смысле Домового, так что действительный хозяин является земным представителем покойного его прародителя — Деда или Щура — пращура.

Постоянным жилищем мертвецов почитается могила, отчего и выражения: *идти домой*, в смысле умереть, *домовище*, *домовина* — гроб, иногда и кладбище; так что самое прозвище Домового, скорее, носит в себе значение загробного, чем покровителя дома, тем более что в сельском простонародном быту это последнее слово, в смысле жилья, неупотребительно, заменяясь выражениями: хата, изба, дым, гнездо или двор. «Уж ты солнце, солнце ясное! ты взойди, взойди с полуночи, ты освети светом радостным все могилушки; чтобы нашим покойничкам не во тьме сидеть, не с бедой горевать, не с тоской вековать. Уж ты месяц, месяц ясный! ты взойди, взойди с вечера, ты освети светом радостным все могилушки, чтобы нашим покойничкам не крушить во тьме своего сердца ретивого, не скорбеть во тьме по свету белому, не проливать во тьме горючих слез».

В степных селениях кладут первый блин на слуховое окно, причем приговаривают: «Честные наши родители! вот для вашей души». В

Белоруссии на могиле, политой медом и водкою, накрывают кушанье и приветствуют покойных: «Святые родзицели! ходзице к нам хлеба и соли кушать». На Пасху ходят христосоваться с покойными родителями на их могиле, причем в ямку зарывают тут же красные яйца; невесты–сироты ходят на родительские могилы испрашивать благословения покойников на брак^[25].

Наконец, у нас на Руси множество особых дней и недель, посвященных народным обычаям на посещение могил; таковы: большая и малая родительские, Радуница, Красная горка, Навий день; таково было и древнейшее значение Масленицы. В такие дни нередко целое семейство, собравшись у родной могилы, совершает на ней свою трапезу в суеверном убеждении, что и мертвец разделяет ее и присутствует невидимым образом между ними. В именины Домового (28 января) ставится для него на ночь на стол каша и всякое угощение с мыслию, что он, когда все в доме заснут, непременно придет к родственникам справлять свои именины.

В тесной связи с подобным воззрением на загробную жизнь и народные поверья об оборотнях и привидениях, Упырях (Вампирах), высасывающих кровь по ночам, чужих (*лихих*) Домовых, разыгрывающих свои злые шутки над спящими домочадцами, Волкодлаках, рыщущих по ночам лютым зверем, и скачущих Навиях, распространяющих моровую язву одним своим появлением. Самое слово *Навии* (Навий день, идти до навы) носит в себе понятие смерти и загробного привидения, также и Домовой, как заметили выше, синоним загробного; точно так же и *род* употребляется иногда, в областных наречиях, в смысле духа, образа, привидения; наконец, древнее имя богини смерти, Моры или Морены, сохранило почти подобное же значение в малороссийском Мара (призрак) и в поверьях о кикиморах. Еще живет у нас поверье, что злые колдуны, по смерти своей, восстают по ночам из могил, чтобы сосать кровь у сонных людей, почему, в предупреждение такой беды, покойника, подозреваемого в чародействе, выкапывают из могилы, бьют кольями и сжигают или, в других местностях, вбивают ему кол в сердце и снова закапывают в могилу. Существуют и многие рассказы про утопленников и утопленниц и про детей, умерших без крещения, которые все, по смерти своей, продолжают свое земное существование в виде Водяных Мужей или Русалок —

Бух, бух!
Соломенный дух!
Мене мати породила,
Некрещену схоронила —

поют последние, бегая всю ночь по полям и рощам. Есть, наконец, и рассказ про Русалку (утопленницу), которая, навещая своих живых родителей, сообщала им разные подробности про свою подводную жизнь^[26].

Господин Соловьев^[27] справедливо почитает Русалок за мертвецов и этим их значением объясняет и прозвание их в одной песне земляночками, т. е. подземными обитательницами могил. Это прозвище, по-видимому, отождествляет Русалок с Берегинями, о которых св. Григорий упоминает вместе с Упырями: «А переже клали требу упирем и берегиням». В этом сближении Упыря с Родом и Берегини с Рожаницей, как Род, так и Упырь — мертвецы. Почему и весьма вероятно допустить, что и Берегини, как горные, земные духи, носили отчасти то же значение. В древности над могилами сыпали курганы и, в особенности, выбирали для сего места прибрежные, около больших рек; самое слово *брег* — *берег* имеет иногда смысл *горы* (сравни немецкое *Berg*), а в областных выражениях слово *гора*, наоборот, означает *берег реки* или даже *сухонутье* (не водою).

Вообще встречается в славянском язычестве множество фантастических существ, которые, при человеческих своих обязанностях, одаряются суеверным преданием какой-то высшей сверхъестественной (божественной) силой. Их нельзя назвать божествами, и между тем они не простые смертные.

В тех народностях, где еще во времена баснословные успели выдаться из толпы исторические личности мудрецов или царей-завоевателей, их имена возводятся нередко народною памятью в область мифических божеств; у нас же, при отсутствии всякой личности, случилось, по-видимому, то же с некоторыми чисто человеческими должностями и обязанностями, которые, украшенные народною фантазией сверхъестественным божественным даром, произвели особенную демонологическую сферу духов-посредников между человеком и божеством. При вышеизложенном воззрении на смерть и жизнь загробную подобные сверхъестественные посредники могли легко представляться воображению мертвецами, имеющими чисто человеческое происхождение. Таким образом, соответствует обязанностям домохозяина и главы семейства баснословная личность Рода или Дедушки Домового; подобно тому и должности богослужебного жреца соответствует понятие Ведуна — Кудесника. И как под именем Рода и Дедушки человек воображает себе действительную личность давно покойного своего прадеда, точно так же мог он предположить и о ведунах, что и они умершие жрецы и старцы,

прославившиеся еще при жизни своей вещей мудростью. Знахарство есть простое человеческое ремесло, ведущее, вероятно, свое начало от языческого жречества; ведовство же есть уже знахарство, перешедшее, через смерть, в область фантастической сверхъестественности.

Влияние христианства, в первые века его появления на Руси, не уничтожило языческие суеверия в народе, но лишило их только своих благих свойств, соединив все эти поверья в общее представление наваждения нечистой, дьявольской силы. Но если снять с этих мифических личностей придаваемый им христианством колорит, то ясно увидим, как по названиям, так и по приписываемым им действиям, что Ведуны не что иное, как жрецы древнего богослужения, возведенные в область баснословной демонологии.

Как знахарь происходит от *знать*, точно так же ведовство и ведун имеет свое начало в *ведать*, откуда и другие производные, как *вещий*, *вещун*, *вещать*, *предвещание*, *вече* (суд народный) и *ведьма*, как женская форма *ведуна*.

Чародейство есть обвитие, обведение чарами, то есть сверхъестественными узами или чертами. Очертание круга на земле принимает магическую силу цепей и уз, точно так же как очарование есть связывание человека невидимыми узами (как, например, взорами красавицы).

В первобытном значении своем чары не что иное, как нисхождение божественной помощи на человека посредством заговорных молитв и жертвоприношений.

Колдовство и колдун имеют свое начало в корне *колд*, *клюд*, означающие *очищение*, *возрождение* (посредством огня) и *жертвоприношение*; по-чешски *клюдити* — очищать, по-сербски *кудици* — заговаривать. Сюда же относится, по корню своему, и наше *судить* — суд, тоже очищение в его нравственном значении. Имя Волхва производят филологи от санскритского *вал* — светить, блистать, точно так же как жрец происходит от *жреть*, *гореть*; жертва съедается огнем, отчего и наше *жрать*, и жертвенник в этом отношении является *жерлом* (горлом) съедающего огня^[28]. Когда исчезла вера в языческие обряды, народный юмор придал жреческим жертвоприношениям пошлое теперешнее значение глагола *жрать*; той же судьбе подвергся и глагол *врать*, т. е. заговаривать болезнь божественной молитвой, откуда и слова: *врач*, *врачевание*, точно так же как из *чудесников*, проводников божественных чудес, образовались понятия *кудесника* и *кудес*, в значении злого колдовства, а еще чаще простых фокусов и кривляний.

Во времена язычества религия обнимала собою все способности и дарования человеческого ума, все таинственные познания его

наблюдательного изучения природы, все занятия и заботы его ежедневной жизни. В область религии входила мудрость и красноречие, поэтическое вдохновение, песнопение, вещая сила чародейства и познания будущности; ею осенялась справедливость суда, врачевание болезни и счастье домашнего крова, и все это воплощалось в одно общее представление вещей мудрости Волхва — Чародея. Но как Чародей только посредник между человеком и высшим божеством, то и чудеса, производимые Ведунами и Ведьмами, не прямо от них исходят, но посылаются человеку, через их посредничество, от высших божеств, помощью заговоров, жертвоприношений и обычных обрядов.

Единственное сверхъестественное качество, которое относится прямо к характеристике самих Ведунов и Ведьм, это способности полета по воздуху и оборотня; но и здесь есть поверье, что у Ведьм хранится чудесная вода, вскипяченная вместе с пеплом от Купального костра, и что для того, чтобы лететь по воздуху, они должны опрыскать себя этой водой, причем, вероятно, предполагался какой-нибудь заговор. Для оборотня также требовалось знание известных заговоров и таинственных обрядов —

Втапоры поучился Волх ко премудростям:
А и первой мудрости учился
Обертываться ясным соколом,
Ко другой—то мудрости учился он
Волх Обертываться серым волком,
Ко третьей—то мудрости учился Волх
Обертываться гнедым туром — золотые рога.

Собственно божеству не нужны были гадания для узнавания будущности, как и не нужно бы ему учиться премудрости для оборотня. И действительно, сербские Вилы и хорутанские Рояницы предсказывают будущность без всякого гаданья, что и указывает на непосредственность их божественности. Домовым, Русалкам и Ведунам не творят мольбы и не приносят искупительных жертв, а если им и подносятся иногда подарки и приношения, как развешивание по деревьям пряжи для Русалок, оставление ужина для Домового, или *кроют сыры, хлебы и мед* в честь Рода, то все эти обычаи носят чистый характер угощений или поминок покойников, а не жертвы.

Самые поверья о Домовых и Ведунах, их нравы, действия и атрибуты указывают на тесную связь этих лиц с очагом как домашним представителем жреческого алтаря. Их гадания, врачевания, заговоры — все

носит на себе чисто человеческий характер богослужебного жреца. Заговор не что иное, как молитва; суеверные же гадания и обряды выгонения или обмывания болезней и злых наваждений, совершаемые донныне нашими знахарями, — осколки искупительных жертвоприношений и очищений посредством священных стихий воды и огня, точно так же как многие из наших обрядных песен еще остатки древних богослужебных гимнов. Самые же *богомерзкие трапезы и игрища*, столь преследуемые нашим ревностным духовенством прошлых столетий, — символические обряды жертвоприношения и очищения (например, прыганье через Купальные огни, бросание венков в воду и огонь и проч.). Подобное же значение имеют и некоторые пляски: хоровод, например, есть символическое представление обращения солнца вокруг земли, отчего и самое слово *хор*, *хоровод*, подобно божеству Хорсу, имеет свое начало в древнейшем зендском названии солнца. Особенно важны в этом отношении обряды, гадания и игры Купалы и Коляды: в ночь этих великих праздников, по народному поверью, Ведуны и Ведьмы собираются на высокие горы и у зажженных костров около *чертова требища* (жреческого алтаря) предаются бесовским играм, песням и пляскам. Не простое ли это описание чисто человеческих сборищ язычников, христианским воззрением украшенное каким-то демоническим колоритом сверхъестественности?

От кумиров нашего язычества дошли до нас, как сказали выше, одни только имена, когда, напротив, про Леших, Домовых, Ведьм и Русалок сохранилось и поныне множество подробностей, как по наружному их виду и одежде, так и по привычкам, нравам и образу жизни этих духов. Этот факт едва ли не служит нам лучшим подтверждением чисто человеческого происхождения таких коллективных духов, которые, бывши некогда живыми людьми, естественно, сохранили в народной фантазии более определенный образ, чем божества, представители отвлеченных понятий. Впрочем, и подобных коллективов у нас на Руси весьма немного в сравнении с поверьями и преданиями других народов Европы и даже одноплеменных юго-славян. Нет у нас ни Фей, ни Гномов, ни Саламандр, нет даже Рояниц, Дружиц, Живиц, Страшиц и Судиц сербо-хорватских суеверий, этих различных дев жизни и смерти, которые, являясь у колыбели новорожденного, сопровождают человека до гроба, охраняя его от всех бед и напастей, или, с другой стороны, своевольной рукой прекращают нить или тушат огонь его жизни, когда настает час его кончины.

Вообще можно положительно сказать, что имена и личности божеств играют самую второстепенную роль в нашей русской мифологии. Обогащение же природы и жизни во всех их многообразных проявлениях — вот главнейшая основа всех верований нашего язычества.

Песни, загадки, пословицы и изречения всякого рода, обычные сравнения и качественные эпитеты носят еще доныне в языке нашем глубокие следы этого наблюдательного благоговения человека перед вечными законами природы и жизни. Подобное религиозное воззрение человека на мир не есть ли почти бессознательный деизм, при котором многобожие является только наружной формою культа, сквозь который везде чувствуется одно общее обоготворение идеи жизни, одно общее поклонение всемирной премудрости.

В этом религиозном воззрении нашего язычества находится и существенная причина того, что христианство, введенное у нас без всяких насилий и сопротивлений, так скоро успело сродниться с бытовой жизнью русского человека и так глубоко вкорениться во все понятия и воззрения его народной старины.



РУССКИЕ БЫЛИНЫ



ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ

Творческая сила народа, по мере вступления его в жизнь общественную и на переходе к исторической эпохе сказалась не в одних только песнях обрядовых и семейных. Очень рано пробудилась в народе и другая потребность: передавать в форме эпической песни предания отдаленной старины и прославлять выдающихся деятелей живой современности или недавнего прошлого, поразивших воображение народа своими подвигами или вообще характером своей деятельности. Эти эпические песни, несмотря на свой гиперболический характер, несмотря на все преувеличения и фантастические вымыслы, которыми они украшались, представлялись народу былью, потому что они действительно могли быть в древнейшей основе своей приурочены к живым лицам и действительным событиям. В этом именно смысле эти эпические песни и называются в народе былинами и противоплагаются *сказкам* — рассказам чисто фантастического характера; отсюда и народное присловье: «сказка — складка, а песня — быль».

Главное содержание эпических песен, или былин, которыми очень богата русская народная поэзия, составляет рассказ о подвигах русских богатырей стародавнего времени, которые группируются в народной памяти около личности князя Владимира Красного Солнышка, как рыцари средневековых сказаний около Карла Великого или «доброго короля Артура». Как те собирались некогда за его знаменитым «круглым столом», так и богатыри Владимира Красного Солнышка собираются на «пированье» за его «почестный стол» в «славном городе стольном Киеве», который в былинах представляется не только центром «земли Свято-Русской», но чуть ли не центром всего света белого. Сюда-то, в Киев, к «ласкову князю Владимиру» отовсюду съезжаются всякие удалыцы и богатыри «силушкой померяться», на людей посмотреть и себя показать. Здесь все они образуют около князя Владимира нечто целое — входят в состав его дружины и, вступая по его приказанию или просьбе в борьбу с иноплемениками, грудью отстаивают от них землю русскую. Эти иноплеменики и всякие

враги земли русской олицетворяются в виде страшных великанов вроде Идолища Поганого, или в виде чудовищных змеев — Горынычей, Тугаринов–Змеевичей, или в виде Соловья Разбойника, который свистом своим валит с ног и коня и всадника... Важнейшими из этих богатырей, наиболее близкими к князю Владимиру, изображаются в былинах Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович и Поток Михайло Иванович. Около каждого из подобных былинных героев скопляется целый ряд сказаний, составляющих темы отдельных былин; и в этих былинах каждый из поименованных нами богатырей является цельною, вполне определенной, типическою личностью.

Илья Муромец рисуется в былинах прямодушным и неподкупно честным в своих отношениях и к князю Владимиру, и ко всем богатырям, своим сотоварищам. Как истый крестьянский сын, он несколько грубоват в своих приемах и речах, невоздержан в пированье и не прочь пошуметь и подраться во хмелю, но спокоен и справедлив даже и в порыве гнева. Он сильнее всех богатырей киевских и отличен при этом некоторыми особенностями, которых не видим ни в одном из остальных богатырей, его товарищей; так, мы знаем, что он получает силу от трех вещей старцев, которые предсказывают ему, что «смерть ему на бою не писана», т. е., другими словами, дают ему право бесстрашно и уверенно вступать в битву с кем бы то ни было... И Илья свято хранит их завет и не щадит ни поту, ни крови в борьбе с врагами земли русской...

Прямую противоположность Илье Муромцу является другой любимец князя Владимира Красного Солнышка — Добрыня Никитич, по роду принадлежащий к дружинной среде. Отличительною чертою Добрыни, кроме мужества и храбрости, является особая черта его характера — природное *вежество*, умение говорить красиво и умно, умение очаровывать своею любезностью. Высоко поэтическим и глубоко нравственным настроением отзывается одна из былин о Добрыне, в которой рассказывается, как он, уезжая в дальний поход, дал жене своей волю по истечении известного срока выйти замуж за кого ей вздумается, с одним исключением: «не выходи только за смелого Алешу Поповича». Верная жена ждала своего мужа и долее назначенного срока, и всем отказывала; но наконец сдалась на уговоры князя Владимира и его супруги–княгини, которые и просватали ее именно за Алешу Поповича. В самый день свадьбы возвращается Добрыня из дальнего похода, узнает обо всем, переряжается «удалым скоморошиной», берет в руки гусельки яворчатые и является на свадебное пиршество. Никем не признанный, он садится сначала «на печке на запечье, где есть место скоморошеское», и начинает наигрывать на своих гуслях. Его игра нравится, ее хвалят и оценивают по достоинству и

приглашают «скоморошину» сесть поближе; потом приглашают сесть за стол. Он соглашается только с тем уговором, что ему предоставлен будет выбор места по его вкусу, — и выбирает место как раз против своей жены. Подготовив ее темными намеками и иносказаниями, он наконец подает ей кубок, в который опустил свой перстень, и жена, узнав его по перстню, бросается к его ногам с мольбою о прощении... Жену он прощает, но обращается с горькою, укоризненною речью к князю Владимиру и его княгине, и эта речь проникнута глубоким сознанием собственного достоинства... Приводим ее по одному из вариантов этой прекрасной былины:

Говорил Добрыня, сын Никитинич:
«Что не дивую я разуму—то женскому,
Что волос долог, да ум короток:
Их куда ведут, они туда идут,
Их куда везут, они туда едут;
А дивую я Солнышку Владимиру
С молодой княгиней со Апраксией:
Солнышко Владимир, тот тут сватом был,
А княгиня Апраксия свахою —
Они у живого мужа жену просватали».
Тут Солнышку Владимиру ко стыду пришло...

И только уже закончив эту речь, Добрыня решается «поучить» Алешу Поповича: берет его за «желты кудри, бьет о кирпичен пол», но и тут довольствуется лишь весьма снисходительною расправою благодаря заступничеству Ильи Муромца, который является миротворцем между обоими богатырями.

Алеша Попович (следовательно, происходящей из духовного сословия) опять—таки живая противоположность и Добрыне, и Илье Муромцу. Отличительною чертою его нравственного типа является непомерная — и часто даже излишняя и неуместная — смелость, молодечество, хвастовство своею удалю. При этом он неразборчив и в средствах, избираемых для достижения известной цели, и нередко прибегает к уловкам и даже к обману. «Не возьмет где силою, так возьмет хитростью», — говорит о нем Илья Муромец. В то же время Алеша и женолюбив, и не тверд в своем слове...

Не таков Поток Михайло Иванович, этот истый рыцарь «без страха и упрека». Полюбивши Марью Лебедь Белую, он женится на ней, и они полагают между собою такой завет: «когда один из них умрет, тогда и

другому за ним живому в гроб лечь...» И Поток, верный данному слову, приказывает себя живого опустить в могилу жены, которая умирает раньше его...

Около этих избранных и важнейших богатырей — целая фаланга второстепенных и третьестепенных лиц, так или иначе примыкающих к этому циклу сказаний о богатырях киевских, группирующихся вокруг Владимира Красного Солнышка. Из всех этих Василиев Казнеровичей, Чурил Пленковичей и Иванов Гостиных Сыновей выдвигаются в особенности две личности: Дюк Степанович и Соловей Будимирович. Один — богач-боярин, другой — заезжий гость из-за моря. Былины о них отличаются удивительным богатством и разнообразием красок и местами достигают замечательной образности и красоты в эпических подробностях и описаниях.

Дюка Степановича хвалят былины за несметное богатство его и за красоту, о которой он очень заботится, прихорашиваясь и принаряжаясь во всякие дорогие ткани и ценные уборы. Богатству и казне Дюковой, по описанию былины, «нет ни счета, ни сметы». Попытался было Владимир-князь послать в дом к Дюку оценщиков, но оказалось, что у них на это описание не хватило ни чернил, ни перьев. На покупку одного этого материала придется продать и Киев и Чернигов... И настроенное на этот лад воображение певца былины дает нам такое восторженное описание вооружения Дюкова, что приведенный выше отзыв о его богатствах уже не представляется нам преувеличенным...

Сам-то Дюк на коне, как ясен сокол,
Крепки доспехи на могучих плечах;
Не много с Дюком живота пошло,
Что куяк и панцирь чиста серебра,
А кольчуга на нем красна золота,
А куяку и панцирю цена лежит три тысячи,
А кольчуга на нем красна золота,
Цена сорок тысячей.
...Еще с Дюком не много живота пошло:
Пошел тугой лук разрывчатый,
А цена тому луку три тысячи.
Потому цена луку три тысячи:
Полосы были серебряны,
А рога красна золота,
А и тетивочка была шелковая,
А белого шелку шемаханского;

И колчан пошел с ним каленых стрел,
А в колчане было за триста стрел,
Всякая стрела по десяти рублев.
А и еще есть во колчане три стрелы,
А и тем стрелам цены нет,
Цены не было и несведомо;
Потому тем стрелам цены не было:
Колоты оне были из трость—дерева,
Строганы те стрелки во Новгороде;
Клеены они клеем осетра рыбы,
Перены они перьями сиза орла,
А сиза орла, орла орловича,
А того орла, птицы Камской, —
Не той—то Камы, коя в Волгу пала,
А той—то Камы за синим морем, —
Своим устьем впала в сине море.
...Летал орел над синим морем,
А ронил он перья во сине море...
Покупала Дюкова матушка
Перо во сто рублей, во тысячу. —
Почему те три стрелки дороги?
Потому они дороги,
Что в ушах поставлено по тирону,
По камению, по дорогу самоцветному;
...Как днем—то стрелочек не видети,
А в ночи те стрелки, что свечи горят —
Свечи теплются воску ярого:
Потому они стрелки дороги.

С такую же любовью и эпической подробностью описываются златоверхие терема, построенные Соловьем Будимировичем в саду племянницы князя Владимира, Забавы Путятишны, за которую Соловей приехал свататься, и еще тот чудный, разукрашенный всякими прикрасами «Сокол» корабль, на котором богатый гость прибыл в Киев из—за моря, приведя с собою еще тридцать кораблей с товаром.

Из—за моря, моря синего,
Из глухоморья зеленого,
От славного города Леденца,

От того—де царя, ведь заморского,
Выбегали, выгребали тридцать кораблей,
Тридцать кораблей — един корабль,
Славного гостя, богатого,
Молода Соловья, сына Будимировича.
Хорошо корабли изукрашены;
Один корабль получше всех:
У того было «Сокола» у корабля,
Вместо очей было вставлено
По дороге камению, по яхонту,
Вместо бровей было прибивано
По черному соболу якутскому,
И якутскому, ведь сибирскому;
Вместо уса было воткнуто
Два острые ножика булатные;
Вместо ушей было воткнуто
Два остра копья мурзameцкия;
И два горностая повышены,
Два горностая, два зимние;
У того было «Сокола» корабля
Вместо гривы прибивано
Две лисицы бурнастыя;
Вместо хвоста повышено
Два медведя белыя заморския;
Нос, корма по—туриному,
Бока взведены по—звериному.

Из—за этой пестрой толпы богатырей и иноземных заезжих гостей, примкнувших к удалой дружине князя Владимира Киевского, из—за мощных плеч Ильи Муромца и Добрыни смотрят на нас, однако же, еще более крупные фигуры других богатырей, относящихся, очевидно, к иной, боле отдаленной, более первобытной эпохи, когда человеку, ничтожному силами и скудному средствами для борьбы со стихийными силами природы, приходилось безропотно перед ними склоняться и считать их неодолимыми.

К таким колоссальным типам богатырей принадлежат в наших былинах двое: *Святогор—богатырь* и *Микула Селянинович*. Первый из них представляется в былинах великаном и обладателем такой страшной силы, от которой ему самому тяжело, потому что его уже и земля на себе не держит:

Грузно [ему] от силушки, как от тяжелого бремени... —

так поется о нем в былинах.

В одном из сказаний о Святогоре мы видим, что он поражает своею громадностью даже самого Илью Муромца: «лежит на горе, и сам как гора». К людям, даже и одаренным такою сверхъестественною силою, какою обладает Илья Муромец, Святогор может относиться только с снисходительным пренебрежением.

Но и Святогор уступает в силе Микуле Селяниновичу — богатырю—пахарю. Тот свободно носит в сумочке при себе тягу земную, которую еле—еле может приподнять Святогор. И пашню пашет он такою сохою, которую вся дружина мимоезжего князя Вольги Святославича не может вывернуть из земли, а он сам, Микула, одною рукою бросает за ракитов куст. Широкими и яркими чертами набросана нам в былине о Микуле могучая трудовая деятельность этого богатыря—пахаря:

Орет в поле ратай, понукивает,
Сошка у ратая поскрипывает,
Омешики по камешкам почеркивают;
Орет в поле ратай, понукивает,
С края в край бороздки пометывает;
В край он уедет — другого не видать;
Каменья, коренья вывертывает...

Или далее, когда он сам говорит о предстоящем урожае и радуется ему заранее:

А я ржи напашу, да во скирды складу,
Во скирды складу, да домой выволочу;
Домой выволочу, да дома вымолочу,
Драни надеру, да пива наварю,
Пива наварю, да мужичков напою.
Станут мужички меня покликивати:
«Молодой Микулушка Селянинович».

В этих немногих фразах чрезвычайно сильно высказывается не только та преданность, которую народ питает к своему исконному труду, но еще и глубокое понимание высокого значения, которое он придает пахарю.

В стороне от киевского цикла былин, совершенно отдельно от него и вне всякой связи с его содержанием стоит цикл былин новгородских, которые воспевают нам только двоих героев: Садко богатого гостя (т. е. купца, торгующего за морем), гордого своим богатством и обилием товаров, и Василия Буслаева — буйного и разудалого боярского сына, который ведет постоянную борьбу с «мужиками новгородскими». Эти два типа, целиком взятые из живой новгородской действительности, набросаны в былинах бойкою кистью; можно почти сказать, что былины о Садко и о Василии Буслаеве в некотором смысле дополняют историю вольнолюбивого Новгорода несколькими живыми чертами, тогда как в большей части киевских былин историческая правда является только случайным отголоском действительности.

Былины о Садко в особенности богаты фантастическим элементом; для него превосходным фоном является то бурное море, с которым богатому гостю постоянно приходилось ведаться. Удивительно живо и ярко описывается в былине пребывание Садки в подводных палатах морского царя, который собирается за него выдать одну из своих дочерей и очень охотно пускается в пляску под музыку звончатых гуслей, на которых Садко мастерски умеет играть. Но пляска морского царя не на радость людям:

Во синем море вода всколыбалася,
Со желтым песком вода сомутилася;
Стало разбивать много кораблей на синем море,
Стало много тонуть именьяца,
Стало много тонуть людей праведных...

Тогда народ взмолился к Николе Угоднику, и тот, явившись Садко во сне, запретил ему играть перед морским царем на гуслях — и указал ему путь из подводного царства на родину.

Не менее этой былины, описывающей странствования Садко по морской пучине, любопытна и другая былина о нем же, по которой мы знакомимся с Садко как с зазнавшимся богачом. Былина очень картинно описывает нам, как он на пиру похвастал своей «бессчетной золотой казной» и побился об заклад, что выкупит на нее все товары новгородские; и как потом постепенно приходил к убеждению, что ничтожны богатства одного лица перед богатствами целой страны и что жалка и смешна была его похвальба. Он прямо приходит наконец к такому — вполне разумному и естественному — выводу:

Не я, видно, купец богат новгородский:
Побогаче меня славный Новгород.

Былины о Ваське Буслаеве — этом беззаветном удальце новгородском — несколько грубее по содержанию, но зато еще ближе к действительности, нежели былины о Садко, в которых фантазия преобладает над действительностью. С поражающим реализмом рисуется нам в них весьма непривлекательная картина внутренней жизни Великого Новгорода, дикая необузданность разгулявшегося молодца, который все бьет и крушит вокруг себя, не признавая над собою никакой власти, никакого сдерживающего начала... Бьет и крушит он не один, а заодно с дружиною таких же бесшабашных удальцов, как он сам, задорных, необузданных и беспощадных в своем задоре. Несчастные, побитые Василием Буслаевым мужики новгородские, чтобы избавиться от страшного буяна, не находят ничего лучше, как пойти с жалобой к Васильевой матери, «матерой вдове Амелфе Тимофеевне», и мать во внимание к их просьбам идет унимать свое расхोлившееся детище. И вот тот самый буян, который никого не хотел уважить, который и на убеждение старца-пилигримища отвечал ударом тележной оси, склоняется на первое слово своей матери и дает ей отвести себя домой как расшалившегося ребенка... Черта наивная и верная по отношению к древнерусским нравам!

Само собою разумеется, что былины, сложенные, вероятно, очень давно (многие из них, может быть, даже восходят по времени происхождения к эпохе первых князей русских), дошли до нас не в своей первоначальной редакции, а во множестве вариантов; многое в них забылось, многое изменилось или применилось к условиям жизни последующих веков, но основа их осталась та же, прежняя, рисующая нам и быт и нравы времен весьма отдаленных.

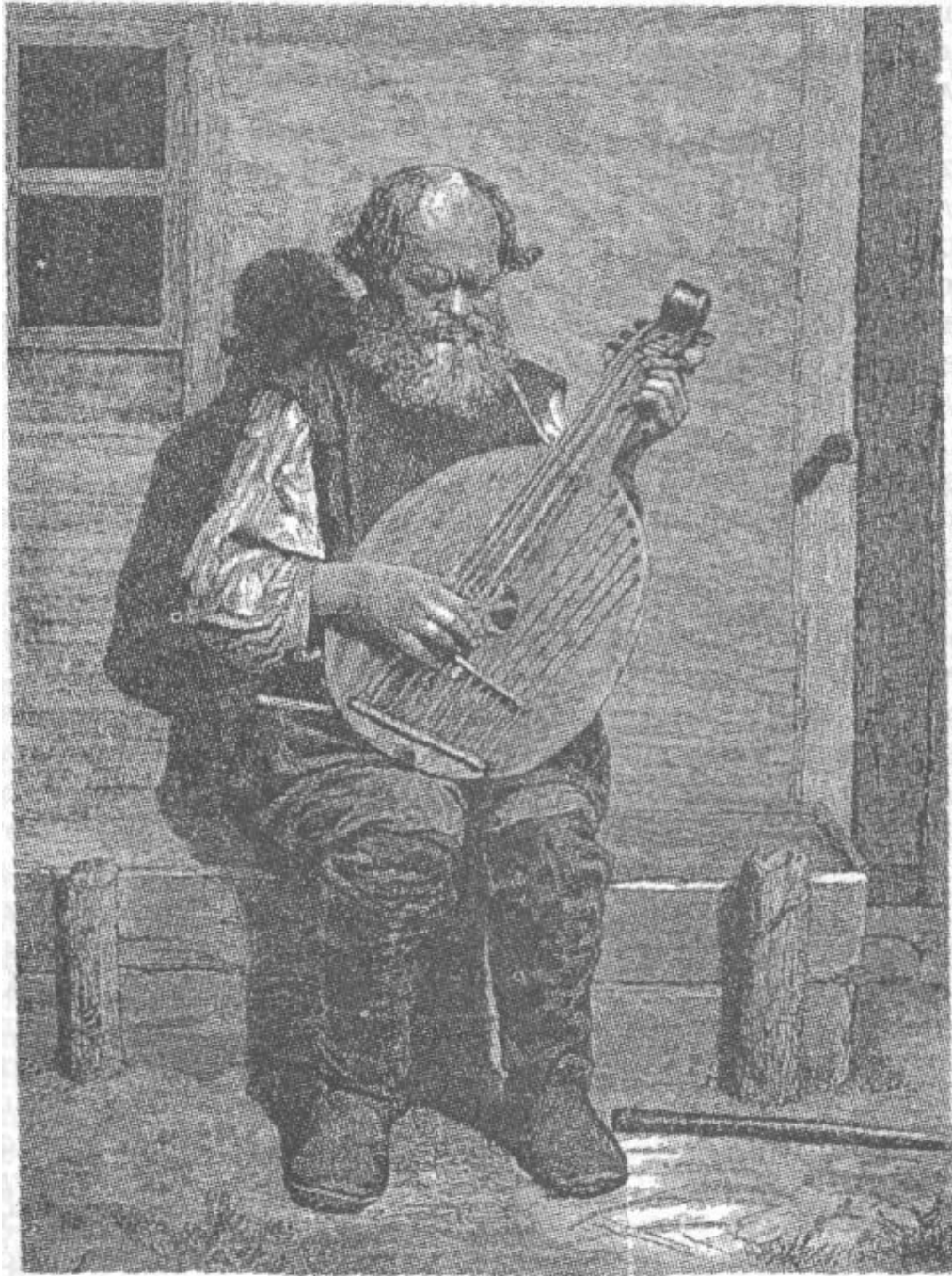
Один из больших знатоков нашей народной былевой поэзии, известный собиратель былин П. Н. Рыбников, очень верно определяет значение и свойство былевой поэзии, уцелевшей до нашего времени:

«Наша эпическая поэзия остановилась на первой ступени развития — былинах и не успела перейти в эпопею. Но зато многие былины, смотря по тождеству изображаемого ими быта и мирозерцания, сами собою группируются в циклы: *старших богатырей, Владимиров, Новгородский, Московский, казацкий* и т. д. Но устная передача, конечно, повлияла на содержание и на изложение былин и привела к изменениям, из которых иные представляют собою только естественное развитие былин. Так, например, некоторые «старины» (прозаические изложения былин) дошли до

нас и в кратком виде, и в длинных пересказах, в которых отдельные песни являются эпизодами. В противоположность этому некоторые варианты об Илье и Добрыне разрослись до огромных размеров и захватили в свой состав почти все подвиги воспеваемых ими богатырей. Другое изменение в былинах: всякого рода анахронизмы и подновления вроде, например, замены старших богатырей младшими или приурочивание новых черт к древнейшему времени. Третье изменение — ослабление эпического склада (подвиги богатырей стушевываются, и богатыри приравниваются к обыкновенным смертным), причем былины переходят иногда в побывальщину или даже сказку...»

П. Н. Рыбников приходит к тому заключению, что «наше поколение застало былевую поэзию уже *совсем сложившеюся*. Теперь слагаются еще только исторические песни, а новые былины не слагаются более... «Я имел случай неоднократно наблюдать, как напрасны были усилия лучших певцов восстановить былинку, забытую ими... Если восстановить былинку трудно, то сложить ее вновь в пору ослабления эпического настроения почти невозможно...»

«Песня—быль» осталась в памяти народной как дорогой завет старины и хранилась как святыня, передаваемая из поколения в поколение особыми сказителями и сказительницами, которые к эпическому складу песни приноровили известный протяжный лад и не то «поют», не то «сказывают» былины. Многие из таких народных певцов и певиц (как убедились в этом в недавнее время) обладают и теперь счастливою способностью запоминать и хранить в своей памяти по несколько тысяч стихов эпической поэзии и повторять одну и ту же песню много и много раз подряд, не изменяя в ней ни одного слова.



Одна из таких песен, несомненно сложенная в XII веке княжеским певцом, уцелела до нашего времени как живой отголосок старины, как единственное в своем роде отражение той пестрой, привольной и разнообразной действительности, среди которой жили наши предки в период, предшествовавший мрачной эпохе татарщины. Эта песнь — «Слово о полку Игореве» (т. е. о походе Игоря), сложенная в память о походе новгород-северского князя Игоря против половцев в 1185 году. Во время

этого небольшого и притом несчастливо окончившегося похода русские были окружены и понесли полное поражение; князья и дружины их попались в плен и долго в нем оставались. И этот небольшой, неудачный поход был воспет княжеским певцом как важный подвиг ратный, может быть, потому, что смелый поход Игоря полюбился ему по своей замечательной удали и молодечеству; а может быть, и потому, что его привлекала личность князя, который выступал на похвальное и достославное дело борьбы с «погаными» в то время, когда другие напрасно тратили силы на братоубийственную вражду и усобицы.

Летописи наши сохранили нам довольно подробные сведения о походе князя Игоря, к которому тоже относятся весьма сочувственно, с большой похвалой отзываясь и о князе, и о его отважном подвиге. Изложение события по общему тону, характеру и подробностям очень близко, почти тождественно и в летописях, и в «Слове о полку Игореве». Видно, что эта торжественная песнь сложена современником, близко знакомым со всеми частностями описываемого похода, с современными условиями древнерусской жизни и со всеми важнейшими представителями современной княжеской среды. На эту тесную связь с современностью отчасти указывает сам автор «Слова» в своем вступлении, заявляя, что он намерен воспеть поход князя Игоря по былинам сего времени, а не по замыслению Боянову — т. е. по действительным фактам, по тому, что действительно было, а не по вымыслу певца Бояна, о котором он говорит с почтительным преклонением перед его талантом как певца вдохновенного. «Боян—то вещий, — так вспоминает об этом певце автор «Слова», — когда хотел кого—нибудь воспеть в песне, то растекался мыслью вширь и вдаль, серым волком рыскал по земле, сизым орлом взлетал под облака. Вещие персты свои он возлагал на оживленные им струны, и они тотчас сами собой рокотали славу князьям». При этих воспоминаниях о Бонне автор «Слова» перечисляет нам и тех князей, которых он воспевал, и тем самым дает нам прочную историческую основу этому неизвестному нам русскому поэту, который (судя по князьям) жил, вероятно, в конце XI — начале XII века.

В заключение того, что сказано нами выше о былинах, необходимо добавить, что они сохранились у нас в народе только на дальних окраинах Земли Русской: в Сибири, в Пермском крае, на Севере, в Архангельской, Олонецкой и Вологодской губерниях. Главными хранителями былин в Олонецком крае как более исследованном в этом отношении являются *сказители* и *калики—нищие*. Первые из них, люди по большей части состоятельные и степенные, поют «по охоте» и хранят былины по любви к этого рода поэзии; вторые — певцы по ремеслу и поют за деньги. Переходную стадию между теми и другими составляют странствующее

певцы–портные, которые зимою переходят из деревни в деревню, занимаясь своим мастерством.

Сказители на вопрос о том, откуда они научились своим былинам и старинам, отвечают, что они научились былинам, «наслушали» их от «великих, досюльных» сказителей, и называют (например, в Олонецкой губ.) имена Ильи Елустафьева, Игнатия Иванова Андреева, Феодора Яковлева и других, давно умерших — еще доселе живущие в народной памяти.

Есть, однако, основание предполагать, что народное творчество в различные эпохи также подчинялось известного рода требованиям вкуса и новизны; и потому, в то самое время когда старая былевая поэзия забывалась и исчезала или вырождалась в форму сказки о богатырях или так называемой бывальщины, нарождалась новая былевая поэзия, но уже в виде *исторической песни*, т. е. такой, которая, подражая в тоне и складе старинным былинам, почерпала, однако, содержание из живой современности, излагала события и упоминала лица, которые еще у всех были в памяти. Чем более яркий след оставляла по себе та или другая эпоха, чем большим значением и влиянием пользовался в известную эпоху тот или другой деятель, тем большее количество песен слагалось о нем в народе. Таким образом многие важнейшие эпохи в русской истории и многие из важнейших ее деятелей были увековечены в народе историческими песнями: татарский погром, времена Грозного, завоевание Сибири, Скопин–Шуйский — народный любимец в Смутное время, Стенька Разин, выказывавший себя защитником прав народных, борьба за старую веру, колоссальная личность Петра Великого с его сподвижниками, Отечественная война — все это нашло себе отголосок в народной поэзии...

К этому же кругу исторических песен примыкает обширный и богатейший круг малороссийских *исторических дум*, живописующий нам в лицах и событиях весь долгий период кровавой борьбы, которую в течение двух веков Малороссия вела то с татарами, то с Польшей за свою веру и независимость. Думы эти поются особым классом певцов–бандуристов (большею частью слепцов), которые хранят их в своей памяти и как священный завет прошлого передают от поколения к поколению.

Особый, весьма богатый отдел песен полуисторических–полубытовых составляют песни разбойничьи, казацкие и солдатские. Хотя большая часть их не имеет прямого отношения ни к каким историческим лицам и событиям, однако все они относятся к определенным эпохам, в течение которых казачество и разбойничество составляли обычные явления русской действительности и играли в ней немаловажную роль; точно так же, как и солдатство с рекрутчиной, в течение долгого времени тяготевшей над

русским народом как великое бедствие, оставили по себе такие глубокие следы в народном быту, что не могли не отразиться в народной поэзии. Чрезвычайно любопытно то отношение к разбойничеству и казачеству, которое выказывается в этих произведениях народной поэзии: разбойник и казак — по представлению народному — одинаково вольные люди, удалцы, добрые молодцы, живущие своим ремеслом. Народ не чуждается их — они возбуждают даже зависть к себе, а иногда внушают и уважение своею отвагою и смелостью. Атаманы и есаулы, казацкие и разбойничьи, пользуются большим значением, возводятся иногда в этих песнях в народные герои: они украшаются фантастическим вымыслом, им приписываются даже сверхъестественные свойства, их выставляют хитрыми ведунками и волшебниками, опытными в чарах...

От всех этих песен веет стариною XVI и XVII веков, когда тяжело жилось русскому человеку в тесных рамках новых, недавно народившихся форм жизни, и невольно влекло его в дикую степь, на славный тихий Дон, на раздольную Волгу-матушку или в непроходимую глушь лесов заволжских — лишь бы унести свою голову от тяжелых поборов, от невыносимого гнета властей и необузданного произвола помещиков.



ВОЛЬГА СВЯТОСЛАВИЧ

Закатилось красное солнышко за синие моря, за высокие горы, вышел на небо светлый месяц и вывел за собою веселый хоровод ясных частых звездочек... В эту ночь родился в Киеве могучий богатырь, молодой Вольга Святославич.

В час его появления на свет земля задрожала и синее море взволновалось; звери все поразбежались: олени и туры забрались в свои норы, лисицы и зайцы скрылись в лесные чащи, волки, медведи забились по ельникам, птицы поднялись высоко в небеса, рыба ушла в морские глубины: почуяли все, что гроза пришла на них: родился могучий богатырь.

Растет Вольга не по дням, а по часам, говорит громко, словно гром гремит; говорит молодой своей матушке Марфе Всеславьевне такие речи:

— Государыня—матушка! Не пеленай меня в дорогие пеленки, не надевай на меня пояса шелкового — пеленай меня в булатные латы крепкие, золотой шлем надень мне на буйную голову, в руки дай палку свинцовую тяжелую, грузную, весом в триста пудов!

Подрос могучий Вольга; семи лет отдала его мать учиться; пошла ему впрок наука: выучился он всяким наукам и хитростям, да мало ему этого ученья показалось. Уходил Вольга из дома в горы высокие, в леса темные, к старым волхвам—мудрецам, и научился у них Вольга разным премудростям: научился Вольга обертываться ясным соколом, да серым волком, да гнедым туром с золотыми рогами.

В двенадцать лет стал Вольга прибирать себе дружинушку: три года приходили к нему добрые молодцы, приходили с полудня и с севера, и с востока и запада: набралось дружины семь тысяч, все храбрые да сильные молодцы.

И поехал Вольга с дружиною в чистое поле добывать себе славы и богатства.

— Храбрая моя дружинушка! — говорит Вольга. — Вейте—ка вы веревочки шелковые, становите силки по сырой земле, ловите куниц и лисиц, диких зверей и черных соболей.

Послушалась Вольги дружина: вили веревки, ставили силки; три дня и три ночи провели за работой добрые молодцы: только не ловится никакой зверь, как нарочно, — вернулась к Вольге дружина с пустыми руками.

Оборотился тогда Вольга львом могучим, побежал в леса, набил всякого зверя, накормил по—царски свою дружинушку, раздел в шубы черного соболя.

Во второй раз посылает Вольга добрых молодцев:

— Храбрая моя дружинушка! Вейте—ка вы шелковые веревочки, наставьте силков на ветвях деревьев: наловите гусей, лебедей, ясных соколов, мелкой птички!

Три дня и три ночи провела на охоте дружинушка Вольги: ни одной птички в силках не запуталось; пришли к Вольге с пустыми руками.

Обернулся Вольга нау́й–птицей, взвился стрелой под небеса; наловил, набил всякой птицы, принес своей дружинушке.

В третий раз говорит Вольга:

— Храбрая моя дружинушка! Возьмите–ка вы стальные топорики, постройте крепкое судно дубовое, забросьте в море невода шелковые, наловите всякой рыбыны: семги и белужинки, и шук и плотичек маленьких, и осетров дорогих.

Три дня и три ночи пробыли витязи на море; не поймали и одной маленькой рыбки! Не знают, как Вольге и на глаза показаться. Видит Вольга, плохо дело, придется самому отправляться за добычей. Обернулся тут Вольга рыбой–щукой, опустился на морское дно глубокое, наловил всякой рыбы; накормил свою дружинушку яствами сахарными, да все переменными. Живут они себе, поживают, никакой заботы не знают, не ведают.

* * *

Пошли однажды по Киеву слухи, что собирается индийский царь войною на славный, стольный город; грозит взять Киев, разорить, Божьи церкви огню предать.

Разумен и догадлив был добрый молодец Вольга; собрал он свою храбрую дружинушку, пошел в поход к Индийскому царству. Шли день, другой; говорит Вольга дружине:

— Удалые, добрые молодцы, собралось вас здесь ни много ни мало семь тысяч; нет ли между вами такого человека, который обернулся бы гнедым туром да сбежал бы сейчас в Индийское царство, поразведал, что замышляет царь Салтык Ставрульевич?

Низко кланяется Вольге дружинушка, словно травка ветром к земле пригибается, говорит:

— Нет у нас другого такого человека, кроме тебя, Вольга Святославич.

Обернулся тут Вольга гнедым туром с золотыми рогами и побежал к Индийскому царству: первый прыжок сделал — за версту ушел, а со вторым и совсем из вида скрылся. Обернулся Вольга потом ясным соколом, прилетел в Индийское царство, сел на косящатое окошечко царских палат белокаменных и слышит, как жена царя Салтыка, Елена Азвяковна, говорит своему мужу:

— Идешь ты, славный царь, войной на святую Русь, а не знаешь, что взошел на небо светлый месяц, родился в Киеве могучий богатырь, сильный враг твой, Вольга Святославич!

Разгневался тут на жену свою Салтык Ставрुльевич за то, что она его отговаривает на Русь идти, чужого богатыря хвалит; схватил царицу да как ударит ее с размаху о каменный пол!

Полетел Вольга прочь от окошка; обернулся зверем–горностаем, пробрался в подвалы, погреба, в высокие терема Индийского царства, перекусил тетивы у тугих луков, отломал железа у каленых стрел и закопал в землю, чтобы не с чем было воевать Салтыку. И снова Вольга обернулся ясным соколом, взвился высоко под небеса, полетел в чистое поле, где оставил храбрую свою дружинushку. Видит Вольга — спит–почивает дружинushка. Разбудил он добрых молодцев:

— Вставайте, дружинushка моя храбрая, не время теперь спать–высыпаться: пора идти в Индийское царство!

Подошли они к каменной крепкой стене индийского стольного города: высоки стены и крепки, железные ворота глухо–наглухо заперты, медными крюками–засовами заложены. День и ночь ходят вокруг города царские караулы. На воротах резная решетка тонкая мудрой работы: только мурашек–крошка и может пробраться сквозь узоры решетки: такие они тоненькие да узенькие.

Закручинилась дружина Вольги:

— Напрасно мы тут свои головы сложим: как пробраться сквозь эти мудреные стены в стольный индийский город!

Слышит Вольга жалобу удалых добрых молодцев, говорит:

— Этому горю можно помочь!

Обернулся Вольга мурашком и дружинushку свою обернул мурашками, и пробрались они за городские стены в славное Индийское царство. Тут обернулись они снова добрыми молодцами на конях, вооружились кинжалами да копьями. Отдал им Вольга такой приказ:

— Ходите вы по Индийскому царству, рубите старого и малого, не оставляйте в живых ни одного злодея–татарина; оставьте только в живых семь тысяч красных девушек!

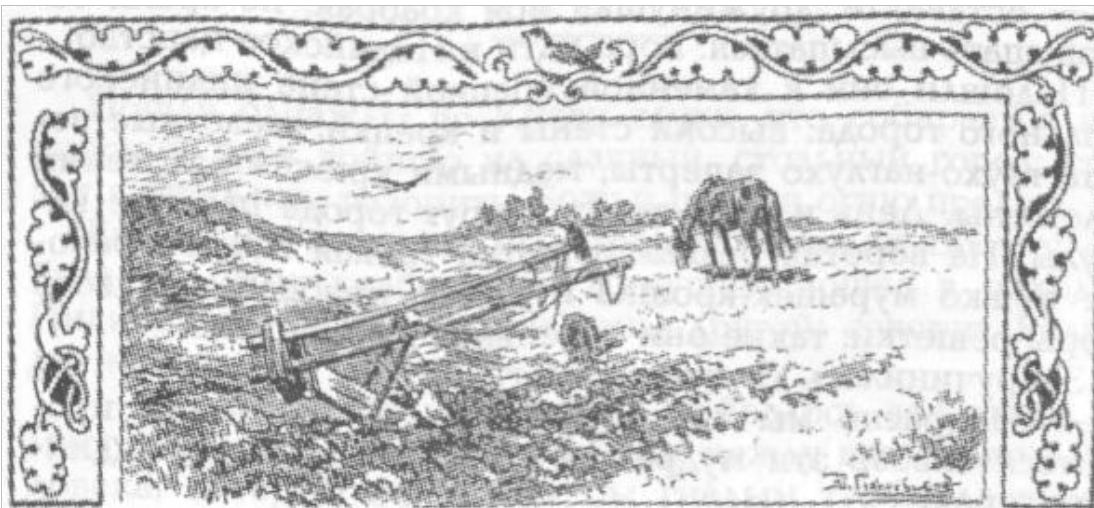
А сам Вольга пошел в царские палаты к индийскому царю. Сидит царь Салтык Ставрुльевич в своем крепком дворце: заперты железные двери тяжелыми замками булатными. Толкнул Вольга ногой двери, и слетели крепкие засовы: отворять не понадобилось. Увидал Вольга царя Салтыка да и говорит:

— Вас не бьют, не казнят! — Схватил его за белые руки, ударил о кирпичный пол да и положил на месте.

И стал Вольга сам царем–государем в Индийском царстве, взял за себя замуж прекрасную царицу Елену Азвяковну, а дружинишка его переженилась на душеньках красных девушках.

Щедро наградил Вольга своих добрых молодцев: одарил серебром, золотом; каждому дал табун коней во сто тысяч.

Славит храбрая дружинишка своего удалого князя. И по всей Руси идет громкая похвала делам и подвигам славного богатыря Вольги Святославича и его удалых, добрых молодцев.



ВОЛЬГА СВЯТОСЛАВИЧ И МИКУЛА СЕЛЯНИНОВИЧ

Пожаловал Вольге Святославичу ласковый князь Владимир стольнокиевский три города с крестьянами: Гурчевец, Ореховец и Крестьяновец, и поехал Вольга с храброй своей дружинишкой в новые города свои за данью.

Выехал Вольга с дружинишкой в чистое поле, и видят они в поле пахаря–оратая. Пашет оратай, добрую свою лошадку понукивает; соха у оратая поскрипывает, задевают сошники о камушки.

Поехал Вольга пахарю навстречу: едет день, едет другой — не настичь оратая; только на третий к полудню, наконец, встретились они. Пашет себе оратай: уедет в край борозды — не видать его с другого края; коренья, каменья вывертывает, в борозду складывает. Лошадка у оратая соловая — небольшая, соха кленовая, гужи шелковые.

— Бог помощь, оратаюшка, тебе пахать да крестьянствовать! — говорит Вольга.

— Спасибо на добром слове! — отвечает оратай. — Божья помощь мне надобна, чтобы пахать да крестьянствовать. А ты куда путь держишь, добрый молодец, со своей храброй дружинишкой?

— Еду в свои города Гурчевец, Ореховец да Крестьяновец пособрать дани!

— Добрый молодец, славный богатырь Вольга Святославич! Был я только что в городах твоих; немного я вывез оттуда: лишь два мешка соли по сорока пудов. Жители в них разбоем промышляют: обирают проезжих да прохожих. Была со мной плеть с железным наконечником; заплатил я им дани хорошей: кто стоймя стоял, тот сидя сидит; кто сидя сидел, тот лежа лежит!

Позвал Вольга оратаюшка с собой в свои города. Согласился оратай, отпряг свою лошадку из сохи, сел на нее и поехали они дальше.

По дороге оратай говорит Вольге:

— Оставил я соху в борозде; придут, пожалуй, мужики-прохожие, выдернут соху из земли и увезут с собою; нечем мне будет обрабатывать поле. Пошли ты свою храбрую дружинушку; пусть выдернут из земли мою сошку, отряхнут да бросят за ракитов куст!

Послал Вольга за сошкой пятерых добрых молодцев; вертят они сошку за оглобли, а не могут из земли выдернуть, бросить за ракитов куст.

Послал тогда Вольга десять человек дружинушки, чтоб достали они сошку; вертят молодцы сошку за оглобли; нет сил у них из земли сошку вынуть.

Послал Вольга на помощь всю свою храбрую дружинушку; вся дружинушка не может с сошкой справиться.

Говорит Вольге оратай:

— Даром у тебя дружинушка хлеб ест; больно мало силы у добрых молодцев!

И поехал сам оратай к своей сошке. Взял он сошку одной рукой, из земли выдернул, встряхнул, бросил сошку за ракитов куст.

Сели на коней, поехали дальше: оратая лошадка рысью идет, а Вольги конь вскачь едва за ней поспевает, а как прибавила кобылка соловая шагу, и совсем отстал конь Вольги, от усталости спотыкается.

Стал Вольга на коня покрикивать; просит:

— Подожди меня, оратаюшка.

Придержал оратай свою лошадку; Вольга и говорит:

— Что за добрая у тебя лошадка, оратаюшка! Кабы была она не кобылкой, а конем — пятьсот рублей за нее дать можно.

— Как бы не так! — отвечает оратай. — Взял я эту лошадку маленьким жеребчиком — тогда за нее пятьсот рублей заплатил; а если б была она коньком — и цены бы ей не было!

Стал спрашивать Вольга, как зовут оратая по имени, величают по отчеству?

Говорит оратай:

— Пройдет лето, напашу я ржи, в скирды сложу, домой свезу, вымолочу; пива наварю, гостей назову: станут мужички зазывать меня, величать: здравствуй, молодой Микулушка Селянинович!

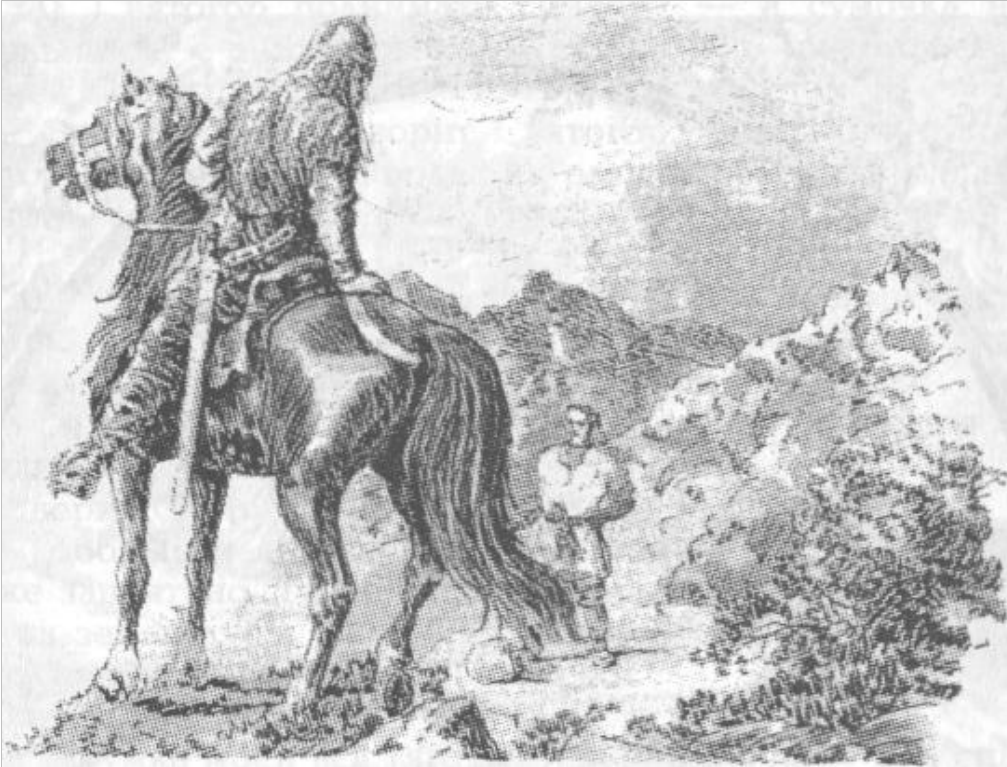
Приехали Вольта с Микулушкой в Ореховец, Гурчевец да Крестьяновец. Как увидели жители богатырей, намостили мосты гнилые через реки; поехала дружинушка Вольги — мосты под ней развалились; добрые молодцы в воду попадали.

Ударили тут Вольта с Микулушкой коней своих. Взвились кони, как стрелы, через реку вихрем перелетели. Расправились богатыри с изменниками по-своему: не будут другой раз в спор вступать с добрыми молодцами могучими!

А на возвратном пути заехал Вольга с дружиною к Микулушке на богатый пир.

Ласково приняли молодого богатыря красавицы, дочери Микулы Селяниновича: напоили, накормили досыта, ласковым словом проводили и встретили; гусяры-певцы на пиру богатырские подвиги в песнях славили. И пировали, гуляли добрые молодцы три дня и три ночи в гостях у Микулушки.





СВЯТОГОР

Силен и могуч богатырь Святогор; не только нет на свете такого человека, который бы с ним на бой вышел, сам Святогор не может совладать со своей силушкой; тяжело ему носить ее в себе, чувствует, как силушка по жилам его бьется, переливается. Вырос Святогор выше лесу стоячего, выпрямится — достает до облака ходячего; земля колеблется под его богатырскими шагами, пойдет по берегу — моря из берегов выливаются. Только и держат еще на себе богатыря Святых гор утесы каменные; они одни как-никак выносят на себе его мощь богатырскую.

Выехал однажды Святогор в раздолье — чистое поле и видит — идет впереди него мужичок прохожий небольшой, невидный, идет — не торопится, на плечах несет сумочку переметную.

Едет Святогор час, другой; шибко конь богатырский поскакивает, бежит то вскачь, то рысью, а все не может догнать прохожего.

— Постой немножко, — кричит Святогор мужичку вдогонку, — что за диво: еду, еду, а догнать тебя не могу!



Снял прохожий с плеч сумочку переметную, положил ее на землю и приостановился.

Подъехал Святогор, спрашивает:

— А что лежит у тебя в сумочке?

Подними, сам узнаешь, — отвечает прохожий.

Стал Святогор поднимать сумочку — а сумочка не шевельнется, с земли не тронется, сколько ни старается над ней богатырь.

— Экое чудо! — говорит Святогор. — Сколько лет я скитался по свету, а не видал ни разу, чтобы нельзя было поднять, с места стронуть маленькой сумочки переметной.

Слез Святогор с коня, схватил сумочку обеими руками, собрал всю свою диковинную силушку, приподнял сумочку выше колен и чувствует старый богатырь, что ушел он по колена в землю, а по лицу не пот струится от натуги — кровь потекла богатырская.

Говорит Святогор прохожему:

— Добрый человек, скажи, не утаи, что у тебя в сумочке запрято. Тяжко мне от моей силушки, одной рукой из земли дубы с корнями выворачиваю, а тут не могу поднять такой маленькой сумочки.

Отвечал прохожий:

— В сумке моей вся тяга земная спрятана; не под силу поднять всю земную тягу даже и тебе, старый Святогор.

— А как звать тебя, добрый молодец?

— Зовут меня Микулушка Селянинович.

И стал Святогор спрашивать у Микулушки:

— Скажи мне, молодой Микулушка Селянинович, как мне разузнать о судьбе своей?

— Поезжай—ка ты, богатырь, все вперед до распутия, а потом возьми влево к северным горам. Там у горы стоит под деревом кузница, увидишь в ней кузнеца: он тебе расскажет всю правду о судьбе твоей.

Поехал Святогор дорогой прямоезжею; длился путь его три дня и три ночи; словно ветер, нес богатыря добрый конь; реки, моря перепрыгивал, широкие долины промеж ног пускал.

На третий день пути увидал Святогор кузницу и кузнеца. Кует кузнец два тонких волоса; огромные мехи раздувает.

Стал Святогор спрашивать кузнеца:

— Что куешь, добрый человек?

Отвечает кузнец:

— Я кую судьбу: кому на ком жениться. Есть и для тебя суженая, живет она в царстве Поморском, в престольном городе; только вот уже тридцать лет, как лежит больная красная девица, не встает с постели.

Не понравилось Святогору это предсказание.

«Поеду я в Поморское царство, — думает себе богатырь, — да убью свою суженую; тогда не надо будет и жениться».

Задумано — сделано. Нашел Святогор свою суженую; лежит красная девица в бедной избенке, всеми покинута; вся корой обросла безобразной, двинуться не в силах.

Испугался богатырь такой невесты. Положил на стол пятьсот рублей, выхватил свой острый меч и вонзил его раз—другой красной девице в грудь, а сам бежать скорее. Вскочил на коня, поскакал, назад оглянуться не хочет.

А девица очнулась от богатырского удара, посмотрела на себя, подивилась; сошла с нее кора, и стала она красавицей невиданной, неслыханной; очи у ней как у сокола, брови соболиные, сама бела как снег, на щеках румянец, словно заря алая.

Нашла она на столе пятьсот рублей; обрадовалась, накупила товаров, завела торговлю, золотой казной разжилась; пустилась на корабле по морю синему, судьбы искать в странах заморских. Прошел о ней слух по всей земле: куда ни приедет, весь народ сбегается смотреть на красоту ее неописанную. Приехала она к Святым горам, сам Святогор вышел на нее полюбоваться.

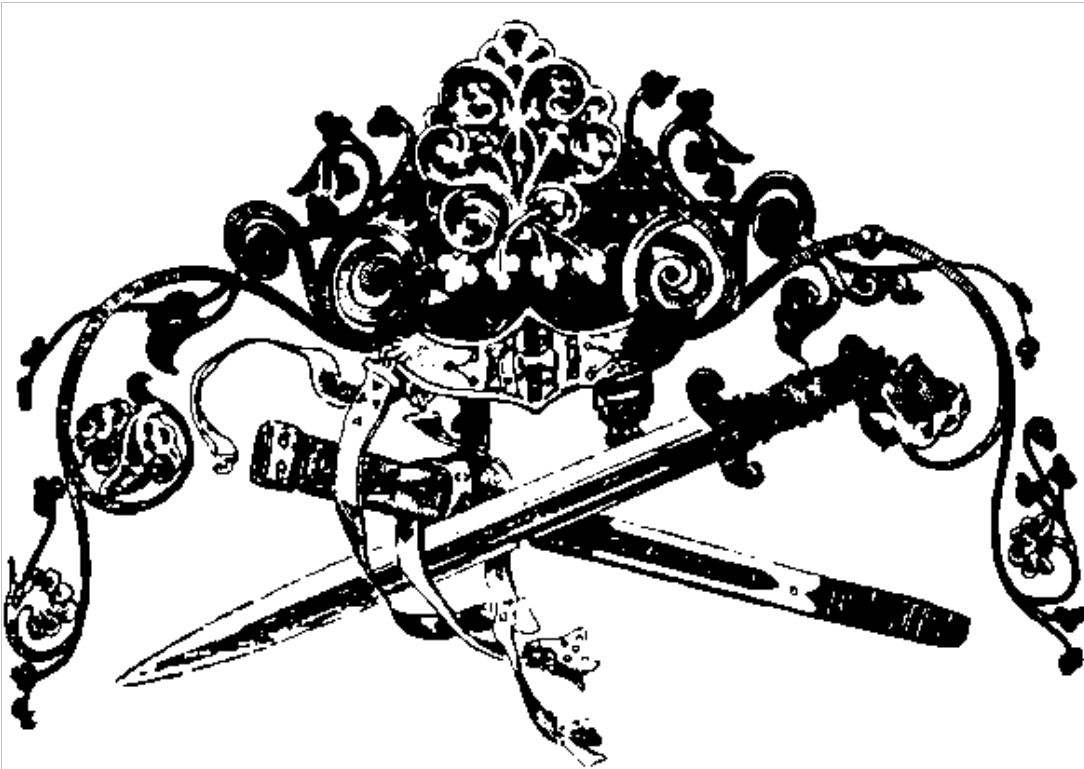
«Вот такую красавицу взял бы я за себя замуж!» — думает богатырь.

И девице Святогор полюбился. Сосватались они тут да и поженились. Рассказала однажды Святогору жена молодая о своей прежней жизни: как она больная лежала, как выздоровела, как заезжий богатырь денег ей оставил.

— Да ведь тот богатырь и был я сам! — сказал Святогор.

Подивились тут оба на судьбу свою, порадовались, что Бог их свел; стали жить, поживать да добра наживать.





ВСТРЕЧА СВЯТОГОРА С ИЛЬЕЙ МУРОМЦЕМ

Захотелось славному казаку Илье Муромцу повидать старого Святогора. Поехал Илья к Святым горам. Скитался долго по утесам добрый молодец, устал, а все Святогора не видно.

Прилег Илья отдохнуть немножко и заснул ни много ни мало на двенадцать дней.

Слышит Илья сквозь сон — храпит его конь богатырский, говорит ему человеческим голосом:

— Спишь ты, отдыхаешь, свет Илья Иванович, над собой беды близкой не чувствуешь: наезжает на нас Святогор-богатырь; полезай-ка скорее на сырой дуб, а меня отпусти в чистое поле.

Взобрался Илья на дуб, смотрит: приближается богатырь ростом выше леса стоячего, головой достает до облака ходячего; за плечами у него огромный ларь хрустальный.

Слез Святогор с коня, открыл ларь золотым ключом, вышла из ларя жена его, красавица, стала стол убирать, яствами сахарными устанавливать.

Увидала Святогорова жена Илью Муромца на дубу высоком, испугалась, как бы не разгневался на него Святогор, не убил бы во гневе доброго молодца, и спрятала жена богатыря Илью в карман Святогора еще и с конем вместе.

И день и два носит Святогор Илью у себя в кармане, сам про то не зная, не ведая, да стало невмочь коню Святогора такую тяжесть на себе поднимать: ходит конь — спотыкается, припадает на резвые ноженьки.

Гневается Святогор на коня:

— Ах ты, травяной мешок! Что ходишь лениво, на каждом шагу спотыкаешься?

— Как же мне не спотыкаться? — говорит конь. — Возил я, бывало, тебя, богатырь, да жену твою богатырскую, а теперь уже третий день, как ношу двух могучих богатырей да еще коня Ильева.

Почувствовал Святогор, что в кармане у него что-то шевелится, сунул туда руку, достал из кармана Илью Муромца вместе с конем.

— Кто ты такой, добрый молодец, откуда родом? — спрашивает Святогор.

— Зовут меня Ильей Муромцем, а родом я из села Карачарова.

Говорит Святогор Илье:

— Будь же ты мне меньшим братом, а я научу тебя всем похваткам, поездкам богатырским.

И поехали богатыри в путь-дорогу вместе по горам и скалам; ездили долго ли, коротко ли — наехали на дивное диво: стоит на горе огромный гроб каменный, а около него лежит каменная крышка.

Говорит Святогор Илье:

— Полезай-ка ты, старый казак, Илья Муромец, в этот гроб каменный: посмотрим, придется ли он тебе по мерке.

Лег Илья в гроб — гроб ему не по мерке: и широк, и длинен.

А как вышел Илья из гроба да лег Святогор на его место — пришлась гробница Святогору по мерке, словно нарочно для него сделана.

— Меньший брат! — просит Святогор. — Накрой меня теперь крышкой!

— Нет, старший брат, не хочу тебя хоронить заживо. Это ты шутки надумал нехорошие!

Но Святогор взял сам крышку и надвинул ее на гроб — случилось невиданное чудо: срослись края крышки с гробом; хочет Святогор подняться — не тут-то было, не хватает силушки поднять камень, что давит грудь его богатырскую.

— Душно мне, тяжело, брат меньшой! Помоги мне из гроба на Божий свет выйти!

Взял Илья богатырский меч Святогора, только не в силу старому казаку размахнуться им, по каменной крышке ударить.

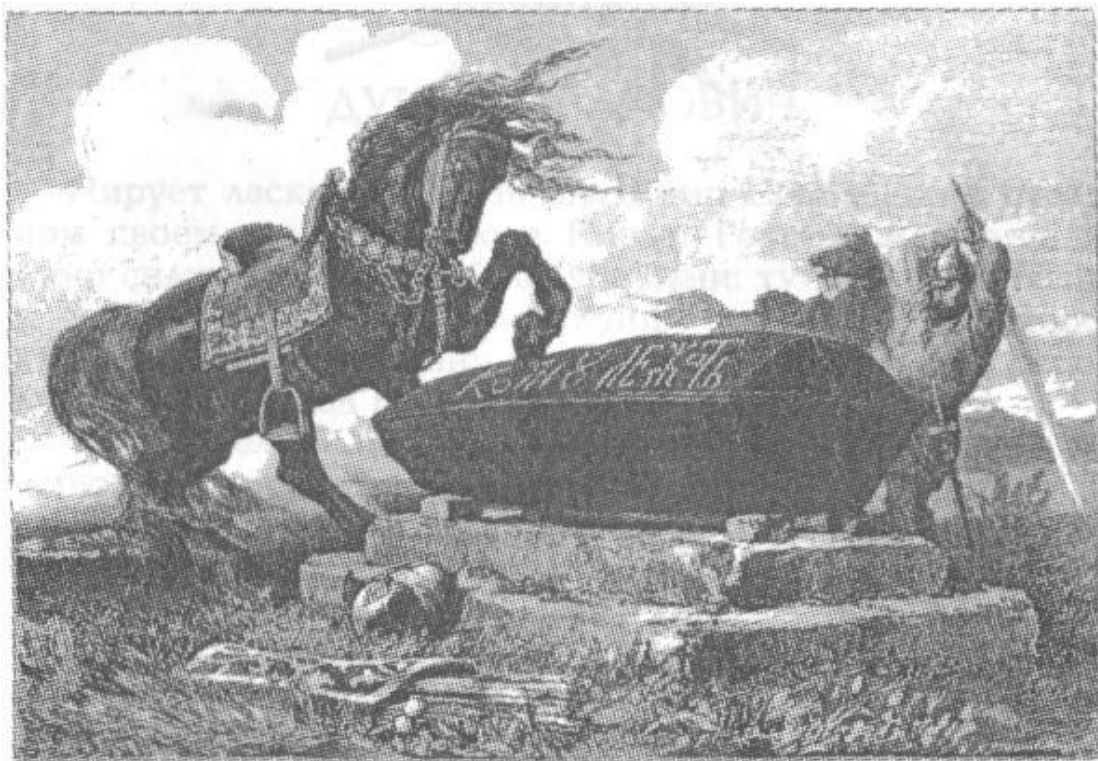
— Нагнись ко мне, — говорит Святогор, — ядохну на тебя духом своим богатырским!

Дохнул на Илью Святогор, и почувствовал Илья, как сразу в нем силушки прибавилось. Размахнулся он Святогоровым мечом и ударил по гробовой крышке.

Зазвенел меч о камень, погнулся, а на месте, где им Илья ударил, поперек всего гроба полоса железная выросла.

Ударил Илья еще раз — другая полоса железная по крышке протянулась.

Стонет, задыхается Святогор.



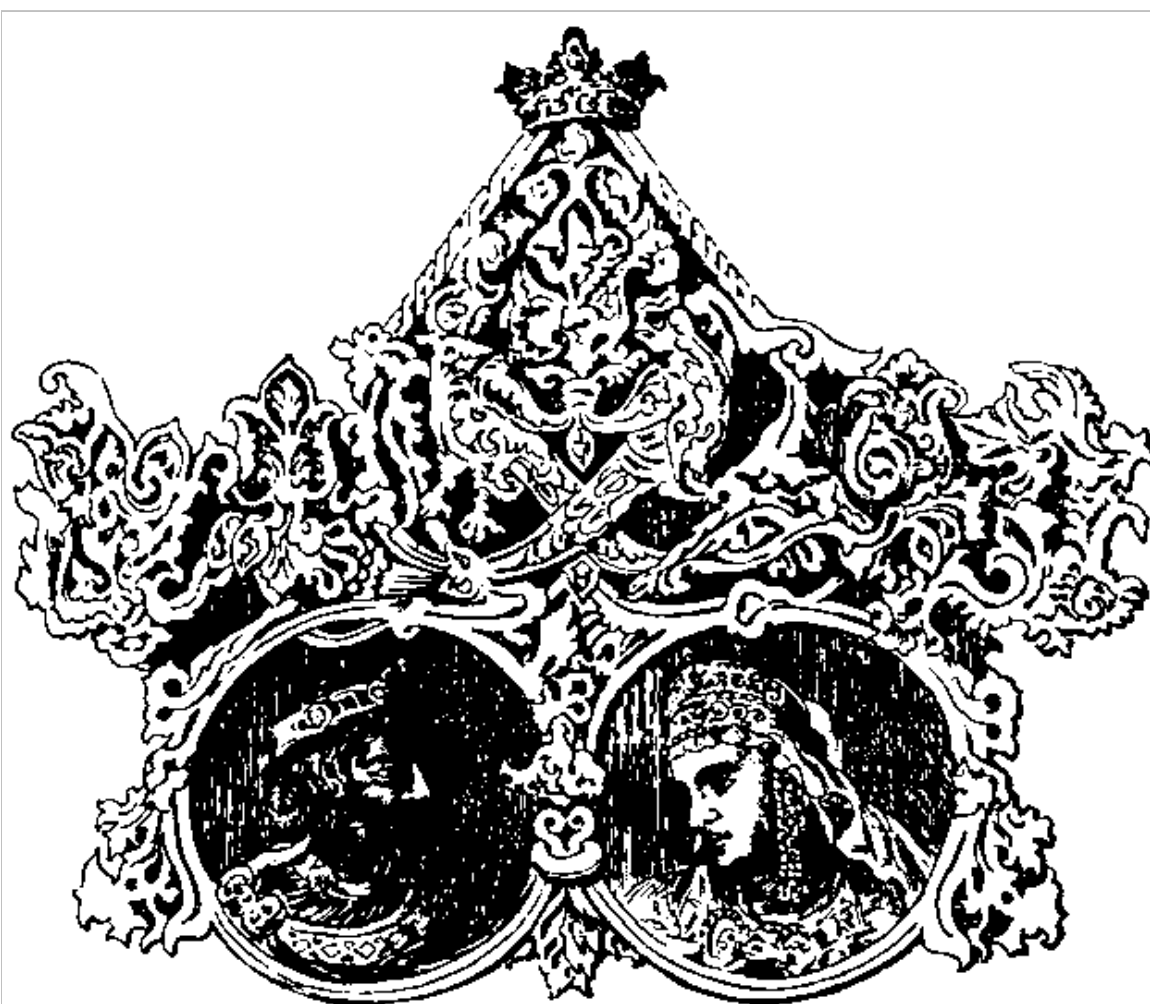
— Нагнись еще, меньший брат,дохну на тебя еще своим духом богатырским, передам тебе всю свою великую силушку: может быть, тогда освободишь меня.

— Будет с меня и этой силы, — отвечал Илья, — передашь ты мне всю свою диковинную силушку — и меня тогда, как тебя, мать земля носить не станет.

Тогда Святогор промолвил:

— Хорошо ты сделал, меньший брат, что меня сейчас не послушал:дохнул бы я на тебя мертвым духом. Тут бы тебе и конец был. Прощай же — видно, мне судьба здесь смерть принять. Владей моим мечом—кладенцом, а коня моего привяжи здесь ко гробу; никому не совладать с ним — никого не будет носить он после меня.

Распрощался Илья со старшим своим братом названным; три раза в землю дивному гробу поклонился, пролил слезу горячую, призадумался, да и поехал тихонечко в путь–дороженьку дальнюю.



ДУНАЙ ИВАНОВИЧ

Пирует ласковый князь Владимир Солнышко в стольном своем славном городе Киеве. Гостей видимо–невидимо сидит за столами белодубовыми: тут и князья–бояре и богатыри могучие; тут и купцы торговые, и мужики

деревенские. Длится пир и день и два: вино и мед рекой льются; нет конца переменам яств сахарных.

Посмотрел Солнышко на веселых гостей своих, пригорюнился, призадумался да и говорит:

— Все-то здесь у меня на пиру добрые молодцы женатые, у меня одного нет жены, а у вас княгинюшки. Не с кем жить мне, не с кем совет держать. Кто из вас не знает ли для меня невесты? Чтобы лицом была пригожая и речи умела вести разумные: была бы мне доброй женой, а вам княгинюшкой ласковой.

Молчат все гости в ответ на речь князя; младший за старшего прячется. Один только добрый молодец, богатырь Дунай Иванович, вышел из-за стола, поклон князю низкий отдал и промолвил:

— Князь Солнышко! Знаю я для тебя невесту: в литовском царстве у короля есть две дочери красавицы: старшая Настасья-королевична все по полю чистому ездит, ищет подвигов богатырских; младшая Евпраксия живет дома, сидит в тереме высоком, тридесатью замками заперта, чтобы солнышко не пекло ее лица белого, чтобы добрые люди красоты ее несравненной не сглазили. Во всем свете не сыскать другой такой красавицы и разумницы, как Евпраксия-королевична: будет она тебе, князь, хорошей женой, а нам княгиней ласковой.

Понравились Владимиру речи Дуная.

— Возьми ты у меня, Дунаюшка, — сказал он, — сорок тысяч воинов, возьми и казны золотой, сколько надобно, и поезжай скорее в Литву сватать за меня прекрасную Евпраксию: если не отдадут ее тебе добром, добудь силою, только привези мне мою суженую, а я тебя награжу всем, чего сам пожелаешь: и городами с пригородами, и селами с приселками, и серебром, и золотом, и скатным жемчугом.

И поднес князь богатырю чару зелена вина в полтора ведра.

Взял Дунай чару одной рукой, выпил ее единым духом — не поморщился; выиграло в нем сердце богатырское; говорит Дунай князю:

— Солнышко Владимир! Не надо мне ни казны, ни воинов. Отпусти только со мной в Литву моего любимого товарища, Добрыню Никитича, да дай нам двух коней неезженных, да две плетки нехлестанные, да два новых седельшка черкасских!

И наутро выехали два богатыря из стольного Киева: видели, как они на коней садились, только не видели, как они в путь-дорогу ехали: вспорхнули добрые молодцы, словно два сокола, — только их и видели.

Едут не день, не два — едут неделю-другую и приехали в Литву храбрую, прямо на двор королевский. Говорит Дунай Добрыне:

— Останься пока, Добрынюшка, около коней во дворе королевском и сам поглядывай на окна палат белокаменных: если что понадобится да позову тебя — поспеши мне на помощь.



Расстались богатыри. Идет Дунай во дворец к королю литовскому. Знает добрый молодец обычаи заморские: крестом себя не осеняет, Богу не молится — кланяется королю в пояс.

Узнал король Дуная, обрадовался:

— Здравствуй, Дунаюшка, куда путь держишь? Еще послужить мне не хочешь ли? Был ты мне верным слугою: год прожил конюхом, а другой год чашником, а третий стольником; за твои службы усердные посажу я тебя за большой стол на большое место, ешь, пей досыта.

— Батюшка король! — отвечает Дунай. — Приехал я с добрым делом: послал меня ласковый Владимир князь сватать за него дочь твою, прекрасную Евпраксию—королевичну. Прислал тебе Солнышко на этом и грамоту свою государскую.

Нахмурился король, разгневался:

— Не за свое ты дело взялся, Дунай Иванович. Где же это видано, чтобы младшую дочь раньше старшей присватывать, замуж выдавать!

И позвал король своих татар:

— Возьмите—ка вы Дуная за белые руки да заprite его в погреба глубокие, закройте решетками железными, задвиньте досками дубовыми, сырой землей сверху засыпьте. Пусть погостит у нас в глубоком погребе, на досуге думу раздумает.

Вскочил тут Дунай из—за стола на резвые ноги: как уперся руками в столы белодубовые — все столы закачались, посуда порассыпалась, напитки поразливались, все татары перепугались. Перескочил тут Дунай через золотой стул, схватил татарина за ноги, стал им направо, налево помахивать, других татар побивать. Сам король со страху бежит по палате, шубой от Дуная прикрывается, уговаривает доброго молодца:

— Уймись, свет Дунаюшка, не гневайся, попомни мою прежнюю хлеб—соль королевскую, не губи моего народа, слуг верных. Садись лучше со мной за дубовый стол; отдам за князя Владимира дочь свою Евпраксию; дам ей в приданое и коней добрых, и казны, сколько надобно.

— Не умел ты меня, добра молодца—свата, честью встретить, так я без тебя управлюсь; сам возьму, что мне понравится!

Пошел Дунаюшка по палатам королевским: в дверь плечом упрется — и ключей не надо: сами двери настежь отворяются; и добрался Дунай до высокого золотого терема, где сидела за тридцатью дверьми, тридцатью замками запертыми прекрасная королевична Евпраксия.

Спрашивает Дунай Евпраксию:

— Пойдешь ли, красная девица, замуж за нашего князя — Владимира Солнышко?

Отвечает королевична:

— Три года я о том Бога молила, чтобы мне за вашего князя замуж выйти!

Взял тогда Дунай королевичну за белые руки, прихватил с собой и слуг королевских, и золотой казны — выходит на двор палат белокаменных, а на дворе Добрынюшка как услышал, что обижают Дуная, принялся с татарами расправляться: уложил народу семь тысяч и псов пятьсот штук без малого.

Увидав Дуная с Евпраксией, унялся тут Добрыня, положил гнев на милость. Сели богатыри на коней и выехали в раздолье чистое поле вместе с невестой княжеской.

Говорит по дороге Евпраксия прекрасная:

— Слушай, тихий Дунаюшка Иванович, есть у меня сестрица молодая, Настасья–королевична: ездит она в чистом поле, богатырствует; носит доспехи булатные, стрелы каленые пускает; силушку дал ей Бог великую. Смотри, не делай ей зла, если с ней в поле встретишься.

* * *

Едут богатыри день, другой, застигла их в пути ноченька темная; поставили они палатку белую полотняную, в ногах привязали добрых коней, в головах воткнули острые копья, в правую руку взяли саблю, а в левую кинжал булатный и легли спать. Спят крепко, отдыхают, однако слышат сквозь сон, как какой–то татарин ездит по чистому полю.

Встали раненько утром, росой умылись, Богу помолились, в путь пустились; слышат — едет за ними татарин в погоню.

Говорит Дунай Добрынюшке:

— Вези–ка ты, Добрынюшка, Евпраксию–королевичну в Киев к Владимиру с великою почестью, а я хочу с богатырем силой помериться!

Так и сделали.

Повернул Дунаюшка коня за татариним вослед.

Ехал долго ли, коротко ли, догнал татарина; не затеял Дунай сразу битвы, стал с богатырем разговаривать.

— Зарычи–ка ты, татарин, по–звериному, засвисти по–змеиному!

Засвистал, зарычал татарин: в чистом поле камушки рассыпались от его крику молодецкого, травушка полегла, повяла, цветочки с корнями повывернулись, сам Дунай с коня свалился.

Вскочил Дунай, бросился на татарина; завязалась между ними борьба великая: скоро повалил Дунай татарина на землю, стал Дунай богатыря расспрашивать;

— Скажи, добрый молодец, не утай, как звать тебя по имени, какого ты роду–племени?

Отвечает татарин:

— Если б я тебя с коня сшиб — не стал бы я тебя об имени твоём расспрашивать, а распорол бы булатным кинжалом твою грудь белую.

Уже поднимает Дунай свой кинжал булатный, да вдруг сердце в нём встрепенулось, руки в плечах застоялись, не поднимаются руки на татарина.

Говорит ему татарин:

— Как это не узнал ты меня, тихий Дунаюшка: разве мы прежде по одной дорожке не езживали, за одним столом не сиживали?

Узнал тут Дунай Настасью–королевичну, обрадовался.

— Поедем же со мной, красная девица, в стольный Киев; в церкви Божьей повенчаемся — будешь мне женою!

Сели они на коней и поехали в Киев: поспели к тому времени, как в соборной церкви венчали прекрасную Евпраксию с князем Владимиром. Тут же повенчали и Настасью–королевичну с Дунаем–богатырем, и затеялся великий пир в палатах великокняжеских.

Пируют день, другой; развеселились гости; сам Дунай на радостях расхвастался:

— На всем свете не найдется второго такого богатыря, как Дунай Иванович: князя Солнышка женил, самому себе по сердцу жену нашел.

— Не хвастайся, свет Дунай Иванович, — говорит ему молодая жена, — есть и получше тебя богатыри: никто не поспорит красотой с Чурилой Пленковичем, смелостью с Алешей Поповичем, вежеством с Добрыней Никитичем. Есть и мне чем похвастаться, даром что я женщина: никто не поспорит со мной умением стрелять из лука. Выйдем–ка в чистое поле; положу я свое колечко серебряное тебе на голову, за колечком поставлю острый нож; как пушу я из лука стрелочку каленую, пройдет стрела через колечко по острию ножа, расколется на две равные половинки; на глаз будут половинки равны, на вес верны.

— Посмотрим, — говорит Дунай, — не даром ли ты хвастаешься!

И пошли они в поле; стала Настасья стрелы пускать; каждая стрела сквозь колечко проходит, на острие ножа на две равные половинки раскалывается.

Захотелось и Дунаю попробовать свое умение, да не тут–то было. Стал стрелять; первый раз стрелял — не дострелил, а второй раз — перестрелил.



Рассердился Дунай на жену; стыдно ему стало, что она, женщина, лучше его стрелять умеет, и говорит ей грозно:

Становись-ка в третий раз передо мной — теперь уже выстрелю я, как следует — не промахнусь.

Видит Настасья — недоброе муж замышляет; упала перед ним на колени, просит, молит:

— Прости мне, Дунаюшка, похвальбу мою неразумную, побей меня, накажи — только не казни лютой смертью!

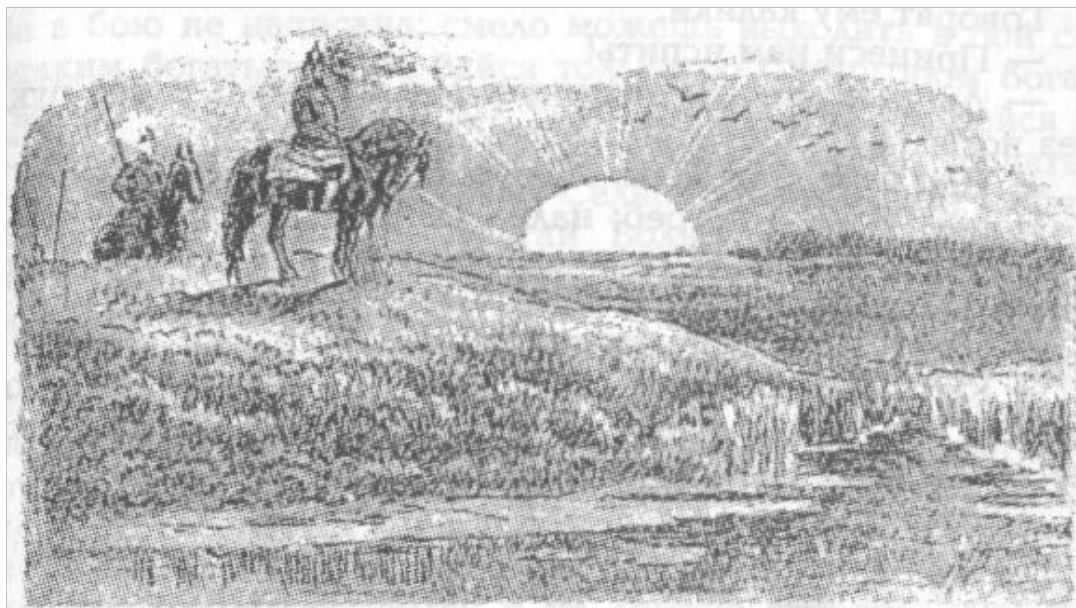
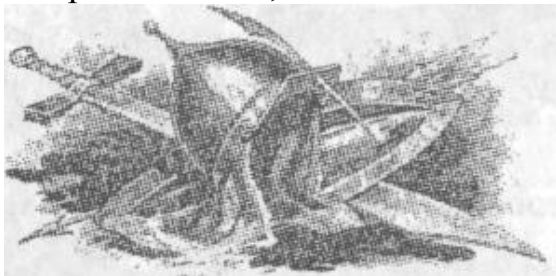
Не слушает Дунай, крепкий лук натягивает, и пустил стрелу Настасье прямо в темечко, и не охнула бедная, как сноп на землю повалилась.

Спohватился тут Дунай; жалко ему стало молодой жены своей.

— Погубил я душу невинную; пусть же там, где пала головушка белой лебеди, и сокол ясный голову свою сложит!

Взял Дунай свой острый меч и пронзил им свою грудь белую.

И потекла Дунай–река от крови его богатырской, а от крови Настасьи другая потекла быстрая реченька: одна река в другую вливается, на быстрые ручейки распадаются, по земле светлыми струйками разливаются.



ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

Под старым городом Муромом, среди лесов дремучих да болот и топей непроходимых, жил в богатом селе Карачарове исправный крестьянин Иван Тимофеевич с женою своей Евфросиньею Яковлевной.

Под старость уже послал им Господь Бог сына, которого они называли Ильей. Всем бы взял Ильюша: был он и здоров, и крепок, и разумом вышел — одно горе: не владел он ни руками, ни ногами, сидел сиднем тридцать лет.

Сидит однажды Илья в избе один–одинешенек; пора была летняя, страдная; все ушли работать на дальнее поле; сидит Илья, о своей участи

горькой раздумывает и слышит, подходят под окна его избы двое калик перехожих. Стучатся калики в окно:

— Отвори-ка нам дверь, Илья Муромец, пусти к себе в дом калик перехожих отдохнуть по пути.

Отвечает Илья:

— Не могу я, Божьи люди, с места сдвинуться, ворот отворить: сижу я сиднем вот уже тридцать лет; не владею ни руками, ни ногами.

Но повторяют калики свою просьбу и во второй, и в третий раз. Шевельнулся Илья на печи: что за диво! Чувствует, что может встать; резвые ноженьки его держат, руками он владеет. Вскочил Илья живо с печи, отворяет каликам ворота, в дом их к себе ведет.

Говорят ему калики:

— Принеси нам испить!

— Добрые люди, — отвечает Илья, — ведь я без рук, без ног!

— Иди себе, иди, Илья Иванович! Нас не обманывай!

Пошел Илья в погреб; налил чару зелена вина в полтора ведра, приносит каликам. Дали калики Илье испить того вина, спрашивают Илью:

— Много ли в себе чувствуешь силушки?

— Кабы был от земли столб до неба, а в столбе кольцо золотое, — говорит Илья, — взял бы я за это кольцо, всю бы землю разом перевернул.



Переглянулись калики:

— А ну, Илья, принеси нам еще чашу бражки.

Пошел Илья в погреб; идет, по дороге за дуб хватится — дуб с корнем из земли вырвет, ноги у него по колена в земле вязнут. Принес он браги; дали ему еще выпить калики.

— Сколько теперь, Илья, чувствуешь в себе силушки?

— Божьи люди, теперь во мне силушки половинушка!

— Довольно с тебя и этой силушки, — говорят калики, — будешь ты, Илья, великим богатырем и смерть тебе в бою не написана; смело можешь выходить в бой со всяким богатырем, не бейся только со Святогором богатырем — его и сама земля через силу носит, не бейся с Самсоном великим — его стерегут ангелы Божьи, не затевай борьбы с родом Микулы Селяниновича — его любит мать-земля сырая; не трогай Вольгу Святославича — этот, если силой не возьмет, одолеет тебя хитростью-мудростью.

Слушай еще, как достать себе коня богатырского: пойди ты в чистое поле, купи первого жеребчика, какого встретишь, поставь его у себя в конюшне на три месяца, откорми пшеницей белояровой. Через три месяца выводи коня по саду в три ночи, вываляй в трех росах утренних, подведи к высокому тыну; как научится конь тын высокий перескакивать по ту и по другую сторону — поезжай на нем, куда хочешь.

Тут простились калики с Ильей и скрылись из глаз. Заснул Илья по их уходу крепким сном богатырским; спал ни много ни мало целых двенадцать дней.

Пришли домой с работы родители и сестры Ильевы, увидели, что Илья руками, ногами владеет, изумились, глазам своим не верят, плачут от радости.

Спрашивает Илья у родителей:

— Родители мои милые, где вы крестьянскую работу работали?

— Работали мы, Ильюша, луг-пожню за три версты от дома.

— Сведите меня на ту пожню, укажите мне мою работу!

Стал Илья лес расчищать; старые деревья с корнем повыворотил, повалил, надломил дубы крепкие, распахал поле великое, запрудил корнями речку быструю; столько один в три часа наработал, сколько отец, мать с работниками в три дня не сделали.

Купил себе меж тем Илья жеребчика у мужика-прохожего, как ему калики советовали, дал за него цену неслыханную, пятьсот рублей с полтиною, выкормил, вырастил, в росах вывалял; стал жеребчик конем на диво, Илье верным другом-товарищем.

Пошел Илья к родителю просить благословения на путь–дорогу, на великие подвиги.

Не гром гремит, не стук стучит — то Илья к отцу речь держит; не сырой дуб к земле клонится, не листочки его расстилаются — то Илья отцу земно кланяется, просит себе благословенья:

— Родимый ты мой батюшка! Дай мне своего благословенья в славный стольный Киев–град поехать, киевским чудотворцам поклониться, послужить верой–правдой солнышку Владимиру, постоять за веру христианскую.

Отвечает старый крестьянин, Иван Тимофеевич:

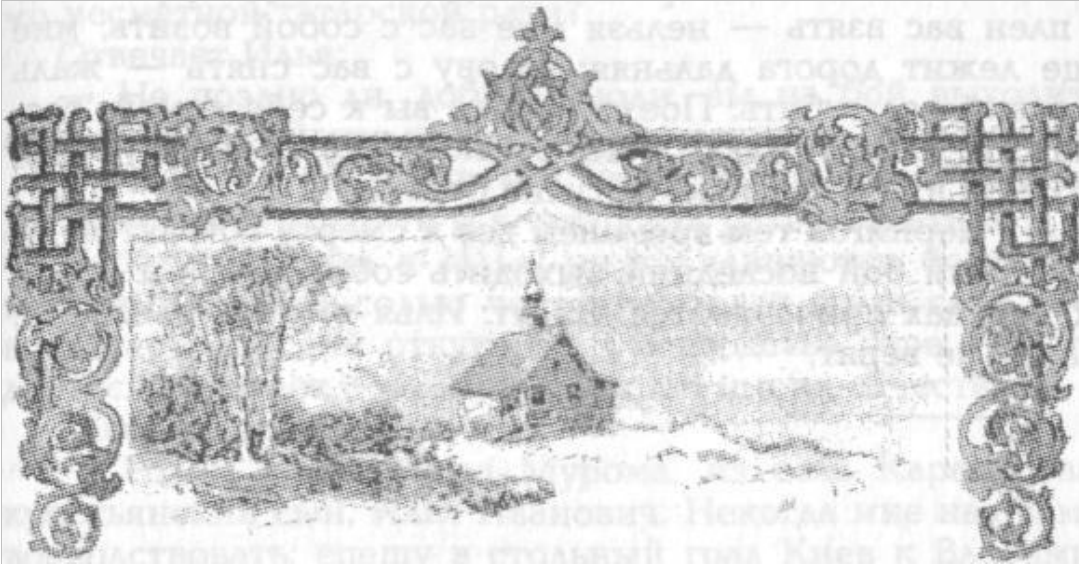
— Поезжай с Богом; на добрые дела даю тебе свое благословение родительское; только на худые дела нет тебе моего благословения; не проливай напрасно крови христианской, не делай зла даже и татарину, за сирых, бедных заступайся.

Поклонился Илья отцу с матерью до земли, пошел снаряжаться в путь–дороженьку: выковал себе из трех железных полос три стрелы могучие; стал Илья и меч себе разыскивать — только не нашлось по нем меча: возьмет Илья меч за рукоять, тут рукоять у него в руке и останется. Сковал тогда себе Илья копьё булатное, доброго коня оседлал; положил войлочки на войлочки, потнички на потнички, поверх всего надел на коня седло черкасское с двенадцатью шелковыми подпругами, а тринадцатая была всех крепче, из железа выкована.

Пошел Илья к горе силу пробовать; уперся в гору — гора свалилась в реку, вода в новое русло повернула, и доныне обвал тот старики молодым показывают.

Зашил Илья в ладонку горсть земли родимой, надел ее на шею, пустил корочку хлеба по Оке–матушке за то, что тридцать лет кормила его Ока, поила; отстоял службу Божью; сел на доброго коня и поехал в чужедальнюю сторонушку.





ИЛЬЯ МУРОМЕЦ ПОД ЧЕРНИГОВОМ

Едет Илья Муромец по чистому полю, к Киеву городу торопится: ударил он коня по крутым бедрам; рассердился ретивый конь, скачет выше леса стоячего, чуть пониже облака ходячего, на реках броду не спрашивает, с берега на берег перепрыгивает: первый скок скочил — на пятнадцать верст вперед ушел, в другой раз скочил — колодезь скачком пробил; у колодезя срубил Илья сырой дуб, поставил часовеньку, написал на ней свое имя. В третий скок принес Илью конь к городу Чернигову.

Под Черниговом стоит сила несметная: три татарских царевича, с каждым сорок тысяч воинов; от пыли да пару лошадиного не видать днем красного солнышка, не видать вечером ясного месяца; из города жителям нет ни входа, ни выхода.

Разгорается в Илье сердце богатырское, жарче Илья распаляется; стал добрый молодец думу думать:

«Как быть? Не побью татар — исполню завет отцовский; побью — жителей освобожу черниговских».

И решил Илья помочь народу христианскому — освободить Чернигов от злых полчищ татарских.

Взял Илья в руки саблю острую; где размахнется — лягут целой улицей татары побитые, повернется — набьет татар целой площадью, тех конем потопчет, тех стремянами помнет. Пробился Илья к трем царевичам, приостановился, да и говорит:

— Что же мне теперь с вами делать, цари царевичи? В плен вас взять — нельзя мне вас с собой возить; мне еще лежит дорога дальняя; голову с вас снять — жаль царский род губить. Поезжайте-ка вы к себе домой,

расскажите своим людям, что русская земля не опустела, что есть в ней славные, могучие богатыри!

А в Чернигов тем временем все к смерти готовятся, на страшный бой последний выходить собираются; в Божьих церквах причащаются. Видят: Илья в город въезжает, глазам не верят.



— Как это ты, добрый молодец, в город пробрался мимо несметной татарской рати?

Отвечает Илья:

— Не поздно ли, добрые люди, вы на бой выходить собрались? Взойдите—ка на стену, взгляните в чистое поле.

Пришли на стену жители черниговские: что за диво дивное? Лежит побита вся татарская рать несметная.

Побежали назад к Илье, низко кланяются богатырю могучему, хлебом—солью чествуют; зовет его к себе воевода черниговский откусать, и воеводство свое ему отдает, спрашивает о роде—племени, об имени—отчестве.

Говорит Илья:

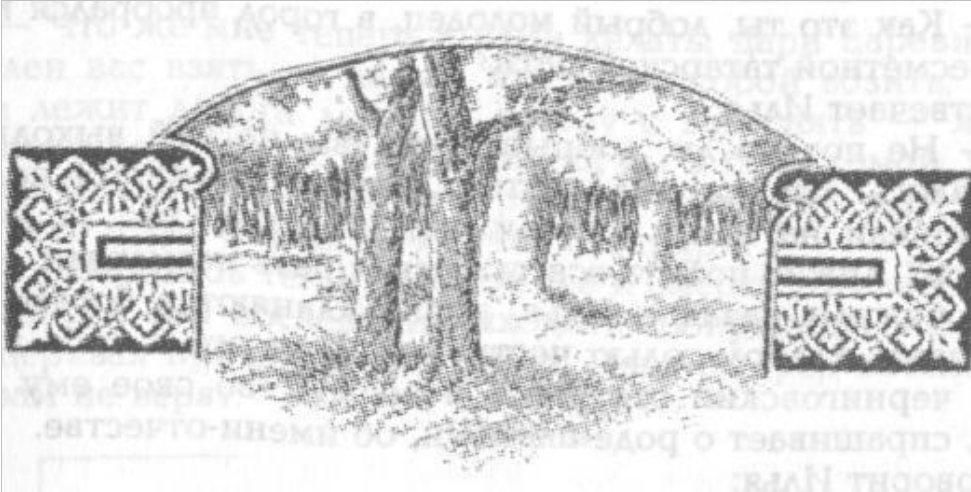
— Родом я из города Мурома, из села Карачарова, крестьянский сын, Илья Иванович. Некогда мне над вами воеводствовать; спешу в стольный град Киев к Владимиру князю; покажите мне туда дорогу прямоезжую.

Отвечают черниговцы:

— Нельзя тебе, добрый молодец, ехать дорогой прямоезжею; залегла ее река Смородина бурливая, болота, топи глубокие, и свил себе в тех краях гнездо Соловей—разбойник; зашипит по—змеиному, заревет по—звериному — потеряешь напрасно буйную головушку; нет там никому ни прохода, ни проезда.

— Стыдно мне, богатырю, бояться реву звериного, шипу змеиного, стыдно мне по окольным дорожкам прятаться; уж ехать — так ехать прямо! — говорит Илья черниговцам и повернул коня прямо к реке Смородине, в Брынские леса густые.





ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ–РАЗБОЙНИК

Приехал Илья Муромец в темные леса Брынские, видит перед собою дивное диво: стоят рядом девять дубов могучих, вершиной в облако небесное упираются; пусто все кругом; глушь, топь непроходимая; бежит из этих страшных мест всякая тварь живая, от злодея Соловья–разбойника, что в дубах развесистых залег, от людского глаза прячется.

Услышал Соловей топот коня богатырского, засвистал по–соловьиному, зашипел по–змеиному, зарывал по–звериному; конь под Ильей со страху на колени пал.

Рассердился Илья Муромец на своего бурушку:

— Ах ты, травяной мешок! Только и годен ты волкам на съедение! Чего боишься? Неужели не слыхал никогда реву звериного, шипу змеиного?

Натянул Илья свой тугой лук; взвилась каленая стрела, угодила Соловью прямо в правый глаз, свалился Соловей с дуба.

Подобрал тут Илья разбойника, привязал к луке коня и поехал с ним в гнездо Соловьиное. Состроил себе Соловей палаты на диво из добра награбленного. Двор у Соловья на семи верстах, обнесен весь железным тыном, на каждой тычинке по маковке, на каждой маковке по голове богатырской воткнуто. Стоят за оградой три терема златоверхие, сады их окружают тенистые, зеленые, цветами алыми расцвеченные. Под каждым теремом вырыты подвалы глубокие; много лежало в них серебра, золота, камней драгоценных, скатного жемчуга горами наложено.

Вышла Соловьева жена на широкий двор, смотрит в трубку подзорную, видит недоброе дело: едет чужой богатырь, везет с собой ее мужа к седлу привязанного.

Бросилась она с чердака в терем, разбудила девять сыновей своих.

— Встаньте, проснитесь, ясные мои соколы! Пойдите в глубокие подвалы, отомкните кованые ларцы: едет чужой человек, везет отца вашего, ремнями к седлу привязанного; просите, молитесь чужого богатыря, чтоб отпустил на волю отца вашего; приготовьте подарки богатые: серебра, золота, скатного жемчуга.

Не стали слушать матери удалые сыновья разбойника: надумали они недобрую думушку:

— Обернемся черными воронами, заклюем Илью Муромца, отца на свободу выпустим!

Вышла старшая дочь Соловьева, Польша, к воротам, ухватила подворотню в девяносто пуд, у ворот ждет, притаилась. Стал Илья въезжать во двор — замахнулась на него Польша подворотней что было силы; отвел Илья ее руку легонечко, попала подворотня в самую богатыршу, тут Польше и смерть пришла.

Видят жена и дети Соловьевы, что не в силах они с Ильей бороться; принесли ему богатый выкуп, просят, молят, чтобы отпустил разбойника на волю.

Не послушал Илья просьб их, повез Соловья в Киев. Бежит конь Ильи быстрее сокола: вот они уже и на Днепре реке, а перевозчицей была тут старшая дочь Соловья, Катюша. Просит ее разбойник:

— Дочь моя любимая, Катюшенька, не перевози ты богатыря на другую сторону: проси раньше, чтоб отпустил он на волю твоего отца-старика, — тогда перевезешь Илью на другой берег.

Слез тут Илья со своего бурушки; в левую руку взял шелковый повод, а правой рвет с корнем дубы крепкие; намости́л из дубов мост прочный через Днепр, сам перешел и коня перевел.

Вынул тогда Илья из кармана шелковую плетку о семи ремнях, говорит перевозчице:

— Теперь мы с тобой, красная девица, рассчитаемся!

Ударил раз Катюшу — с ног она свалилась; ударил другой — тут ей и смерть приключилась.



Было время после обедни воскресной, как приехал Илья Муромец в Киев к ласковому князю Владимиру, прямо на двор великокняжеский; привязал Илья бурушку к столбу белодубовому посреди двора, наказал бурушке крепко—накрепко:

— Береги, бурушка, пуще глаза Соловья–разбойника, чтоб не ушел он из стремени булатного.

Вошел Илья в палаты княжеские, помолился образу Спаса Пречистого, отдал поклон на все стороны, особенным низким поклоном поклонился князю с княгинею, все исполнил, как надо, по обычаю.

Ласково встретил богатыря Владимир князь, велел поднести ему чару зелена вина в полтора ведра, стал Илью расспрашивать:

— Расскажи нам, добрый молодец, какого ты роду–племени, чтобы нам знать, как называть тебя, величать, какое тебе место дать?

— Ласковый князь, зовут меня Ильею Ивановичем; родом я из города Муром. Приехал я к тебе в Киев дорожкой прямоезжею, торопился поспеть к заутрене, а и к обедне не поспел. Задержали меня дела важные.

Говорят князю бояре:

— Ласковый князь! В глаза тебе лжет богатырь: ведь дорога прямоезжая к Киеву залегла вот уже тридцать лет: не дает Соловей–разбойник ни проезда, ни прохода ни одному человеку. Не выпил ли добрый молодец по дороге лишнюю чару зелена вина, что больно расхвастался!

— Солнышко–князь! Оттого я в дороге и позамешкался, что очищал ее от Соловья–разбойника: самого Соловья я привез на твой широкий двор к седлу привязанного; не хочешь ли взглянуть на мою удачу богатырскую?

Тут поднялись с мест и сам князь и гости, побежали на двор Соловья смотреть. Стал Владимир Соловью приказывать:

— Зашипи–ка, Соловей Рахманович, по–змеиному, зареви по–звериному.

Отвечает Соловей:

— Не твой хлеб, князь, кушаю; не тебя и слушаю.

Просит Солнышко–князь Илью, чтобы заставил Соловья реветь да шипеть.

— Запеклись у Соловья уста, — говорит Илья, — кровью от раны запечатались; вели, ласковый князь, дать ему чару зелена вина в полтора ведра.

Взял Соловей чару одной рукой, выпил за один раз, попросил еще чару пива пьяного да чару меду сладкого, закусил калачиком крупичатым.

И велел Илья Соловью засвистать в полсвиста.

Не послушался Соловей; зашипел, заревел во всю мочь Соловьиную, оглушил в Киеве весь народ право–славный, сам Владимир–князь к земле пригнулся, подняться не может, прекрасная княгиня Евпраксия еле жива от страху.

Говорит Владимир Илье:

— Уйми Соловья — это шутки пошли плохие!

Расправился тут Илья с Словьем по-своему за все дела его злодейские: схватил его за желтые кудри да ударил о серый камень — с тем Словью и конец пришел.

А Илья заслужил себе честь, славу великую; и Владимир-князь затеял новый пир на радостях, что нет Словья в живых и некому больше изводить богатырей могучих, обижать христиан православных.



ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ИДОЛИЩЕ ПОГАНОЕ

Выехал однажды Илья Муромец в чистое поле; день был летний, длинный да жаркий; едет старый Илья, не торопится, отпустил на бурушке поводья шелковые.

Встречает Илья по дороге калику перехожую, говорит ему:

— Здравствуй, старчище-Иванище, откуда бредешь, куда путь держишь?

— Иду я, брат Илюшенька, ко святым местам, во святой град Иерусалим во Иордан-реке искупаться, ко гробу Христову приложиться, а был я только что в Царь-граде славном.

— Все ли в Царь-граде по-прежнему, по-бывалому, — спрашивает Илья, — так же ли в церквах Божьих звонят, такую ли же милостыню дают нищей братии — каликам перехожим?

— Нет, Илюшенька, пришли для Царь-града плохие времена; все в нем не по-прежнему; по-новому, да не по-хорошему. Завладел Царь-градом Идолище поганое; нет от него самому царю никакой воли, никому ни милостыни, ни пощады; святые образа из церквей повыносили, саблями порубили; не слышать звону колокольного.

Рассердился Илья на калику:

— Как же ты, старчище-Иванище, за церкви Божии не заступился, с Идолищем в бой не вышел! Силы у тебя вдвое больше, чем у меня самого, а трусости хоть отбав-ляй. Ну-ка, давай мне скорей твоё платье каличье, шапку земли греческой да палицу в девяносто пуд. Пойду я с Идолищем переведаюсь, а ты сиди тут, коня моего стереги, пока не вернусь.

Не смеет калика послушаться Ильи; поменялись они платьем.

Пошел Илья в Царь-град; каждый шаг по версте делает, земля под ним содрогается.

Говорят татары в Царь-граде:

— Что это за мужик-невежа сюда явился? Шумит, стучит без толку; наш Идолище, даром что в две сажени ростом, а шуму такого не делает.

Подошел Илья к окну царских палат белокаменных, кричит громким голосом:

— Великий царь Константин Боголюбович, подай мне, ради Христа, золотой милостыньки, пора мне уж перестать странствовать, да о душе подумать.

Пошатнулся терем от Ильева возгласа, хрустальные окна поразбивались, сердце у татар в груди замерло.

Узнал гостя царь Константин Боголюбович, обрадовался, а Идолище говорит:

— Позови-ка, царь, этого калику сюда в палаты, посади за стол белодубовый, хочу я поговорить с ним; накормим его досыта, напоим допьяна.

Посадили Илью за царский стол; сел с ним рядом Идолище поганое, стал его выспрашивать:

— Скажи мне, калика перехожая, видал ли ты на Руси богатыря Илью Муромца, каков он из себя?

— Как мне не знать Ильи; мы с ним братья крестовые; ростом он с меня и лицом на меня похож.

Усмехнулся Идолище:

— Невелик же ваш богатырь! А по многу ли Илья хлеба ест, зелена вина пьет?

— Ест Илья по три калачика крупчатых, зелена вина пьет на три пяточка медных.

— Плох же ваш богатырь, — говорит Идолище, — такого богатыря я на ладонь посажу, а другой прикрою — так из него и дух вон выйдет; дуну на него, и унесет его ветер в чистое поле. Вот я — так по три хлеба сразу ем; по три ведра зелена вина пью; шей целой бочки едва на обед мне хватает.

— Нашел чем хвастать! — отвечает Илья. — Вот у нашего батюшки была корова жирная; много она пила, ела, оттого и лопнула, как бы с тобой того же не случилось.



Не понравились татарину эти речи; схватил он нож острый, да как пустит им в Илью; Илья сам отклонился, нож правой рукой отмахнул — попал нож в дубовую дверь; упала дверь с петель, придавила двенадцать татар, что стояли за нею; кого убило, кого ранило; стонут раненые, клянут свое Идолище.

Тут Илья не стал долго раздумывать, хватил Идолище клюкой по голове раз, другой; свалился Идолище на пол, кричит не своим голосом.

Взял его Илья за ноги, стал им помахивать, побивать им татар неверных, сам приговаривает:

— Это оружие по мне: крепок татарин, не рвется, не разбивается.

Перебил Илья в три часа всю силу татарскую; благодарит его царь Константин Боголюбович, не знает с радости, как Илью принять, чем употчевать! Просит его навсегда в Царь—граде жить остаться.

— Будешь ты у нас, Илья Иванович, воеводою!

Говорит Илья:

— Добрый царь Константин Боголюбович! Служил я тебе всего три часа, а заслужил слово ласковое и хлеб—соль обильную — на том тебе великое спасибо. Жаль мне с тобой расставаться, да нельзя бросить своего товарища, поджидает он меня на дороге.

Отпустил Илью Константин Боголюбович, насыпал ему на дорогу целую миску красного золота, а вторую — чистого серебра, а третью — скатного жемчуга.

Взял Илья с радостью эти подарки, говорит:

— Это я все заработал!

Распрощался Илья с царем, поехал на поле, где поджидал его старчище—Иванище; видит Илья — сидит калика еле жив; не мог с конем богатырским справиться; мыкал, мыкал бурушка калику переходящую, совсем измучил.

Переменился Илья с каликой платьем, надел опять свои доспехи богатырские, назад в Киев поехал, говорит Иванищу на прощанье:

— Смотри, вперед не трусь! Не выдавай христиан поганым татарам, выручай из беды несчастных — на то тебе и силу Бог дал великую!





ССОРА ИЛЬИ С КНЯЗЕМ ВЛАДИМИРОМ

Пришел Илья на пир к князю Владимиру; входит богатырь в гридню княжескую, осеняет себя святым крестом, отдает поклоны по обычаю.

Не узнал князь своего могучего богатыря, который столько для него потруился, не одну тысячу врагов княжеских положил на месте. И говорит Владимир Илье:

— Не припомню тебя, добрый молодец, не знаю, как твое имя—отчество; садись с нами за стол; вот там в конце есть для тебя маленькое местечко; другие—то места получше все перезабраны князьями—боярами, дьяками думными, могучими богатырями да удалыми богатыршами.

Не понравились старому богатырю эти речи.

— Сам ты, князь, ешь, пьешь с воронами, а меня сажаешь с воронятами, где пониже да похуже. Я на это не согласен!

Разгневался князь, словно лев, потемнел, как ночь осенняя.

— Где это видано, чтобы кто—нибудь смел сравнивать нас всех с воронами да с воронятами! Встаньте—ка, богатыри могучие, возьмите этого человека под одну руку трое, да под другую трое, ведите его на широкий двор, отрубите ему буйную голову.

Размахнулся Илья правой рукой, стряхнул с себя троих богатырей; без памяти все на землю попадали; размахнулся левой — легли рядом и остальные трое.

Послал Владимир еще шесть, да шесть богатырей; всех смахнул с себя Илья — лежат на земле — не шелохнутся. Вынул тут Илья тугой свой лук, пустил стрелу каленую, приговаривает:

— Ты лети, стрела, к окошkam княжеским, отбей над окошками золотые маковки.

Набрал Илья золотых маковок целую груду, продал их, наменял денег видимо—невидимо; пошел по улицам киевским, собрал к себе всех бродяг, всю нищую братию; напоил их, накормил; зелена вина для них приказал выкатить целые бочки. Гуляет нищая братия, погуливает; за Илью Бога молит, неладные шутки по Киеву пошучивает.



Говорит Добрыня Владимиру Солнышку:

— Не знаешь ты, князь, не ведаешь, какого богатыря могучего ты обидел: ведь это сам Илья Муромец; видишь на широком дворе стоит его конь богатырский, ни к чему не привязан, а у стремени Соловей Разбойник прикован. Пошли скорее посла к Илье, чтобы позвал его назад на пир твой великокняжеский.

Стал тут Владимир раздумывать, кого бы послать ему за Ильей: послать смелого Алешу Поповича — не сумеет Алеша упросить Илью Муромца

прийти на пир; послать Чурилу Пленковича — он по дороге где-нибудь заболтается. А надо посла разумного да вежливого; говорит Владимир Добрыне:

— Пойди, Добрынюшка, за Ильєю; он тебя всех лучше послушает; ведь вы с ним братья названные.

Пошел Добрыня, а сам думает:

«Может быть, на смерть иду!»

Нашел Илью Добрыня посреди нищей братии; сидят все рядышком за столами белодубовыми, и пир у них идет великий.

Зашел Добрыня сзади Ильи, взял его за плечи могучие, да и говорит:

— Братец мой крестовый, уйми ты свое сердце горячее; послал меня к тебе ласковый князь Владимир; сам знаешь, посла не казнят, не бьют. Просит тебя Владимир не гневаться, вернуться на почетный пир.

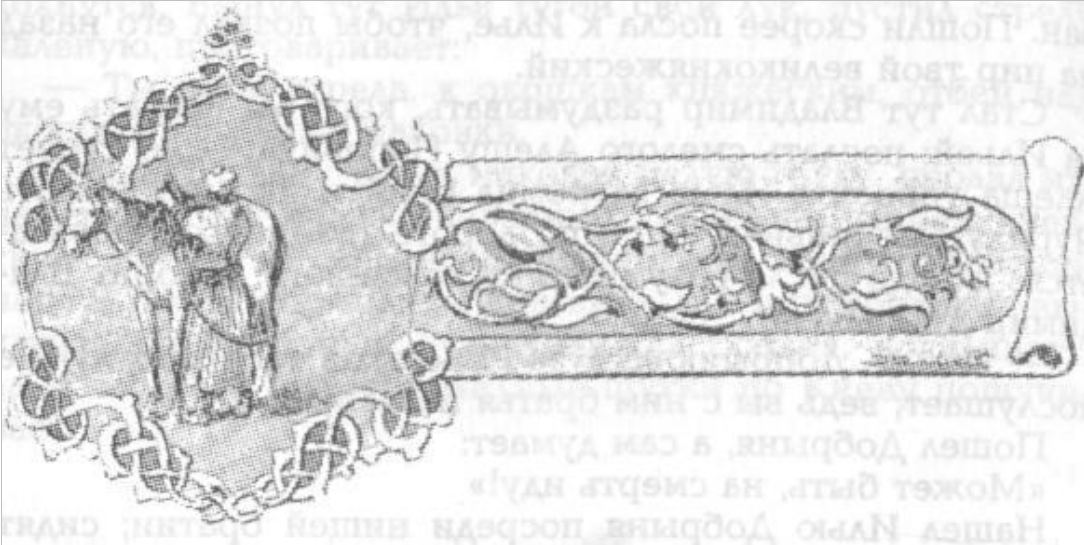
Отвечает Илья:

— Хорошо ты сделал, Добрыня, что зашел сзади меня, а то бы и тебе несдобровать. Хорошо, я вернусь на пир; только пусть Владимир пригласит вместе со мной и мою младшую братию, всех нищих-убогих; пусть велит открыть по всему Киеву погреба глубокие на три дня, чтобы всякий, кто хочет, приходил пить зелена вина безданно, беспошлинно, да славил бы старого казака, Илью Муромца.

Велел Владимир открыть погреба и лавки, поить, кормить народ целых три дня. Вернулся тогда Илья в палаты княжеские; сам князь Владимир Солнышко встал ему навстречу, взял его за белые руки, поцеловал в уста, стал усаживать на лучшее место.

Не сел Илья на большее место: остался сидеть посреди нищей братии; и пошел тут пир на весь мир; сидят они, веселятся, ласковые речи поговаривают, гуслиры поют им песни звонкие про славную старинушку.





БОРЬБА ИЛЫИ МУРОМЦА С КАЛИНОМ–ЦАРЕМ

Подступил к Киеву неверный Калин, татарский царь, привел с собой сына своего Таракашку Корабликова да зятя Ульюшева, сорок царей–царевичей, сорок королей–королевичей; с каждым дружины несметное множество; на сто верст вокруг Киева орды татарские раскинулись...

Ходит по своему стану царь Калин Калинович, говорит дружине такие речи:

— Кто из вас умеет говорить по–русски, переводить по–татарски? Пусть тот снесет мое письмо князю Владимиру, чтобы сдал он Киев–город без бою, без напрасного кровопролития.

Нашелся татарин, который умел говорить по–русски, вызвался передать письмо Калина князю Владимиру.

Приезжает татарин в Киев на княжий двор; коня своего оставляет посреди двора непривязанным, входит в гридню, святым крестом себя не осеняет, поклонов не отдает по обычаю, бросает письмо Калина на белодубовый стол. В письме написано:

«Сдавай, князь, Киев нам — татарам без бою, без кровопролития, да больше хлеба напеки, пива лучшего навари, ожидай нас в гости; я приду к тебе в Киев, жену твою Евпраксию замуж за себя возьму. Добром мне не покоришься — заставлю тебя покориться силою!»

Прочел князь письмо, закручинился, расплакался и стал про себя думать, как тут быть ему:

«Неладных я дел наделал: поссорился со всеми богатырями могучими; никого из них не осталось в Киеве. Если бы был тут хотя один старый казак Илья Муромец, заступился бы он за народ православный, потруился бы

ради Господа Бога. А я разгневался на него в недобрый час, приказал посадить в подвалы глубокие, заморил голодной смертью! Ох, горе, горе!»

Приходит тут в гридню дочь князя Владимира; была она девица добрая да разумная; как приказал князь засадить Илью в глубокие погреба — каждый день ходила княжна к богатырю со своими девушками, хлеб—соль старому казаку приносила.

Говорит княжна:

— Свет родимый батюшка, пошли слуг в погреба глубокие; может быть, жив еще Илья Муромец.

Покачал Владимир головой, однако пошел сам в темницу к Илье Муромцу; отбили у дверей железные замки — видит князь: сидит старый богатырь, жив—невредим; читает святое Евангелие. Обрадовался князь, до земли поклон отдал Илье Муромцу.

— Славный богатырь, Илья Иванович! Съезди к Калину—царю, сразись с ним ради матушки родной земли; стой за христиан православных, за святые Божьи церкви.

Илья зла не помнил; поехал сейчас же с князем Владимиром к Калину—царю, захватили они с собой дары богатые; стали просить Калина, чтобы дал им сроку три года к смертному бою приготовиться.

Говорит Калин:

— Нет вам срока ни на три года, ни на три месяца; дам вам сроку на три дня; приготовляйтесь к верной смерти.

Уехал Илья Муромец из орды, дал совет князю Владимиру: заложить накрепко двери городовые в Киев, вырыть вокруг города рвы глубокие, насыпать холмы высокие, а сам богатырь отправился в дальнее чистое поле.

Ехал Илья Иванович долго ли, коротко ли, приехал к шатру белополотняному; у шатра стоят тринадцать коней богатырских, в шатре сидят за обедом тринадцать богатырей могучих. Вышел Илье навстречу крестный отец его, богатырь Самсон Самсонович.

— Садись с нами, крестник, за стол, хлеба—соли отведать богатырских.

Сел Илья за стол; стал рассказывать богатырям, какая беда стряслась над Киевом, просит Самсона прийти Владимиру на помощь.

Отвечает славный Самсон Самсонович:

— Не могу я ни сам поехать, ни богатырей своих отпустить с тобой. Дал я зарок не служить князю Владимиру за то, что он не почитает богатырей могучих, слушает злые наветы бояр продажных.

Упросил Илья Муромец Самсона Самсоновича поехать под Киев, не ради князя Владимира, ради Руси—матушки, ради церковей Божьих, на помощь христианам православным, и зарок его на себя взял.

Приехали богатыри под Киев уже под вечер; раскинули шатры, прилегли отдохнуть перед боем; одному Илье не спится, не дремлет. И пробрался Илья на бурушке в полки татарские; начал среди татар поезживать, боевой палицей помахивать; махнет правой рукой — повалятся татары целой улицей, отмахнется — ложатся татары частой площадью.

Говорит Илье бурушка человеческим голосом:

— Слушай меня, старый казак, Илья Муромец: выкопал неверный Калин под стенами Киева три глубокие подкопы: из первого да из второго вынесу я тебя на себе, а в третьем оба мы свои головы сложим.

Разгневался Илья:

— Ах ты, мешок травяной, не видал татарских подкопов! Неужели из этих ямок не в силах меня вынести?

Ударил Илья бур ушку по крутым бедрам; взвился стрелой добрый конь; вынес Илью из первого и из второго подкопа, в третьем оба на дне остались.

Прибежали тут татары, схватили доброго молодца, заковали в железные цепи, привели к Калину-царю.

Говорит Калин Илье:

— Остайся у меня на службе, славный богатырь; дам тебе за столом место рядом с собою; подарю табун коней резвых, серебра, золота возьмешь, сколько захочешь.

Говорит Илья:

— Если б были у меня руки свободны, послужил бы я тебе — отсек бы твою буйную голову.

Отдал тогда Калин приказ вывести Илью в поле и побить калеными стрелами. Идет Илья мимо церкви, Господу Богу взмолился: «Господи! Не выдай меня неверным татарам».

Услышал Бог молитву Ильи, послал к нему двух ангелов, оборвали они с рук Ильи шелковые веревки, с ног сняли железные цепи; ухватил Илья одного татарина за ноги; стал им направо, налево помахивать; ложатся татары сотнями. Тут к Илье подбежал верный бурушка; сел на него Илья, поехал на горы высокие, натянул тугой лук, пустил каленую стрелу, сам приговаривает;

— Ты лети, стрела, выше леса дремучего, попади прямо в белый шатер богатырский, пробей крышу, устремись в грудь Самсону-богатырю, затронь его сердце богатырское в груди белой; что он спит до сих пор, над собой беды не слышит?

Ударил стрела в Самсона, вскочил богатырь на резвые ноги:

— Вставайте, братцы названные; стрела мне в грудь попала; это крестник мой, Илья, зовет на помощь.



Сели тут богатыри на своих добрых коней; земля сырая под ними поколебалась; летят во весь опор на татарские полчища; в три часа перебили всю силу татарскую.

Говорят татары:

— Закажем и детям и внукам ездить под Киев—город, с русскими богатырями мериться силушкой!

Вышел сам Владимир Солнышко с прекрасной княгиней Евпраксией, приказал слугам расстилать богатырям под ноги драгоценные сукна, одарил их богатыми подарками, позвал на почетный пир. Тут богатыри с князем примирились; стали опять служить ему верой—правдою.



ТРИ ПОЕЗДКИ ИЛЬИ МУРОМЦА

Едет старый казак Илья Муромец по чистому полю, глубокую думушку думает:

«Приходит старость древняя, надвигается старость тучей черною, налетает черным вороном, а молодость буйная, привольная улетела далеко ясным соколом. И то сказать, довольно пожил я на белом свете, прожил триста годков без малого».

Подъезжает тут старый богатырь к белому камню Латырю; расходятся от камня в разные стороны три дороги; на камне написаны такие слова:

«Кто поедет по средней дорожке — тому быть убитому; кто поедет направо — тому быть женатому; налево ехать — быть богатому».

Думает Илья:

«На что мне, старому, богатство? И жениться на старости лет нет у меня никакой охоты; поеду по той дорожке, где быть мне убитому».

Ехал добрый молодец три часа, проехал триста верст и нагоняет толпу разбойников-станичников.

Увидали его разбойники, говорят между собою:

— Убьем старого богатыря; конь у него хороший, пригодится нам.

Стали они бить старого казака; стоит Илья, не шелохнется.

— Нечего вам взять у меня, — говорит Илья разбойникам, — одежда у меня небогатая; правда, кафтан мой стоит пятьсот рублей да есть у меня крест на груди ценой в три тысячи, а коню-бурушке и цены нет!

Смеются разбойники:

— Сам про свои богатства старый болтает, чтобы знали мы, чем поживиться.

Как схватит тут Илья шапку с головы — начал шапкой помахивать направо, налево; падают разбойники замертво, валяются целыми толпами. Перебил Илья разбойников, вернулся назад к камню и написал на нем:

«Неправду говорит надпись: ездил по средней дорожке — убит не был».

«Дай, — думает Илья, — поеду по той дорожке, где быть мне женатому».



Повернул Илья направо; опять едет три часа — проехал триста верст; увидел перед собою несказанное чудо: стоит богатый город, весь палатами боярскими да княжескими застроен; во дворце царском смотрит из окна на дорогу прекрасная королева.

Увидела она Илью, вышла старому казаку навстречу, ласковое слово ему промолвила, взяла его за руки белые, ввела в царскую gridню, просит хлеба-соли у ней откусать, а слугам приказала Ильеву бурушке засыпать пшеницы белояровой.

Попировал Илья, отведал зелена вина, яств сахарных, кланяется прекрасной королевне, благодарит за хлеб, за соль.

Говорит ему королевна:

— Наверно, устал ты с дороги, славный богатырь, не хочешь ли пойти прилечь, отдохнуть от длинного пути?

Привела королевна Илью в богатый покой, указала ему для отдыха кровать пуховую.

Посмотрел Илья недоверчиво на высокую кровать и не захотел лечь отдыхать, а взял королевну за руки и опустил ее, что было силы, на кровать пуховую; перевернулась под царевной кровать, провалилась красавица в глубокий погреб.

Говорит Илья служанкам королевны:

— Подайте мне золотой ключ; я хочу отворить погреба глубокие.

Не дают ему ключа. Пошел Илья к дверям темницы; разбросал руками доски, которыми были заложены двери; ногой как толкнет двери железные — обе половины с петель упали.

Вывел Илья на свет Божий из погреба сорок царей–царевичей, сорок королей–королевичей.

— Вернитесь по своим царствам, — говорит им Илья, — молитесь Бога за старого богатыря Илью Муромца. Кабы не освободил я вас — сложили бы вы тут свои буйные головы.

А душечку красную девицу разрубил Илья на части за ее злодейские дела; раскидал по полю куски ее тела белого; серые волки их порастерзали, черные вороны порасклевали.

Вернулся Илья к камню — написал на нем:

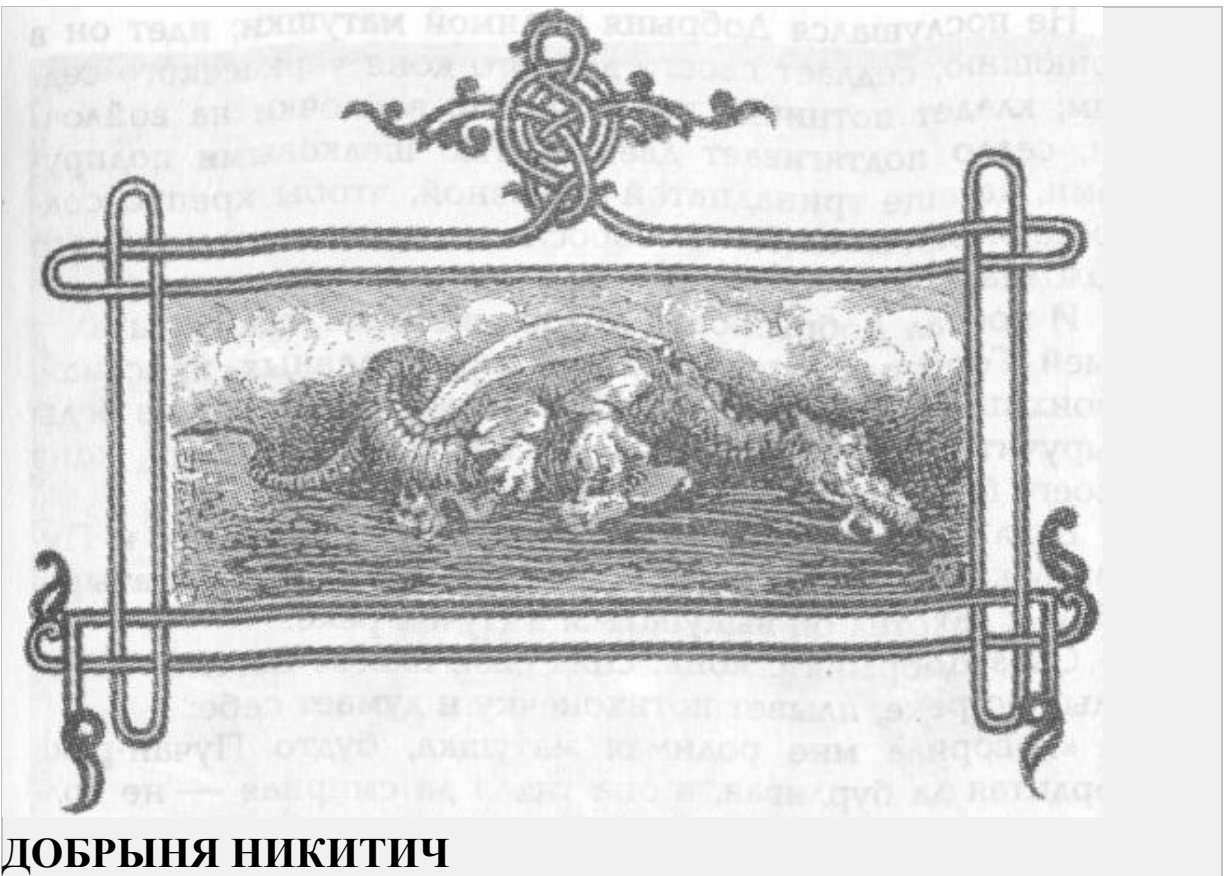
«По другой дорожке ездил — женат не бывал!»

Поехал Илья на третью дорожку, где ему богатому быть; едет Илья три часа, проехал триста верст; видит — перед ним стоит чудный крест, всеми цветами отливает.

Покачал старый головой;

«Этот крест не зря здесь поставлен, стоит он над погребом глубоким; много в погребе золота, серебра хранится, дорогого скатного жемчуга».

Снял Илья крест чудный с глубокого погреба, вынул богатства зарытые, несметные, настроил на них прекрасных церквей Божьих с чистым звоном колокольным по всему стольному Киеву. Прилетела тут за Ильей сила небесная; сняли его святые ангелы с верного бурушки и унесли в Киевские пещеры святые. В них и до сих пор покоятся богатырские мощи, нетленные, а православный народ во всех концах матушки–Руси вспоминает великие дела Ильи, старому казаку славу поет, честь воздает.



ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ

Жил—был в Киеве именитый боярин Никита с женою Мамелфой Тимофеевной, а у них был маленький сынок Добрыня. Рано осиротел Добрынюшка, потеряв доброго отца, но честная вдова Мамелфа Тимофеевна сумела вырастить и воспитать своего пригожего, умного сына, обучила его всем наукам и мудростям; вежлив да ласков был Добрынюшка на диво всем, а уж как начнет в гусли играть — слушают все не наслушаются.

Молод был еще Добрынюшка, всего—то двенадцати лет от роду, — как разгорелось его сердце ретивое—храброе; захотел он ехать в чистое поле, искать подвигов богатырских.

Говорит ему родимая матушка:

— Молод ты еще слишком, милый сын, чтобы ездить богатырствовать в чистое поле, но уже если и поедешь ты, слушайся моего завета родительского: не купайся в Пучай-реке; та река — бурливая, свирепая; средняя волна в ней как стрела бьет; смотри, чтобы не погибнуть тебе понапрасну.

Не послушался Добрыня родимой матушки; идет он в конюшню, седлает своего доброго коня черкасского седлом; кладет потнички на потнички, войлочные на войлочные, седло подтягивает двенадцатью шелковыми подпругами, да еще тринадцатой железной, чтобы крепко седло держалось, чтобы не сбросил конь по дороге доброго молодца.

И поехал Добрынюшка к горе высокой, где скрывался Змей Горыныч; стерег злодей православных христиан, своих пленников. Хочет Добрынюшка пленников из беды выручить, потоптать злых змеенышей копытами коня своего богатырского.

Ехал Добрыня долго ли, коротко ли, подъехал к Пучай-реке; а день был летний, солнечный; стало богатырю жарко; захотел он выкупаться в Пучай-реке.

Слез Добрыня с коня, снял свое платье цветное и поплыл по реке; плывет потихонечку и думает себе:

«Говорила мне родимая матушка, будто Пучай-река сердитая да бурливая, а она тихая да смирная — не волнуется, не шелохнется».

Не успел Добрыня додумать своей думушки, как вдруг откуда ни возмись нанесло тучу черную, хоть и ветру до того не было. Молнии засверкали, искры целым снопом посыпались.

Смотрит Добрынюшка: налетел страшный Змей Горыныч о двенадцати хоботах, сам кричит богатырю:

— Попался ты теперь, Добрыня, в мои руки; что хочу, то с тобой и сделаю: захочу — задушю между хоботами, в нору снесу; захочу — сейчас на месте съем.

Нырнул Добрыня под воду; плывет под водой до берега, на берег вышел, нет на берегу ни коня, ни оружия; одна богатырская шапка лежит под кустиком; набил ее Добрыня песком доверху, как хватит шапкой по Змею Горынычу, отшиб ему все двенадцать хоботов; упал змей на траву навзничь. Вынул тут Добрыня кинжал булатный, хочет отрубить змею голову. Взмолился змей:

— Не убивай меня, добрый молодец! Положим мы с тобой такой договор: я не буду больше летать на Русскую землю, забирать в плен православных христиан, а ты не ездь ко мне в чистое поле, не топчи своим конем моих малых змеенышей.

Согласился Добрыня на этот договор и отпустил змея.



Взвился змей под облака, полетел над Киевом—городом; увидел змей в княжеском терему девицу—красавицу, племянницу князя Владимира, Забаву

Путятишну. Нарушил змей уговор с Добрынею: схватил красавицу, унес ее в свою нору.

Ужаснулся князь—Солнышко, опечалился; три дня собирал он всяких волхвов—ведунов, советовался с ними, как бы выручить от злодея свою племянницу, — никто не вызывается помочь князю в этом деле.

Говорит Алеша Попович:

— Пошли, князь, на выручку к Забаве Путятишне брата моего названного, Добрынюшку; он один может помочь тебе в твоей напасти, потому что у них со змеем договор сделан, чтобы змей не смел уводить в плен православных христиан.

Посылает князь Добрыню к змею; не отказывается Добрынюшка от службы богатырской, только вернулся он домой невесел, глубокую думушку раздумывает.

Спрашивает Мамелфа Тимофеевна:

— Что с тобой, дитяtko мое милое, что вернулся ты невесел с княжеского пиру; не обидели ли тебя местом, не обнесли ли чарой зелена вина, кто—нибудь над тобой не насмеялся ли?

— Нет, родимая матушка, принял меня князь с почетом, никто меня не обидел, только наложил на меня Владимир великую службу: посылает меня выручать от змея Забаву Путятишну.

Говорит мать Добрыне:

— Ляг да отдохни теперь, Добрынюшка, а потом подумаем, как пособить горю: утро вечера мудренее.

Поутру встал Добрыня раненько; снарядила его матушка в путь—дорогу — дала ему с собой шелковую плеточку.

— Милое дитяtko, как приедешь ты по чистому полю к горам Сорочинским, где живет змей со змеенышами, ударь своего бурушку плеточкой промеж ушей, ударь еще по крутым бедрам. Станет бурушка поскакивать, змеенышей с ног стряхнет, потопчет всех до одного!

Послушался Добрыня совета своей матушки: как стал у горы Сорочинской на бурушке поскакивать, забивать змеенышей до смерти — выскочил сам змей из норы, говорит Добрыне:

— Зачем, Добрынюшка, нарушаешь наш уговор, побиваешь моих деток?

Рассердился Добрыня на змея:

— Как ты смел, злодей, утащить к себе в нору Князеву племянницу! За то я и потоптал твоих змеенышей. Отдавай мне сейчас Забаву без бою, без ссоры, а то, смотри, плохо тебе придется!

Не отдал змей Князевой племянницы и затеял с Добрыней великий бой: бились они целых три дня, хочет уже Добрыня отступить от змея, да

слышит богатырь голос сверху:

— Бился ты, Добрынюшка, с змеем трое суток, бейся еще три часа — одолеешь змея.



Послушался Добрынюшка хорошего совета; через три часа убил Змея Горыныча; хлынула у змея кровь из раны ручьями, затопила чистое поле; ходит конь Добрыни по колена в крови. Стал просить Добрынюшка мать сырую землю, чтобы она расступилась, убрала в себя кровь змеиную. Расступилась земля. Спустился тогда Добрынюшка в глубокие подвалы, освободил Забаву Путятишну, а с ней вывел из погребов всех других пленников змея: сорок царей–царевичей, сорок королей–королевичей.

Говорит Добрыня Забаве:

— Много я за тебя странствовал, красна девица; теперь поедem в Киев, отвезу тебя к князю Владимиру.

Поехал Добрыня с Забавой в Киев, наехал по дороге на огромный след богатырский; захотел Добрыня с чужим богатырем помериться силушкой; а тут кстати встречается ему Алеша Попович, его крестовый брат.

Говорит Добрыня Алеше:

— Милый брат названный, отвези–ка ты Забаву Путятишну к князю Владимиру, а я поеду по следу богатырскому.

Повернул Добрыня назад своего доброго коня, догоняет в чистом поле могучую богатыршу Настасью Микуличну, дочь Микулы Селяниновича; захотел Добрынюшка побороться с нею: подскочил к Настасье Микуличне сбоку, ударил ее по голове; богатырша даже и не почувствовала удара Добрыни, едет себе дальше, не оглядывается.

Удивился Добрыня: «Неужели растерял я всю свою прежнюю силушку?» Ударил тут Добрыня в крепкий дуб: раскололся дуб на щепочки.

«Нет, — думает себе Добрыня, — еще со мной вся моя силушка!» Еще и еще раз налетел Добрыня на Настасью Микуличну, ударил ее и раз, и другой сильнее прежнего.

Оглянулась на него богатырша да и говорит:

— Я думала, что меня комарики покусывают, а это богатырь дерется!

Взяла Настасья Добрыню за русые кудри, подняла одной рукой, спрятала в карман вместе с конем. Едет себе дальше.

Взмолился тут конь Настасьи Микуличны:

— Пожалей меня, Настасья Микулична, не могу больше возить тебя с богатырем да еще коня богатырского!

Вынула богатырша Добрыню из кармана и говорит:

— А вот я посмотрю на богатыря, как он мне понравится: если старый да нехороший — так голову ему срублю, а молодой да пригожий — так замуж за него выйду.

И понравился Добрыня Настасье Микуличне; поехали они вместе в Киев к князю—Солнышку; сыграли веселую свадьбу, затеяли почестный пир. Щедро наградил Владимир славного богатыря за его великую службу, за то, что выручил Добрыня от злого змея молодую Забаву Путятишну.





ЖЕНИТЬБА АЛЕШИ ПОПОВИЧА НА НАСТАСЬЕ МИКУЛИЧНЕ

Послал однажды Владимир князь могучего богатыря Добрынюшку исправлять службы княжеские: порасчистить дорожку прямоезжую в Золотую Орду, покорить чудь белоглазую, пособрать дани с калмыков да с татар.

Стал Добрыня собираться в дальнюю поездку; горько плачет мать его, Мамелфа Тимофеевна, все спрашивает милого сына, когда его домой ждать.

— Государыня-матушка! — отвечает Добрыня. — Жив буду — вернусь; не буду жив — и ждать вам будет некого.

Прибежала тут жена Добрыни, молодая Настасья Микулична, слезами уливается, ухватила за стремя богатырское — не может расстаться с милым мужем, просит, молит:

— Скажи мне, Добрынюшка, когда вернешься домой из чиста поля?

— Милая жена, слушай, что я скажу тебе: жди ты меня три года; если не вернусь домой через три года, жди еще три года; если же я и через шесть лет не приеду, знай, что нет меня на свете; тогда живи себе как хочешь: хочешь, оставайся вдовою; хочешь, иди замуж за кого надумаешь, хоть за купца богатого, хоть за именитого боярина или за крестьянина домовитого; не ходи только замуж за моего брата названного, Алешу Поповича; за ним плохо тебе жить будет, наживешь себе великого горя.

Поклонилась Добрынюшке Настасья Микулична земным поклоном, простился богатырь и с родимой матушкой, поехал в чуждеальную сторонушку.

Стала Настасья Микулична ждать домой мужа своего, Добрынюшку; ждет не дождется — а время идет да идет:

День за днем — словно дождь дождит,
А неделя за неделей, как трава растет,
А год за годом, как река бежит.

Прошло и три года, прошло и шесть лет: нет как нет Добрынюшки. Вернулся к этому времени из поля Алеша Попович; привез с собою нерадостные вести, говорит, будто Добрыни уже нет в живых.

— Видел я его в чистом поле убитым; богатырская грудь насквозь прострелена; сквозь его труп проросли цветы алые.

Горько плачет мать богатыря, Мамелфа Тимофеевна; горючие слезы глаза ей выели; а Настасья Микулична говорит:

— Велел мне Добрыня ждать его шесть лет; буду ждать еще шесть лет теперь уже по своей охоте.

Но прошло и еще шесть лет; нет от Добрыни никакой весточки; стал Владимир уговаривать молодую вдову Добрынину:

— Нет твоего мужа в живых; неужели будешь весь век жить вдовою? Выходи замуж хоть за князя-боярина, хоть за купца богатого, а лучше всего тебе выйти за смелого богатыря, Алешу Поповича.

Позабыла Настасья Микулична мужнину заповедь — пошла замуж за Алешу.

Устроил князь Солнышко перед свадьбой веселый пир в честь жениха и невесты; пируют они день, другой — а Добрыня в это время был в Царь-граде: все свои подвиги богатырские он совершил счастливо, отправил со славой княжескую службу, уже думает домой возвращаться.

Медленно плетется его добрый конь по дороге в Киев, не ест пшеницы белояровой, не пьет воды студеной.

Спрашивает Добрыня верного коня:

— Что ты невесел, добрый мой конь, идешь спотыкаешься — не чуешь ли ты над собой какой невзгодушки?

Отвечает конь:

— Не знаешь ты, славный богатырь, не ведаешь, какая печаль тебя дожидает в Киеве: сегодня вечером молодая жена твоя с Алешей венчается.

Разгорелось тут у Добрыни сердце богатырское; бьет он верного коня по бедрам, летит конь словно сокол, перескакивает одним прыжком высокую стену киевскую, въезжает прямо во двор Добрыни. Идет добрый

молодец в горницы, расталкивает привратников, придверников, ни у кого дороги не спрашивает.

Бегут слуги к Мамелфе Тимофеевне, жалуются на богатыря.

Говорит ему Мамелфа Тимофеевна:

— Неладно ты поступаешь, добрый молодец, слуг моих бьешь, в дом ко мне силой врываешься; кабы был жив милый сын мой Добрынюшка, не сносить бы тебе головы, уходи—ка отсюда подобру—поздорову.

— Напрасно, честная вдова, Мамелфа Тимофеевна, плачешь ты о смерти сына, — промолвил Добрыня, — сын твой жив и здоров; я его третьего дня сам видел; поехал он к Царь—граду, а мне наказал, как буду в Киеве, чтобы поклон тебе свез, узнал, как поживает его молодая жена, Настасья Микулична.

Заплакала Мамелфа Тимофеевна.

— Шесть лет тому назад привез мне Алеша Попович весточку о том, что сын мой, Добрыня, лежит в чистом поле убитым, а сегодня Настасья Микулична идет за Алешу замуж.

— Матушка, родимая! Посмотри на меня, ведь я и есть твой сын.

Не узнает его матушка родимая.

— Смеешься ты над старухой, добрый молодец! Не похож ты вовсе на моего милого сына: у Добрынюшки лицо было белое, очи ясные, как у сокола, платье цветное, лапотки из семи шелков; а ты пришел весь в лохмотьях, загорелый да худой!

— За двенадцать лет, милая матушка, платье мое цветное износилось, лицо загорело, очи помутнели.

— У моего сына, — говорит Мамелфа Тимофеевна, — на ноге была черная родинка.

Снял Добрыня сапог, увидела мать знакомую меточку, плачет от радости, обнимает милого сына.

— Матушка, — просит Добрыня, — давай скорей мои гусли звонкие, носи платье скоморошье, снаряжай меня на пир к князю Владимиру.

Идет Добрыня в гридню княжескую, расталкивает придверников, привратников, ни у кого не спрашивается; не узнают его слуги, бегут жаловаться на него князю.

А Добрыня кланяется князю в пояс, спрашивает его смело:

— Укажи мне, князь Солнышко, где мое место скоморошье?

Разгневался Владимир:

— Ах ты, неуч; одно только и есть тебе место: за печкой муравленой.

Сел Добрыня за печку, взял свои звонкие гусли; стал напевать песни родимые, напевы к ним прибирать царьградские.

Говорят гости князя между собою:

— Это, видно, не простой скоморох, а славный русский богатырь.

— Удалый добрый молодец! — промолвил тут князь Владимир. — Выходи из-за печи, садись за дубовый стол, хлеба-соли нашей откусать, белой лебеди отведать; выбирай себе любое место: или рядом со мной, или напротив, или садись, куда сам захочешь.

Не сел скоморох рядом с князем, сел против обрученной невесты Алеши.



— Не своей ты волею замуж шла, — говорит Добрыня, — а удивляюсь я на князя Владимира да на княгиню Евпраксию, что они от живого мужа жену за другого сватают. Еще больше удивляюсь я на Алешу Поповича; знал он, что жив я, здоров, — а сам на моей жене захотел жениться.

Застыдился князь Владимир своего поступка, а Алеша со страху еле на ногах держится, просит прощения у Добрыни, кланяется в пояс.

Нахмурился Добрыня.

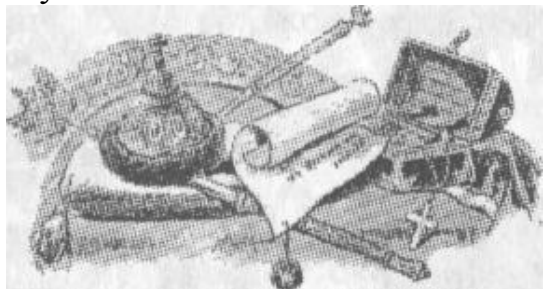
— Простил бы я еще тебе эту вину, да не могу тебе простить, что привез ты лживую весть о моей смерти; огорчил мою родимую матушку,

заставил ее надрывать свое сердце слезами горячими!

Ухватил тут Добрыня Алешу за желтые кудри, хочет бросить Алешу о кирпичный пол, убить до смерти, да подоспел вовремя старый казак, Илья Муромец, положил Добрыне руку на плечо и говорит:

— Удержи, Добрынюшка, свое сердце горячее; не наказывай лютой смертью своего крестового брата.

Оставил Добрыня Алешу, ушел с княжеского пира, вернулся в свой светлый терем, ведет за руку жену молодую; словно солнышко в небе воссияло, словно месяц тихий засветился, как вернулся к себе в дом славный богатырь, Добрыня Никитич. Стал он жить-поживать вместе с родимой матушкой да молодой женой; зажили они без горя, без заботушки, лучше прежнего. А Алеша со стыда уехал из Киева в чужую дальнюю сторону.



АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН

У соборного попа ростовского был молодой сын, удалый добрый молодец, Алеша.

Научился Алеша на коне ездить, научился мечом владеть и приходит к милому родителю просить благословения на путь–дорогу: хочет Алеша поехать к морю, пострелять гусей–лебедей, малых серых утушек, поискать богатырских подвигов.

Отпустил отец Алешу в путь–дорогу; вывел Алеша из конюшни своего доброго коня, оседлал его, приговаривает:

— Не оставь меня, добрый конь, в чистом поле серым волкам на растерзание, черным воронам на расхищение, удалым богатырям на забаву.

Надел на себя Алеша богатырские доспехи, взял с собой доброго молодца, Екима Ивановича, своего названного брата, и выехал в поле; едут богатыри рядом: нога в ногу, стремя у стремени, плечо о плечо, едут с утра до вечера, нигде не мешкают, у рек перевоза не спрашивают; доехали до распутья трех дорог; лежит посредине белый камень, а на нем вырезана какая–то надпись.

Говорит Алеша Екиму:

— Ты, братец, человек умный, грамоте разумеешь; прочти–ка, что на камне написано.

Читает Еким Иванович, что одна дорога ведет в Муром, а другая в Чернигов, третья прямо к городу Киеву.

— Куда поедем? — спрашивает Еким Алешу.

— Поедем прямо в стольный Киев, к ласковому князю Владимиру.

Повернули они коней на дорожку прямоезжую, доехали до Сафат–реки, раскинули на лугу полотняный шатер, стреножил Еким коней богатырских, пустил их на травку в чистое поле, а сами богатыри легли в палатке отдохнуть.

Прошла и длинная ночь осенняя; встал Алеша рано, росой умылся, Богу помолился. Тем временем Еким оседлал коней, и уже хотели богатыри пуститься в путь–дорогу.

Тут как раз подходит к ним калика перехожий, нарядный: разодет в шубу соболью, лапотки у него семи шелков, серебром, золотом расшиты, в руках палица весом в пятьдесят пудов заморским свинцом налита.

Говорит калика богатырям:

— Добрые молодцы! Видел я сегодня Тугарина Змеевича, чудовище страшное: ростом он в три сажени, от плеча до другого косая сажень, между глаз стрела каленая уляжется; конь под ним словно лютый зверь: из ушей дым валит, из ноздрей пламя пышет.

Захотелось Алеше побороться со змеем, просит он калику, чтобы уступил ему не надолго свое платье каличье, надел пока его богатырское.

Поменялись они одеждой; пошел Алеша за Сафат–реку. Как увидал его Тугарин — закричал ему громким голосом, так что всколыхнулась мать–

земля сырая:

— Гей, калика перехожая, не видал ли ты молодого Алешу Поповича; я бы его копьем заколол, огнем спалил!

Стоит Алеша еле жив со страху, однако говорит змею:

— Не слышу, что говоришь ты, Тугарин Змеевич; подъезжай сюда поближе, скажи погромче.

Поверил ему Тугарин, подъехал к нему вплотную. Как кинет ему в лоб Алеша палицу свою тяжелую в пятьдесят пудов — расшиб Тугарину голову; упал змей навзничь.

Снял Алеша с Тугарина цветное платье ценой во сто тысяч и на себя надел, сел на змеева коня и поехал назад.

Увидали его Еким Иванович с каликою, испугались, подумали, что сам Тугарин гонится за ними, побежали к городу Ростову. Алеша за ними, кричит:

— Постойте, братцы!



Куда! Никто его и не слушает. Еким Иванович, со страху не оглядываясь, запустил в Алешу свою палицу в тридцать пудов весом. Упал Алеша на землю, попала палица прямо в грудь молодецкую. Видит Еким, что враг его свалился с коня, вернулся, выхватил свой кинжал булатный, хочет рубить Алеше грудь белую, да увидел на нем золотой крест — остановился, заплакал горько.

— Наказал меня Бог; убил я своего братца названного!

Стал Еким с каликой приводить Алешу в себя; влили ему вина в рот, водой его холодной sprыснули; встал наконец Алеша, шатается, словно хмельной.

Переменился потом Алеша с каликой одеждой, надел свое богатырское платье, а Тугариново в сундук спрятал, и поехали они с Екимом Ивановичем в Киев.

Прибыли они на княжий двор, слезли с коней; пошел Алеша в гридню княжескую; входит — крестом себя осеняет, кланяется на все четыре стороны.

Спросил князь Алешу об имени, отчестве, посадил его на лучшее место, ласковым словом приветствовал.

Только сел Алеша за стол, видит — отворяются двери гридни, и двенадцать сильных богатырей вносят на пир Тугарина Змеевича: лежит Тугарин на золотой доске, проносят его на лучшее место между князем и княгиней. Как начали разносить кушанья сахарные, видит Алеша, что Тугарин по целой ковриге хлеба глотает, чашей меду, величиной с ведро, каждое кушанье запивает.

— Что за невежа, мужик неотесанный, к тебе, князь Солнышко, на пир попал? — спрашивает Алеша Владимира. — Была у моего батюшки старая собака, жадная на еду; однажды стащила она большую кость да и подавилась; пришлось забросить собаку под гору в яму! То же будет и с Тугарином.

Почернел Тугарин со злости, однако промолчал на первый раз; Алеша просветлел, словно светлый месяц.

Принесли на стол белую лебедь; взял Тугарин лебедь с блюда, всю зараз проглотил.

Говорит Алеша:

— Ласковый князь, где это видано, чтоб кто-нибудь по целой лебеди зараз проглатывал! Была у моего батюшки старая корова; забрела она раз к подворотне, целый чан браги выпила да и лопнула. Схватил я ее за хвост, забросил под гору; то же будет и с Тугарином.

Не вытерпел тут Тугарин, схватил свой кинжал, пустил в Алешу; увернулся Алеша, а брат его Еким Иванович перехватил кинжал, спрашивает брата:

— Сам ли ты, Алеша, в Тугарина кинжал бросишь или мне велишь?

Отвечает Алеша:

— Ни сам не брошу, ни тебе не велю: переведаюсь я завтра с Тугарином в чистом поле один на один; на заклад ставлю свою буйную голову.

Стали все гости князя за Тугарина заклад ставить; ставят бояре по сто рублей, а купцы богатые по пятидесяти, а мужики деревенские по три копейки; все уверены, что несдобровать Алеше. Один владыка Черниговский поручился за Алешу Поповича. Взмахнул Тугарин своими бумажными крыльями, вылетел из гридни княжеской.

Всю ночь перед боем Алеша молился Богу:

«Пошли, Господи, тучу черную с дождем да с градом, чтобы размокли у змея бумажные крылья».

Дошли Алешины молитвы до Спаса Пречистого: полил дождь с градом, размочил Тугарину бумажные крылья; упал злодей на сырую землю.

Поехал тогда Алеша Тугарину навстречу — биться с ним смертным боем; кричит Тугарин Алеше:

— Вот я тебя огнем спалю, а не то конем затопчу или копьем заколю; выбирай, что тебе лучше нравится!

Говорит Алеша:

— Нехорошо ты, Тугарин, поступаешь! Хотел биться со мной один на один, а сам ведешь за собой грозную силу.

Удивился Тугарин речам Алеши, обернулся назад посмотреть, какая такая сила идет за ним, а Алеше только того и надо.

Подскочил Алеша к Тугарину, срубил ему буйную голову, упала голова змеева на сырую землю, как пивной котел. Поднял ее Алеша, привязал к седлу, привез в Киев на княжий двор да тут и бросил.

Обрадовался Владимир князь:

— Велика твоя служба, славный богатырь: свет ты мне дал увидеть, как избавил меня от Тугарина! Оставайся в Киеве, служи мне верой—правдою; я тебя щедро награжу своими милостями!

Остался Алеша в Киеве, служил князю верой—правдою не один десяток лет, перебил не одну сотню врагов княжеских.

Так рассказывают старые славные былинушки.





СТАВР ГОДИНОВИЧ

Пирует князь Солнышко в своих просторных палатах; гостей у него видимо–невидимо.

Веселятся гости; хорошо они угостились, языки у них поразвязались, кто чем гости порасхвастались.

Хвастает князь Владимир славным Киевом–городом, богатыри могучие хвалятся своей силушкой, а гости — купцы заезжие — своими несметными богатствами, лисицами, куницами, пушистыми соболями; хвалится Добрыня быстрым конем, хвалится Алеша золотой казной, хвалятся умные знаменитым родом; хвалится глупый женой–красавицей.

Только один заезжий богатырь земли литовской, Ставр Годинович по имени, сидит, молчит; ничем не хвалится добрый молодец!

Говорит ему князь Владимир ласковое слово:

— Отчего ты молчишь, добрый молодец, ничем не хвалишься? Или у тебя на родине нет городов с пригородами, сел с приселками, нет платья цветного, камней драгоценных; или ты роду незнаменитого, нет у тебя жены–красавицы?

Поднял Ставр на князя свои соколиные очи:

— В Литве у меня, князь, есть и города богатые, и села с приселками, и казна несчетная; платье мое цветное не изнашивается, кони добрые не изъезживаются, слуги верные не стареются; есть у меня тридцать сапожных мастеров, сошьют мне сапоги — я их день поношу, на базар отправлю, купят их у меня ваши же князья–бояре. Есть у меня немало портных — шьют они платье цветное, каждый день новое. Я его раз надену, потом на базар пошлю — купят его у меня ваши князья–бояре, носить станут, похваливать. Да не стоит этим хвалиться. А вот есть у меня молодая жена,

Василиса Микулична; не сыскать во всем свете другой такой красавицы: во лбу у ней сияет светлуй месяц, в косе рассыпаны частые звезды, брови у ней соболиные, очи соколиные, а разумом она всех князей–бояр превзойдет; самого тебя, Владимир Солнышко, перехитрит, если захочет.

Помолчали немного гости, а потом и говорят Владимиру:

— Не в меру, да не вовремя Ставр расхвастался. Посади его, Солнышко князь, в глубокие подвалы; посмотрим, как жена будет выручать его, как она разумом всех бояр превзойдет, самого тебя, князь, перехитрит!

Послушался Владимир своих гостей и засадил Ставра в темницу ровно на тридцать лет.

К счастью, был со Ставром на Руси старый, верный слуга; послал его Ставр домой к Василисе Микуличне, чтобы ехала она выручать мужа.

Говорит посол Василисе:

— Свет Василиса Микулична! Сидишь ты тут за столами набранными, пирами тешишься; не чуешь над собой новой беды. Расхвастался муж твой Ставр на киевском пиру своим богатством да женой–красавицей, обидел князя Владимира и его гостей и засадили его в темницу на тридцать лет!

Опечалилась Василиса Микулична; стала раздумывать, как помочь горю:

«Деньгами мне Ставра не выкупить — казны у меня столько нет; силой не выручить — силы не хватит; попробую выручить Ставра хитростью да уловкою».

Обрезала Василиса длинные свои косы, нарядилась в мужское татарское платье, взяла с собой тридцать молодцев дружины и поехала с ними к городу Киеву.

Раскинула Василиса под Киевом свой белополотняный шатер, оставила в нем свою дружинишку, а сама направилась в стольный город прямо в гридню княжескую, бьет челом Владимиру Солнышку.

— Здравствуй, князь Владимир, стольнокиевский! Здравствуй и ты, молодая княгиня Евпраксия.

Спрашивает Владимир доброго молодца об имени–отчестве.

— Родом я из Литвы, — говорит Василиса — я сын короля ляховецкого, по имени Василий Микулич, а приехал я к тебе, князь, с добрым делом: хочу посватать за себя дочь твою, княжну.

— Что ж, я не прочь, — отвечает Владимир, — отдать за тебя свою княжну; только сначала пойду посоветуюсь с нею.

— Государь родимый батюшка, — возразила Солнышку его дочь, — неудачное ты дело задумал: не видишь разве, что выдаешь меня замуж за женщину? Посмотри–ка на посла хорошенько: речи у него тихие, женские, руки тоненькие, беленькие, от перстней видны следы на пальцах!

Решил тогда Владимир испытать посла и говорит ему:

— Свет Василий Микулич, не хочешь ли с дороги сходить в баню помыться и отдохнуть?

— Что ж, это не худо! — отвечает посол.

Истопили баню; пока князь Владимир собирался мыться да созывал слуг, чтобы несли за ним его цветные платья, Василиса живо отправилась в баню, никого не дожидая; одной рукой умывалась, другой одевалась — идет князю навстречу, благодарит за милость, за славную теплую баенку.

— Что ж так поторопился, — спрашивает Владимир, — не дождал моих слуг? Они бы тебя помыли и одели.

— Некогда мне, князь, ждать долго; ты ведь у себя дома, а я в гостях; мне надо домой торопиться; решай же поскорее, отдаешь ли за меня свою дочь?

Не хочет княжна выходить за Василия Микулича, все свое толкует, что посол — женщина.

Решил Владимир еще испытать посла по-другому.

— Не хочешь ли позабавиться, Василий Микулич, пострелять с нашими молодцами в чистом поле; чья стрела попадет на острие ножа, расколется на две равные половинки?

Отправилась Василиса в поле с княжьими стрелками; несут за ней ее лук тяжелый: за один конец его пятеро держат, да за другой пятеро, а колчан и тридцати молодцам не под силу поднять. Стали стрелять княжьи стрелки: один стрелял — не дострелил, другой стрелял — перестрелял.

Взяла тут Василиса Микулична свой лук одной рукой, натянула тетиву: скользнула стрела по острию ножа, раскололась на две половинки — обе на вес верны, на меру ровны.

И этого испытания мало показалось княжне. Говорит Владимир послу:

— Не хочешь ли, Васильюшка, с моими дружинниками на широком дворе силушкой померяться?

Не отказался Василий Микулич и от этой потехи; стал посол литовский по двору похаживать, с княжьими дружинниками борьбу вести: кого за руку схватит — тому плечо вывернет; кого возьмет за ногу — ногу оторвет; остальных кого поднимет, три раза перевернет, о землю ударит, тут им и конец приходит.

Испугался Владимир, стал посла упрашивать:

— Уймись, добрый молодец, не губи моих людей.

— Приехал я к тебе, князь, с добрым делом, — говорит посол, — свататься к твоей дочери; отчего же ты не даешь мне никакого ответа? Отдавай ее за меня честию, а не то силой возьму.

Перестал Владимир с дочерью советоваться; просватал ее за посла, задал великий пир.

Сидит Василий Микулич на пиру невесел, призадумался о чем-то глубоко.

Спрашивает Владимир князь:

— Отчего сидишь нерадостен, добрый молодец? Какую думу думаешь?

— Что-то мне невесело, ласковый князь; уж не случилось ли у нас дома что-нибудь недоброе? Мать здорова ли? Да и гуслиры твои, князь, все поют нерадостные песни. Нет ли у тебя певцов получше? Слыхал я дома, что есть у тебя славный певец, Ставр Годинович; он из нашей земли, поет наши песни; прикажи его выпустить из темницы, пусть споет нам на пиру.

Думает Владимир:

«Не выпустить Ставра — прогневишь, пожалуй, грозного посла, выпустить — только Ставра и видели!»

Но делать нечего; послал князь слуг за Ставром; расковали доброго молодца, привели на пир, запел он песни радостные да звонкие, понравилось Василию Микуличу его пенье, просит посол Владимира:

— Отпусти, князь, певца в мой шатер белополотняный; пусть моя дружина послушает Ставровых песен.

Не смеет Владимир ослушаться посла, отпустил с ним Ставра.

По дороге к шатру Василиса говорит Ставру:

— Неужели не признаешь меня, добрый молодец? Ведь мы с тобой грамоте вместе учились.

— Никогда я тебя и в глаза не видел, — отвечает Ставр.

Рассмеялась Василиса Микулична, — как приехали они в шатер, сняла она свое платье посольское, надела женский наряд; тут Ставр узнал ее, обрадовался.

— Свет ты мой, Василиса Микулична, пойдем отсюда скорей на Литву.

— Стыдно нам, милый муж, уезжать из Киева крадучись; поедem к Владимиру пир кончать.

Спрашивает на пиру Василиса у князя Владимира:

— За что, князь, заковал ты Ставра в цепи, посадил в глубокий погреб?

— За то, что не вовремя, не в меру хвалился Ставр своей женой-разумницей.

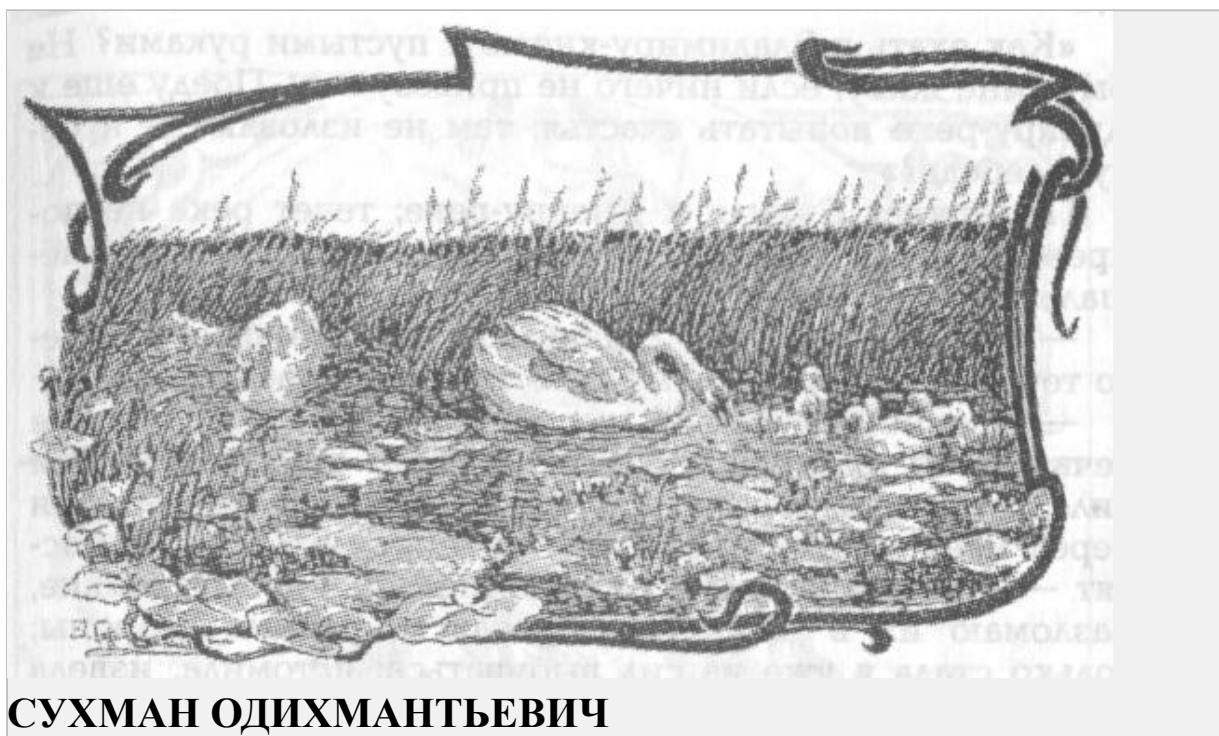
Говорит посол:

— А что у вас на Руси за обычаи: выдаешь ты, князь, княжну замуж за женщину!

Увидел тут Владимир свою ошибку, понял, что недаром Ставр хвалился своей женой: всех она одна перехитрила; сам князь в обман дался.

Говорит Владимир:

— Правду Ставр рассказывал о своей жене: другой такой не найдется на всем свете красавицы и умницы. Отпускаю тебя, Ставр, на свободу; торгуй по всему Киеву безданно, беспошлинно.



СУХМАН ОДИХМАНТЬЕВИЧ

Полна веселых гостей светлая великокняжеская гридня; уже пир в полпире; уже отведали гости вин заморских, медов боярских крепких; еще больше развеселились, разгулялись, кто чем порасхвастались: кто хвалится силой, удалью молодецкой, кто богатствами несметными, кто знатным родом боярским.

Сидит себе Сухман–богатырь в сторонке, в разговор не вступает, ничем не хвалится.

Подошел к нему сам Владимир Солнышко.

— Отчего ты, добрый молодец, сидишь не весел; не пьешь вин заморских, белой лебеди не хочешь отведать, не хвалишься своей удалью

богатырской; кто-нибудь над тобой не посмеялся ли? Кравчий не обнес ли тебя чарою?

Отвечает Сухман Одихмантьевич:

— Не люблю я, князь Солнышко, похвальнось, даром слова терять; а если хочешь, привезу тебе без похвальбы белую лебедь живую, не раненую!

И встал богатырь из-за стола; оседлал коня, взял нож да палицу тяжелую и поехал к синему морю, на тихие заливы-заводи ловить прекрасную белую лебедь.

Проехал богатырь по одному берегу — нет ни гусей, ни лебедей, ни даже малых серых утиц с утенышами; повернул в другую сторону — не нашел ни одной птицы, и сколько ни ездил — ловить нечего.

«Как ехать к Владимиру-князю с пустыми руками? Не быть мне живу, если ничего не привезу ему. Поеду еще к Днепру-реке попытать счастья; там не изловлю ли я белую лебедь?»

Приезжает Сухман к Днепру-реке; течет река не по-прежнему, вся замутилась, вся вода в ней с песком смешалась; стал Сухман спрашивать:

— Что с тобой, мать Днепр-река, приключилось; отчего течешь не по-прежнему, замутила свои светлые воды?

— Как не замутиться мне, добрый молодец, как мне течь светло по-старому? Ведь за мной стоит несметная сила татарская: сорок тысяч поганых татар; мостят они через меня мосты деревянные крепкие; что днем намоют — ночью я волнами размою, повырву дубы крепкие, разломаю их в щепки, разбросаю в разные стороны; только стала я уже из сил выбиваться: истомила, извела меня тяжкая работа.

Разгорелось у Сухмана богатырское сердце, и надумал он перевесться с татарской силой. Направил Сухман своего коня через реку на крутой берег; взвился конь, как птица, — вмиг очутился на другом берегу; видит Сухман — стоит на дороге дуб вековой, крепкий; выдернул он тот дуб из земли вместе с корнями, взял с собой, промолвив:

— Пригодится мне этот дуб перевесться с татарской силою.

Ехал Сухман долго ли, коротко ли, наехал на татарскую несметную силу; стал Сухман среди татар поезживать, вековым дубом помахивать, поганых татар поколачивать: где размахнется — полягут татары улицей, отвернется — уложит поганых переулками и перебил всех татар, только трое спаслись, укрылись за ракитовым кустом, сидят, не шелохнутся.

Как поехал Сухман назад мимо ракитовых кустов, пустил татарин стрелу в богатыря; вонзилась стрела в бок Сухману; вынул добрый молодец стрелу из раны, приложил на больное место маковых листьев, и зажила рана. Тут Сухман зарубил мечом и остальных татар.



Вернулся Сухман в Киев, на пир в княжескую грядню; а князь Владимир по грядне похаживает, желтыми кудрями помахивает, спрашивает богатыря:

— Привез мне, добрый молодец, белую лебедь живую, не раненую?

— Солнышко-князь! Некогда мне было охотиться на белых лебедей; встретил я за Днепром великую силу татарскую, шла она на стольный славный Киев, мостила через Днепр-реку мосты калиновые; днем татары мосты мостили, ночью их река по вырывала... и побил я всю силу татарскую: ни много ни мало — сорок тысяч.

Не поверил Владимир Сухману; приказал слугам взять богатыря за белые руки, свести бросить в погреба глубокие за ложные вести, за неразумную похвальбу. Однако послал Владимир Добрыню к Днепру разузнать, не подвигается ли к Киеву в самом деле татарская сила?

Вернулся Добрыня к Владимиру с чудной вестью:

— Истинную правду рассказал нам Сухман Одихмантьевич: нашел я за Днепром татарскую силу побитую несметную; поднял на поле и Сухманову дубину, вся она на щепки раскололась, а весом дубинка в девяносто пуд.

— Верные мои слуги, — говорит Владимир, — идите скорее в глубокие погреба, выведите Сухмана, пусть предстанет он пред мои светлые очи; хочу его пожаловать за великую его службу городами с пригородами, селами с приселками или казной несчетной.

Вышел Сухман из погреба... только не захотел он предстать к Владимиру пред его пресветлые очи, обиделся Сухман на князя.

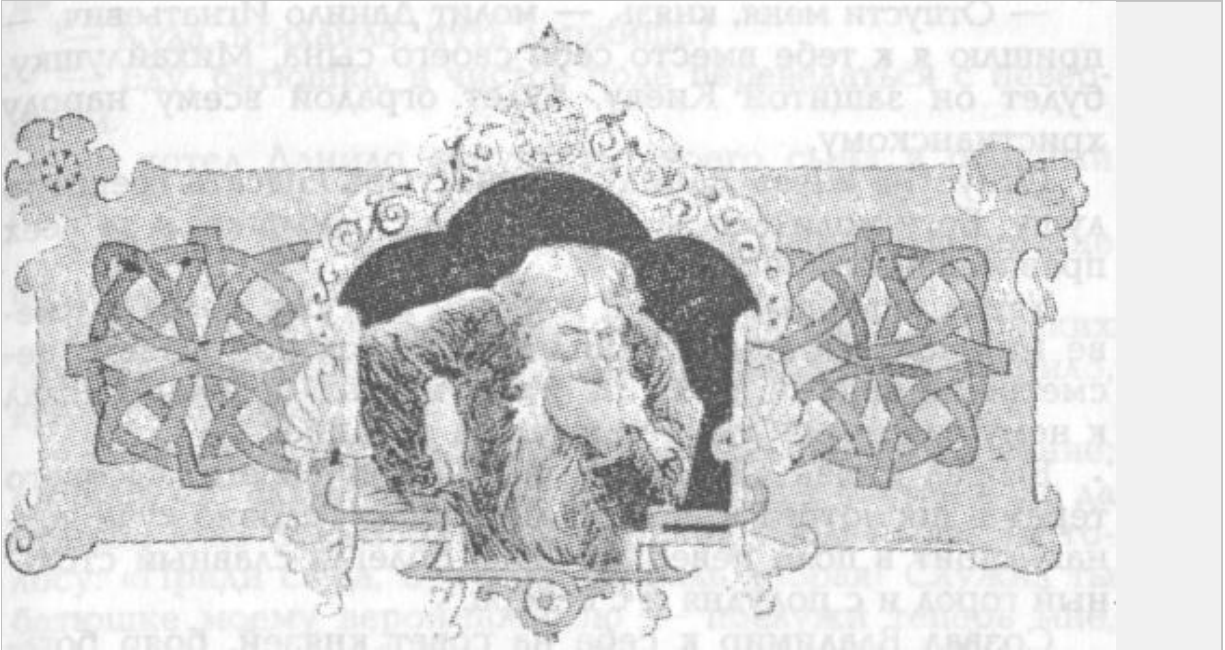
— Не умел меня князь пожаловать прежде за мою верную службу, не увидит он моих светлых очей.

Вынул Сухман маковые листочки из своей глубокой раны; хлынула на землю алым потоком кровь его горячая. Говорит Сухман:

— Теки, кровь моя неповинная, горячая, пролейся Сухман-рекою по далекому чистому полю!

И протекла из крови Сухмана-богатыря река глубокая да бурливая, а сам он тут и смерть принял и песне нашей тем положил конец...





ДАНИЛО ИГНАТЬЕВИЧ И СЫН ЕГО МИХАЙЛО ДАНИЛОВИЧ

Кручинен сидит на пиру у Владимира старый богатырь Данило Игнатьевич, сидит, молчит, повесил свою буйную голову.

Спрашивает Владимир Солнышко:

— Что призадумался, славный богатырь, о чем закручинился, отчего не в радость тебе мой веселый пир? Отчего ничем на пиру не хвалишься?

Поклонился Данило Игнатьевич великому князю в землю и говорит:

— Нечем мне хвалиться, Солнышко-князь! Не было у меня ни дворцов богатых, ни золотой казны, да и сила у меня была не Бог весть какая: служил я тебе, князь, верой-правдою пятьдесят лет, убил восемьдесят вражьих царевичей, а простого народа столько перебил, что даже и не упомяну. Девяносто лет мне от роду; не могу я больше служить тебе, ласковый князь! Отпусти меня в честной монастырь, в тесную келью, пора мне и о душе подумать, время замаливать тяжкие свои грехи!

Отвечает Владимир:

— Не могу отпустить тебя, Данилушко; кто же без тебя станет оборонять Киев от врагов? Налетят поганые татары, церкви Божии повыжгут, народ христианский пустят по миру, меня, князя, в плен уведут!

— Отпусти меня, князь, — молит Данило Игнатьевич, — пришлою я к тебе вместо себя своего сына, Михайлушку, будет он защитой Киеву, будет оградой всему народу христианскому.

Отпустил князь Данилу в монастырь спасти грешную душу, Богу молиться за него, князя Солнышка, и за всех православных христиан.

Узнал неверный царь о том, что нет уже более в Киеве могучего богатыря Данилы, двинулся под Киев с несметными ордами, требует, чтобы князь Владимир выслал к нему какого-нибудь богатыря на поединок.

Вышел князь Солнышко на балкон своего высокого терема, посмотрел в поле — ужаснулся: словно туча черная, стоит в поле неверная сила; облегла славный стольный город и с полудня и с севера.

Созвал Владимир к себе на совет князей, бояр богатых, богатырей могучих, спрашивает их:

— Кто из вас, князья-бояре, удалые молодцы, съездит в поле, пересчитает силы неверные, чтобы нам потом поразмыслить, как расправиться с погаными?

Молчат богатыри: больший прячется за среднего, средний за младшего, а младший боится и слово вымолвить.

Поднялся тут молодой Михайло Данилович, подходит к князю, отдает низкий поклон и молвит:

— Отпусти меня, князь, пересчитать неверных!

— Ох, Михайлушко, молод ты больно, разумом еще не дошел: всего-то тебе навсего двенадцать лет от роду. Даром сложишь свою бедную головушку!

Не понравились Михайле Данилычу такие речи; вышел он из гридни — как захлопнет за собой с сердцов дубовые двери: на мелкие щепки двери раскололись, вся гридня зашаталась.

Взял Михайло у родимой матушки благословенье ехать в чистое поле навстречу неверным, оседлал доброго коня и отправился в путь.

Едучи по полю, раздумался Михайло:

«Неладно я сделал, что уехал в дальнюю дорогу, не благословясь у своего родимого батюшки, старца Данилы!»

И поворотил Михайло коня к монастырю, где жил старец Данило; чувствует Михайло — земля под ним всколебалась: это вышел отец его к нему навстречу.

— Куда, Михайло, путь держишь?

— Еду, батюшка, в чистое поле переведаться с неверными.

Не хотел Данило отпускать своего сына в опасный путь.

— Молод ты, Михайло, для такого дела, разумом еще не дошел!

Рассердился Михайло, не стал и слушать отцовских советов, повернул коня назад... Пожалел его Данило, кричит вдогонку:

— Вернись, милый сын! Возьми мое благословение; слушай, что скажу тебе: как выедешь ты в чистое поле да будешь близ большого холма, крикни

сколько хватит голосу: «Приди сюда, бурушка, лошадь добрая! Служил ты батюшке моему верой—правдою — послужи теперь мне, Михайлушке»; прибежит к тебе на голос конь бурушка. Как будешь ты стоять на высокой горе — отмерь от бурушки пять аршин и разрой землю на том месте: в земле найдешь для доброго конька золотую богатую сбрую.

Все исполнил Михайло, как научил его родимый батюшка: позвал бурушку, оседлал его золотой сбруей, взял в руки тяжелую палицу да саблю острую, а отец за сына горячо молился Господу Спасу и Святой Богородице:

— Спаси, Господи, сына моего Михаила, помоги ему, Пресвятая Богородица, оборонить Киев от неверной силы!

А по дороге к татарскому стану говорит бурушка Михайле человеческим голосом:

— Слушай меня, Михайлушка, бей силы неверные с краю, а не заезжай в середину; да знай, что когда выкопают татары три глубоких погреба, воткнут в них стоймя острые копыя — перескочу я через первый окоп, перескочу и через второй, а через третий не смогу перескочить!

Ударил Михайло коня по крутым бедрам:

— Ах ты, трус, травяной мешок, жалкий конь! Не хочешь мне служить, как следует!

Да и направил коня в самую середину войска; перескочил конь через первый окоп, миновал и второй, а на третий раз запутался в натянутых татарами веревках, уронил Михаила в глубокий погреб.

Схватили татары богатыря за белые руки, надели на них шелковые петли, заковали в железо резвые ноги, повели Михаила к самому хану Уланищу.

Взмолился Михайло Пречистому Спасу с Богородицей:

— Господи, не отдай меня на смех поганым татарам! Всю жизнь стану я служить верой и правдой князю Владимиру, стоять грудью за веру христианскую, за святыя Божии церкви.

Говорит Михайле Богородица:

— Подними, богатырь, руку правую выше головы, опусти левую ниже пояса!

Тут у Михайлы силы втрое прибыло: разорвал он на руках и ногах свои цепи, ухватил тележную ось да и давай ею по татарам помахивать; прискакал сюда же к нему и добрый конь, бурушка, вскочил Михайло на коня, зашел справа татарской силы; побил и в плен понабрал поганых татар, а царю Уланищу отсек голову, насадил ее на острое копьё, везет голову, сам удивляется: уши у царя словно блюда, а глаза как пивные чаши, нос ростом с боевую палицу.

Едет Михайло домой, видит — идет по полю старец Данило; клюка у него в сорок пуд; ходит Данило по полю, мертвых татар клюкой переворачивает, ищет среди них убитого милого сына Михайлу, приговаривает жалобно:

— Убили поганые татары милого моего сына Михайлушку!

— Что ты тут ищешь, старче Данило? — спрашивает Михайло у отца.

Не узнал его Данило, замахнулся клюкою:

— Ах ты, поганый татарин! Подъезжай-ка сюда поближе; вот я рассеку тебя клюкой надвое, и с конем вместе!

— Пойди, милый отец, — говорит Михайло, — подними-ка свой клубок да посмотри на меня!

Обрадовался старый, увидав милого сына здоровым и невредимым, спрашивает его:

— Куда, Михайлушка, путь держишь?

— Еду, батюшка, к князю Владимиру; плохо мне тут приходилось, чуть не срубили меня поганые татары, да помогли мне молитвы твои усердные, вызволили меня из беды. Как вернешься ты в монастырь, моли за меня грешного Спаса Пречистого да Мать Пресвятую Богородицу!

Распрощались тут отец с сыном; направился Михайло к Киеву; въезжает в город не воротами: через высокие стены на коне перескакивает, через башню по воздуху перелетает.



Вышел к богатырю Владимир с прекрасной княгиней Евпраксией; дивятся голове царя Уланища... Веселым пиром отблагодарили они за службу доброго молодца; подарили ласковым княжеским словом и дарами несметными. А враги уже не приходили под стены Киева, пока жил в нем славный богатырь Михайло Данилович.





БОГАТЫРЬ МИХАЙЛО ПОТОК

I

Стал Владимир—князь раздавать службы своим могучим богатырям:

— Свет Илья Муромец! Съезди—ка ты на гору Сорочинскую, побей неверную татарскую силу! А ты, добрый молодец Добрыня, поезжай за море, прибавь земельки Святорусской, привези немалые дани. Поезжай и ты, славный богатырь Михайло Поток, в черные леса дремучие, в государство Лиходеево: возьми с царя Лиходея дани за двенадцать с половиною лет.

И поразъехались богатыри в разные стороны, кому куда было наказано от князя Владимира.

Приехал Михайло Поток в землю Лиходееву, остановился среди чиста поля, раскинул над собою шатер полотняный, на шатер надел золотую маковку, и горит она словно жар, светится далеко в поле.

Думает Поток:

«Не годится мне ехать к Лиходею сонному да голодному; лучше я пережду эту ночь да высплюсь хорошенечко».

Вышла поутру Лиходеева дочь, царевна Марья Лебедь белая, на вышку своего девичьего терема, увидела в поле шатер с золотой маковкой и говорит

сама себе:

«Это могучий русский богатырь заехал в наше царство».



Пошла Лебедь белая к отцу просить, чтоб отпустил ее царь Лиходей в чисто поле на три года, поискать богатырских подвигов.

Говорит царь:

— Дочь моя любимая! Плавала ты уже три года белой лебедью в тихих морских заводях; погуляй еще три года в чистом поле красной девицей — а потом я отдам тебя замуж.

Поклонилась отцу Лебедь белая, побежала в чисто поле; бегут за ней мамушки и нянюшки, не могут догнать ее. Подошла Марья Лебедь белая к шатру и заглянула в него: видит, спит в шатре богатырь красоты неслыханной, невиданной.

Говорит тут Михайле Поток конь его человеческим голосом:

— Проснись, Михайло! Пришла к твоему шатру душа красна девица!

Вскочил Михайло, вышел из шатра; никакой красной девицы не видит, только лебеди плавают по заливам; среди них плывет величаво черная лебедь в золотых перьях, голова у ней унизана скатным жемчугом и камнями самоцветными.

«Дай подстрелю эту лебедь», — думает Поток.

Высоко взвилась лебедь, зачуяв стрелу богатырскую, и, опустясь на землю, обернулась красной девицей.

— Добрый молодец, — говорит она Поток, — не знаю, как звать тебя по имени, величать по отчеству, князь ли ты или королевич... Знаю только, что ты русский богатырь; посади же меня на своего добра коня, свези меня в Киев, приведи в веру Христову, возьми за себя замуж.

Понравилась богатырю речь красной девицы, и дали жених с невестой друг другу такой зарок: когда они поженятся, и если кто-нибудь из них умрет первый, то другой должен за ним живой в гроб идти.

II

Не ясные соколы слетались вместе, то съехались в Киев могучие славные богатыри на честной пир к князю Владимиру.

Говорит Илья Муромец:

— Здравствуй, Солнышко-князь! Ездил я в чистом поле, покорил для тебя немало неверных народов, привез большие дани.

Говорит Добрынюшка:

— Был я за синим морем, покорил неверные народы, прибавил земли Святорусской.

Думает Михайло Поток:

«Чем-то я похваляюсь перед князем? Не добыл я ему дани, а себе славы; добыл я себе только молодую жену, Марью Лебедь белую; умный молодец женой не хвалится».

И говорит Михайло:

— Был я у царя Лиходея Лиходеевича, играл я с царем в шахматы золоченые; выиграл я с него сорок тысяч золотой казны; только когда вез я казну в Киев, у телег подломились оси, а потому вырыл я глубокий погреб, запрятал в него казну, землей засыпал, а сам приехал в Киев.

Посылает Владимир Потока опять за море:

— Кстати ты, Михайло, выиграл казну с Лиходея: нужно ведь нам с ним расплатиться; должны мы царю дани за двенадцать с половиною лет. Вернись ты к нему и отдай ему назад его золотую казну.

Поехал Поток назад в темные леса, ехал целых три месяца, приехал на широкий двор Лиходеевых палат, слез с коня, привязал его к золотому кольцу, дал ему пшеницы белояровой, а сам пошел к царю в палату; отдает низкий поклон на все стороны, царю кланяется особенно.

— Здравствуй, царь Лиходей Лиходеевич!

— Здравствуй, добрый молодец, не знаю, как тебя звать-величать.

— Зовут меня Михайло Поток, а приехал я к тебе вот по какому делу: слышал я, что любишь ты, царь, играть в золоченые шахматы; ставлю я в заклад свою буйную голову; коли проиграю — буду служить тебе верою-правдою целых сорок лет; а если ты мне проиграешь — отдай мне сорок телег, доверху насыпанных чистым серебром.

И выиграл Михайло сорок телег, насыпанных чистым серебром.

Жалко стало Лиходею проигранной казны.

— Поиграем еще, Михайлушко, на сорок телег красного золота, на сорок лет твоей богатырской службы.

Выиграл Михайло и во второй раз.

Разыгралось сердце в царе, и стал он просить Михайлу поиграть с ним еще и в третий раз.

— Если ты выиграешь — прикажу насыпать тебе еще сорок телег красным золотом; если проиграешь — будешь мне слугою до самой смерти.

И в третий раз проиграл царь Лиходей.

Тут прилетел под окно царских палат сизый голубь и говорит Михайле человеческим голосом:

— Играешь ты, Поток, забавляешься, над собой горя не чувствуешь; ведь сегодня умерла твоя милая хозяйшечка, Марья Лебедь белая.

Как вскочит Поток с места, ударил о пол шахматной доскою, весь пол всколебался, стены каменные попадали; сам царь Лиходей со страху на землю свалился.

Говорит ему Поток:

— Собирай казну, царь, вези ее в Киев—город князю Владимиру!

Сам выбежал из палат, сел на коня, просит, молит доброго бурушку:

— Добрый конь! Нес ты меня сюда три месяца, неси меня назад три часа.

Побежал конь, что было силы, реки, озера перепрыгивал, темные леса между ног пропускал.

Приехав в Киев, стал просить Поток своих братьев названных, могучих богатырей:

— Крестовые мои братья! Славный богатырь Илья Муромец! Помогите мне построить колоду дубовую, широкую, высокую, чтобы в ней пойти мне в сырую землю, вместе с моей покойной хозяйшкой, на целых три года; положите мне с собой хлеба—соли, чтобы было что есть—пить, лежа в земле сырой.

Построили Михайле братцы колоду из белого дуба; сам он выковал в кузнице прутья: железный, медный, оловянный, взял их с собой. Опустили Михайлу в землю вместе с гробом жены, с конем, с оружием, с разными припасами, забили колоду железным обручем, засыпали желтыми песками.

Стал жить богатырь в земле с мертвою женой; прошла неделя, другая; приползает однажды ночью к колоде лютая змея: разломала железные обручи, открыла колоду, увидала Марию Лебедь белую. Рада—радешенька змея, что есть чем поживиться, — кинулась на покойницу.

Тут Поток как сдвинет камни вместе — ущемил змею, придавил железным обручем, стал сечь железными прутьями.

Взмолилась подколотная змея:

— Не трогай, не бей меня, добрый молодец, принесу я тебе живой воды через три года.

Не слушает Поток, бьет змею железными прутьями.

— Не бей меня, Поток, принесу я тебе воды через два года!

— Долго ждать, — говорит Поток.

И стала змея уменьшать срок; наконец обещала Михайле принести живой воды через три часа.

— Оставь мне здесь в залог своих змеенышей, — говорит богатырь, — тогда, пожалуй, отпущу тебя за водою.

Оставила змея змеенышей, через три часа приползла назад, принесла с собой живой воды.

Захотел узнать Поток, правду ли говорит змея, что принесла живой воды, разорвал он змеенышей надвое, спрыснул живой водой: срослись и ожили змееныши.

Тогда взял Поток обещание со змеи, что не будет она заползать в могилы, беспокоить мертвых, и отпустил ее.

Спрыснул богатырь Марью Лебедь белую живой водой; ожила она, встала да и говорит:

— А долго же спала я нынче.

Отвечает Поток:

— Да кабы не я, спала бы ты тут вечные веки!

Стал размышлять Михайло, как бы ему из земли выбраться, закричал о помощи, что было голосу. От того крика земля задрожала. Услыхали Добрыня с Ильей знакомый голос.

— Ведь это наш крестовый брат, Поток, зовет на помощь; знать, душно ему в сырой земле.

Разрыли богатыри могильный холм, увидали дивное диво: вышел Поток из гроба вместе с молодой женой.

Пошла тут по всей земле слава о красоте неописанной Михайловой жены, Марьи Лебеди белой, об ее великом разуме.

Прослышал о красавице и царь Иван Окулевич. Приехал он на Русь с сорока царями–царевичами, с сорока королями–королевичами, захотел добыть себе Марью Лебедь белую, стал ее упрашивать, умаливать:

— Поди за меня, красавица, замуж; за мною будешь ты слыть царицею, а теперь за Потоком только и слывешь ведь работницей князя Владимира!

Захотелось Марье быть царицей; изменила она милому мужу, пошла замуж за Ивана Окулевича и ускакала вместе с ним.



А Михайло сидит себе в поле, ничего знать не знает; приехали тут к нему Илья да Добрыня, поведали Поток новое горе.

— Братцы крестовые, — говорит Михайло, — поедemте вместе за женой моей в погоню.

— Не годится нам, — отвечают богатыри, — за чужой женой скакать в погоню; есть дома дела поважнее. Поезжай ты один, сруби голову царю Ивану Окульевичу за его недобрые дела!

Поехал Поток. Скоро настиг он жену свою. Увидав его, испугалась Марья Лебедь белая, плачет горько и говорит мужу:

— Силой взял меня за себя замуж Иван Окульевич; тяжело мне жить без тебя, добрый молодец, выпьем вместе с горя чару зелена вина.

Поверил ей Поток, а она вместо вина поднесла ему чару сонного зелья; упал на сыру землю молодой богатырь, крепкий сон сковал его.

Говорит Марья Лебедь белая Ивану Окульевичу:

— Отсеки Михайле голову, чтобы он нас не преследовал.

— Нет, Марья Лебедь белая, — отвечает царь, — стыдно бить лежащего да сонного; пусть проснется — тогда я с ним померяюсь силушкой.

Подняла тогда Марья сонного мужа, бросила его через правое плечо, сама приговаривает:

— Где был добрый молодец, пусть станет белый горячий камень; три года пусть поверх земли лежит, на четвертый — в землю уйдет.

Окаменел богатырь и в землю сырую ушел.

Вспомнили Илья да Добрыня о своем крестовом братце, соскучились, поджидая его, надумали поехать посмотреть, как он живет—может.

Оделись они нищими—каликами, отправились в путь—дорогу в землю Сарацинскую, видят: идет им навстречу такой же калика, как они сами, старый, седой да сгорбленный.

— Здравствуй, Илья Муромец, старый казак, здравствуй, молодой Добрынюшка Никитич, возьмите меня с собой в товарищи.

— Здравствуй, дедушка! Что ж, пойдем с нами в Сарацинскую землю.

И думают богатыри, что старику не угнаться за ними, а видят, что он еще впереди их идет.

Пришли они в Сарацинскую землю к царю Ивану Окульевичу, стали просить милостыни громким голосом; от их голоса земля задрожала.

Выглянула Лебедь белая в окошко, говорит Ивану Окульевичу:

— Это не калики перехожие, а славные русские богатыри: Илья Муромец да Добрыня Никитич, а третьего я не знаю. Зови их к себе в палаты, принимай радушно, угощай, встречай честным пиром.

Хорошо встретил богатырей Иван Окульевич, угостил на славу, одарил богатыми подарками, забыли они и про Потока. Уже на обратном пути вспомнили, зачем ходили в Сарацинское царство; вернулись, стали Лебедь белую расспрашивать о Потоке.

— Лежит крестовый ваш брат у креста Леванидова горячим камнем.

Пошли калики отыскивать названного брата; старик привел их к камню да и говорит:

— Высышем—ка золотую казну, что подарил нам царь Иван Окульевич, поделим ее, сколько придется на брата.

И видят богатыри, что старик раскладывает золото на четыре кучки.

— Кому четвертая доля? — спрашивают богатыри.

— Тому, — отвечает старик, — кто этот камень через плечо бросит, обернет его богатырем Потоком.

Схватился Добрыня за камень: едва до колен камень приподнял, сам по колена в землю ушел.

Взялся Илья за камень — еле поднял камень до пояса.

Тогда сам старичок взял камень, через плечо бросил; обернулся камень богатырем Потоком.

Говорит богатырям старичок:

— Знайте, что я Никола Можайский, помогаю вам крепко стоять за свою родину.

И исчез святой из глаз богатырей; тут они поставили ему часовенку.

А Поток ожил, расправил свои могучие плечи, попрощался с богатырями, поехал жену свою выручать.

Обманула его злая чародейка Лебедь белая, напоила зеленым вином, стащила в глубокий погреб, прибила к стене гвоздями за руки и за ноги, ударила молотом по лицу, замкнула крепкими замками, оставила умирать одного.

Была у царя прекрасная сестра, душа–девица Настасья Окульевна, спустилась она в глубокий погреб посмотреть на богатыря, а Поток тут очнулся, говорит ей:

— Помоги мне, душа–девица.

— Хорошо, — говорит она, — а ты накажешь смертью Лебедь белую, возьмешь меня за себя замуж?

Пообещал ей Поток жениться на ней, если она выручит его из беды.

Отковала Настасья Окульевна богатыря от стены, вместо него прибила к стене мертвого татарина, надела на Потока свою соболью шубку, увела его в свой терем, залечила его раны и говорит ему:

— Теперь ты здоров; надо добыть тебе оружие, да латы, да доброго коня.

Пошла Настасья Окульевна к брату да и говорит ему:

— Милый брат! Неможется мне что–то! Вот если бы дал ты мне коня да латы и оружие — поехала бы я погулять в поле; может быть, опять стала бы я здоровой и веселой.

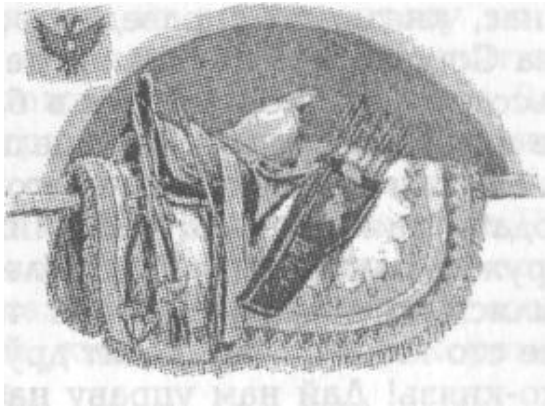
Дал ей царь все, что она просила, а она снесла латы и оружие Потоку; оделся богатырь, вскочил на коня и выехал в чистое поле. Увидав его, ужаснулась Белая лебедь, говорит:

— Погубила нас Настасья Окульевна!

И думает Марья Лебедь белая, как бы еще раз перехитрить Потока: зовет его к себе, подносит ему чару зелена вина с сонным зельем.

Уже взялся Поток за чару, хочет пить, да случилась тут Настасья Окульевна; толкнула она богатыря под руку, уронил он чару, расплескал питье, смотрит на всех, словно от сна проснулся, спали с него злые чары.

Разгневался Поток на жену, отрубил ей голову, а Настасью Окульевну взял за себя замуж. Повенчались они в церкви Божьей золотым венцом, стали жить–поживать лучше прежнего.



ЧУРИЛО ПЛЕНКОВИЧ

Явилось однажды к Солнышку–князю Владимиру сто молодцов–киевлян; пришли они избитые, в разорванных платьях; идут, на ходу пошатываются, приносят князю горькую жалобу:

— Рассуди нас, князь, по справедливости с Чурилой Пленковичем: на Сороче–реке появились неведомые люди, дружина в пятьсот человек, одеты они в бархатные кафтаны, в золотые шапки; забросили они шелковые невода в воду; всю рыбу из реки повыловили; нечего нам, государь, тебе на стол подать, заслужить от тебя милости. А называет себя эта дружина людьми Чурилы Пленковича.

Только скрылись со двора князя эти челобитчики — приходят другие сто киевлян, приносят другую жалобу:

— Солнышко–князь! Дай нам управу на Чурилу Пленковича; сегодня пришла его дружина на тихие заводы; всю птицу дикую перестреляла;

нечего тебе, государь, к столу подать, нечем заслужить твоего жалованья.

Вслед за второй толпой киевских жителей является и третья:

— Ласковый князь! Уйми дружину Чурилы: пришли к нам пятьсот молодцов: наставили силков в темных лесах, куниц, лисиц повыловили, перебили черных сибирских соболей. Нечего, государь, тебе во двор принести, нечем заслужить твоего жалованья.

Взглянул тут князь в окно и видит: едут к Киеву пятьсот молодцов; кони под ними гнедые, все одной масти, седла под ними золотом разукрашены, сапоги на молодцах из зеленого сафьяна, кафтаны из голубой парчи, разноцветными поясами подпоясаны, шапки из литого золота; сидят молодцы на конях — словно свечи горят. Стали молодцы по Киеву разъезжать, пошаливать, весь лук на огородах повыдергали, всю капусту с корнем повырывали.

Толпами валит народ с жалобами к князю на широкий двор; весь Киев тут собрался: и князья с княгинями, и знатные бояре, и жители городские; просят суда на Чурилиных людей.

Рассердился Владимир:

— Как вы просите у меня суда на Чурилу, когда я даже не знаю, где он живет, где его двор стоит.

Говорят бояре:

— Свет-государь! Не в Киеве, не за Киевом стоит двор Чурилы, а стоит он на Почай-реке, тянется на семь верст, обнесен булатным тыном; двери везде точеные, ворота хрустальные, косяки и подворотни из дорогого рыбьего зуба, а во дворе стоит семь теремов.

Захотелось Владимиру посмотреть на такое роскошное жилье, и собрался он в путь-дорогу ко двору Чурилы; взял с собой и князей, и бояр именитых, и богатырей могучих, и горожан киевских. Приехал Владимир на Почай-реку, смотрит на Чурилин двор, удивляется: правду молвили люди о несметном Чурилином богатстве! Видит князь, выходит на крыльцо старик, отец Чурилы; шуба на нем соболя, золотой парчой крытая, золотыми пуговицами застегнута; кланяется Владимиру отец Чурилы:

— Пожалуй, князь, в высокие хоромы хлеба-соли с нами откусать.

— Назовись, добрый человек, — отвечает князь, — как тебя звать-величать, чтобы знали мы, у кого будем хлеб-соль отведывать.

— Я Чурилин батюшка — Пленко, — сказал старик и повел Владимира в хоромы.

Видит Владимир: стоят терема из белого дуба; к главному терему ведут трое ворот: первые — резные раскрашенные, вторые — хрустальные, третьи — из олова литые, золотыми маковками украшены, а уж в тереме такое убранство, что и пером не описать: пол посередине из чистого серебра, стены

серым соболем обиты, а потолок черным. Вся в тереме красота небесная: на небе солнце и в тереме солнце, на небе месяц и в тереме месяц; около месяца частые звездочки рассыпались.

Открыл князь окошко, увидел во дворе нарядную толпу.

— Не тут ли Чурило? — спрашивает князь Пленко.

— Нет, князь! Чурило еще в церкви, обедню слушает.

Появилась тут во дворе другая толпа, еще нарядней и лучше: человек более тысячи, посреди, всех лучше и краше, едет добрый молодец; шуба на нем соболя, золотыми пуговицами застегнута; каждая пуговица по яблоку.

Владимиру даже боязно стало: не царь ли едет с ордой, не король ли из Литвы, или не едут ли великие послы сватать княжую племянницу, Забаву!

Говорит Пленко:

— Не страшись, князь, это сын мой Чурило возвращается домой.

Едет Чурило, с коня на коня перепрыгивает, из седла в седло перескакивает, копьё из руки в руку перекидывает. Несут над Чурилой большой зонтик—подсолнечник, чтоб не загорело от солнца белое лицо Чурилы.

Слез с коня Чурило, идет по двору легкой частой походочкой; идет — под ногами травы не мнет.

Как сказали Чуриле, что сам князь у него в гостях, — взял Чурило золотые ключи, отворил свои богатые амбары, достал меха черных соболей, куниц и лисиц, подарил Владимиру дорогие шубы соболя, а боярам лисьи, а купцам куньи; раздарил горожанам золотой казны без счета.

Говорит Владимир:

— Много было мне принесено на тебя жалоб, добрый молодец, да не хочу тебя судить, старое поминать: уж очень ты мне полюбился, свет Чурило Пленкович!

И зовет его князь к себе в Киев:

— Будешь у меня стольничать—чашничать!

Согласился Чурило. Остался князь ночевать у него в доме; положил его Чурило на пуховую постель, усыпил игрою на звонких гусях, а поутру поехали они вместе в Киев, и сделал Владимир пир для Чурилы.

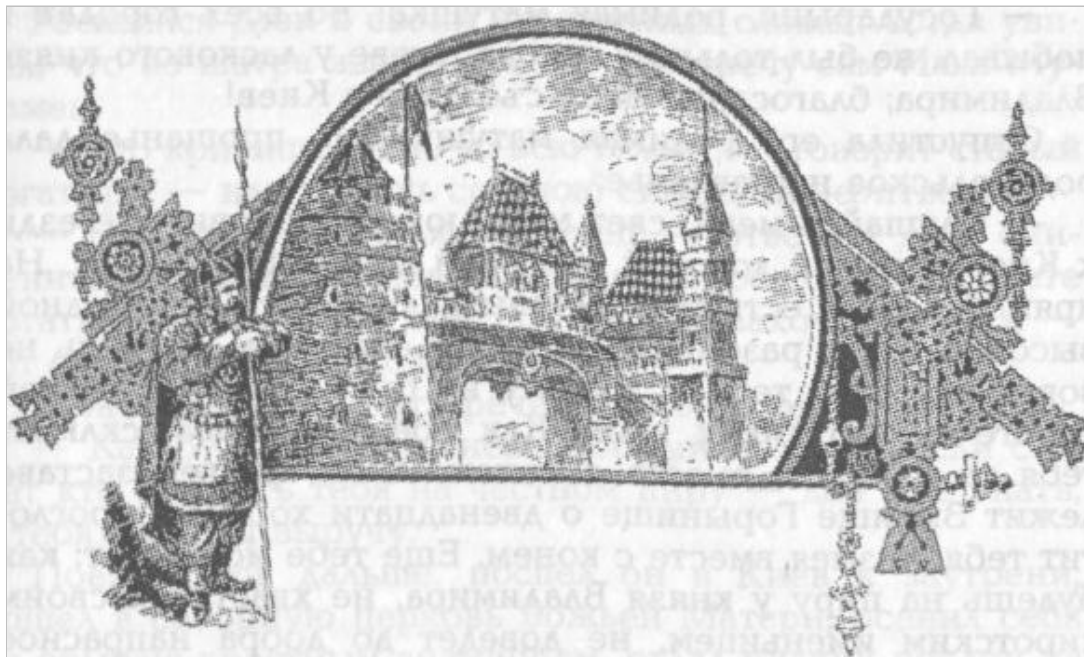
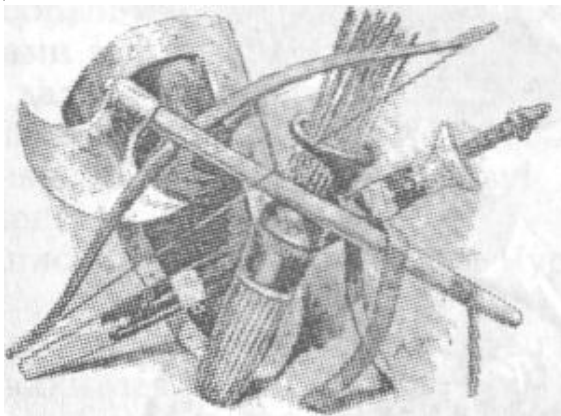
На пиру сама княгиня Евпраксия загляделась на красоту Чурилы; руку себе ножом порезала, заглядевшись.

Пожаловал князь Чуриле еще должность:

— Свет Чурило, ходи—ка ты по Киеву на пиры мои собирать честной народ, князей—бояр, горожан именитых.



Идет Чурило по Киеву, желтыми кудрями потряхивает; на руках у него шелковые перчатки, на голове золотая шапка, на ногах сафьяновые сапоги. Смотрит на него народ, не налюбуется, красны девицы тихонько из теремов на него поглядывают, старые старухи, засмотревшись, прялки ломают; заывают Чурилу в гости и князя–бояре, и горожане именитые, и богатые купцы.



ДЮК СТЕПАНОВИЧ

Далеко–далеко, за синими морями, за высокими горами, в Индии заморской, в богатой Волынь–земле жил добрый молодец, молодой купец Дюк Степанович.

Не ясный сокол пролетел, не белый кречет вспорхнул — то молодой Дюк поехал охотиться на гусей, лебедей, на малых серых уток. Расстрелял

Дюк свои золотые стрелы, не убил ни одной птички; еще вынул три стрелы, самые драгоценные, и те извел напрасно. Покачал Дюк головою и говорит сам себе:

«Извел я напрасно свои дорогие стрелы, а были стрелы на три грани гранены, пером сизых орлов оперены; ручки у стрел были яхонтами разубраны, где летит стрела — луч света бросает за собой; днем светит, словно луч солнца красного, вечером — словно луч ясного месяца».

Собрал Дюк свои стрелы в колчан и вернулся в родной Галич.

Приехал Дюк домой, когда в церкви шла вечерня, и пошел к Божьему храму на церковное крыльцо встречать свою родимую матушку.

Вот выходит из церкви Дюкова матушка; кланяется ей Дюк низко, достает до земли кудрями, просить у ней благословения:

— Государыня, родимая матушка! Во всех городах я побывал, не был только в городе Киеве у ласкового князя Владимира; благослови меня съездить в Киев!

Отпустила его родимая матушка, на прощанье дала родительское наставление:

— Слушайся меня, свет мой Дюк Степанович, не ездь к Киеву прямой дорогой, поезжай дорогой окольной. На прямой дороге есть три заставы великие; стоят на одной высокие горы, разойдутся и опять сойдутся, поедешь не вовремя — тут тебе и живому не быть. Есть на прямой дороге гнездо диких птиц. Как поедешь мимо, склюют тебя те птицы и вместе с конем. А на третьей заставе лежит Змеище Горынище о двенадцати хоботах, проглотит тебя та змея вместе с конем. Еще тебе мой совет: как будешь на пиру у князя Владимира, не хвастайся своим сиротским именищем, не доведет до добра напрасное хвастовство.

Простился Дюк с матерью, пошел на конюшню выбрать себе в дорогу жеребца неезженного — выбрал косматого бурушку; была у бурушки грива в три сажени длиною, на все стороны развевалась, словно скатный жемчуг рассыпалась. Оседлал Дюк своего бурушку, Бахмата-коня, черкасским седельцем, ценою в две тысячи, с серебряными подпругами, с булатными стременами заморскими, накинул попону, красным золотом, серебром строченную, ценою в три тысячи; взял Дюк с собою свое цветное платье, захватил и дорогие стрелы.

Выехал Дюк... Как взвился бур ушка — первый скачок сделал — на целую версту ушел, а со вторым только его и видели: с горы на гору он перескакивал, реки и озера перелетывал.

Приехали они к первой заставе; не успели горы сдвинуться да раздвинуться, как они мимо проскользнули; приехали и на вторую заставу

— не успела птица крыльев расправить, как они промелькнули, и на третьей заставе еще змей хобота не успел протянуть, как они уже за версту были.

Наконец, в поле наехал Дюк на шатер белополотняный и, не подумав, крикнул громким голосом:

— Эй, кто там стоит в белополотняном шатре? Выходи с Дюком побороться!

Сначала никто не ответил ему; тогда Дюк крикнул и второй и третий раз и разбудил спавшего богатыря.

Раскаялся Дюк в своих неразумных словах, когда увидел, что из шатра вышел к нему навстречу сам Илья Муромец.

— Что кричишь, Дюк, во всю голову, — говорит старый богатырь, — или хочешь со мною силами помериться?

— Нет, славный Илья Муромец, — отвечает Дюк смиренно, — одно на небе солнце красное, один на свете богатырь Илья: кто с ним помериться захочет силами — тот сложит в бою голову.

Полюбились Илье эти речи, и говорит он Дюку:

— Как будешь ты в Киеве, добрый молодец, если станет кто обижать тебя на честном пиру — дай мне знать, я тебя из беды выручу.

Поехал Дюк дальше, поспел он в Киев к заутрени; пошел в соборную церковь Божьей Матери, осенил себя по обычаю крестным знаменiem, отдал низкий поклон на все четыре стороны и занял место между Владимировыми боярами: Бермятой Васильевичем да Чурилой Пленковичем; сам посматривает на свое цветное платье, не обрызгал ли его ненароком, не испортил ли по дурной погоде.

Спрашивает его князь Владимир о роде-племени.

— Свет-государь, приехал я из Галича, из Индии богатой, зовусь Дюком Степановичем, а родом боярский сын.

— Скажи, добрый молодец, давно ли ты из Галича?

— Вчера я после вечерни выехал из дома — сегодня в Киев поспел к заутрени.

Говорят между собою князь и бояре:

— Что за сказки рассказывает нам богатый молодец! Прямой дорогой из Галича в Киев нельзя проехать меньше трех месяцев, да и то на хорошем коне.

— Дороги ли у вас в Галиче кони? — спрашивает Владимир.

— Свет-государь! Есть у нас кони и по рублю, иной и два рубля, иной и все пятьсот, а моему бурушке и цены нет.

Говорят тут князь и бояре:

— Не видать, чтобы Дюк был боярским сыном: больно много хвастается, держать себя не умеет. Больше похож он на мужика

деревенского; жил, вероятно, у купца, украл у хозяина цветное платье, а как жил у боярина — своровал себе коня да и похваляется напрасно.

Однако, отстояв Божью службу, вышли они все вместе на улицу. Идет Дюк, посматривает на свои сафьяновые сапожки, на длинную шубу — головой покачивает.

Смеются бояре:

— Еще не налюбовался, молодец, на свое цветное платье, никогда еще, верно, такого не нашивал.

Отвечает Дюк:

— Не потому я осматриваюсь, что люблюсь на свое цветное платье, а вижу, что все у вас в Киеве не по-нашему: у нас в Галиче, как идет моя матушка домой из церкви — везде по улицам настланы мостки дубовые, по мосткам положены суконные постилочки; впереди идут слуги с лопатками и метлами — очищают дорогу; пройдешь — не запылишь сафьяновых сапожек, не запачкаешь цветного платья.

Как пришли гости в терем, сели за столы белодубовые — пьет Дюк вино, головой покачивает:

— Все у нас в Галиче не по-вашему: у матушки моей погреба вырыты в земле, глубиной в сорок сажен; зелено вино привешено на серебряных цепях в крепких бочках; в поле из погреба проведены трубы; повеет ветер из поля в погреб, всю сырость на воздух вынесет, и вино не затхлое, не горькое в бочках, а свежее, крепкое, не то, что у вас в Киеве.

Ест Дюк крупчатый калачик, нижнюю корочку отламывает. Спрашивает Чурило Пленкович:

— Что это ты, Дюк, чванишься, не ешь нижней корочки?

— Не гневись на меня, Солнышко-князь, а только пекут у тебя калачи не по-нашему, в глиняных печках, вытирают печи сосновой мочалкой; оттого нижняя корочка пригорает, сосной пахнет. У моей государыни-матушки печки муравленые, метелки шелковые, в медвяной росе омытые, за то и вкусны калачи: один съешь — другого хочется.

Стало тут досадно Чур иле, что так хвастается Дюк, и говорит ему Чурило:

— Правда ли все, что ты рассказываешь, добрый молодец? Давай-ка побьемся с тобой о заклад, чтобы нам три года друг перед другом по Киеву красоваться, каждый день надевать новое платье цветное, одно другого наряднее: кто первый отступится и проиграет — заплатит восемьсот рублей.

И поручились тут все за Чурилу: и князь, и княгиня, и бояре, и купцы — за Дюка никто не ручается.

Догадался Дюк, как ему поступить, — сел он за стол, написал письма скорописчатые, припечатал их к стрелам, расстрелял стрелы в чистое поле.

Одну стрелу нашел Илья Муромец, прочитал Дюково письмо, прискакал в Киев, поручился за Дюка; на заклад поставил коня и свою голову.

Написал Дюк еще письмо своей родимой матушке, положил в сумочку, а сумочку спрятал под седло и послал в Галич своего верного бурушку.

Говорят дома слуги Дюковой матушке:

— Видно, нет в живых, государыня, твоего любимого сына, что бурушка один прибежал домой!

Горько заплакала Дюкова матушка. Стали слуги расседлывать бурушку и нашли письмо. Обрадовалась Дюкова матушка, что жив милый сын. Напоили бурушку ключевой водой, накормили белояровой пшеницей. Выбрала матушка для Дюка несколько сот перемени цветного платья на три года, привязала к седлу; назад поехал бурушка в Киев.

Стали Дюк с Чурилой щеголять по Киеву: что ни день — новый наряд; пришел и последнего года последний день. Надел Чурило сапоги из зеленого сафьяна с острыми носками, серебром шитыми, подбитые золотыми гвоздями, надел соболью шубу с золотыми пуговицами литыми, на каждой пуговице вышито по доброму молодцу, в петлях вышито по красной девице; как проведет Чурило по пуговицам — начнут красные девицы наливать вина добрым молодцам, проведет по петлям — добрые молодцы на гусях заиграют; еще надел Чурило высокую шапку пушистую, спереди не видно лица белого, сзади шапка закрывает Чуриле всю голову.

Только Дюк нарядился еще богаче: надел лапти, семью шелками шитые, дорогими камнями разукрашенные, днем камни горят, как солнце, вечером — словно ясный месяц. Была на нем богатая шуба парчовая, в пуговицах вышиты диковинные звери, в петлях вышиты лютые змеи; проведет Дюк по пуговицам — заревут дикие звери, проведет по петлям — засвистят, зашипят лютые змеи; от того реву и свисту все в Киеве на землю ничком попадали.

Выиграл Дюк заклад в восемьсот рублей, а Чурило тут же новый заклад выдумал:

— Испытаем, Дюк, наших добрых коней, чей конь через Днепр-реку перескочит, а в заклад поставим свои буйные головы: кто проиграет — тому голову с плеч долой.

Говорит Дюк:

— Придумал ты, Чурило, неладное; твой конь живет в холе и в неге, а мой устал от дальней дороги!

Пошел Дюк к своему бурушке, обнял его за шею, призадумался крепко.

Говорит бурушка:

— Не бойся, Дюк Степанович, перескочу я через Днепр, хватит у меня силы с Чурилиным конем потягаться; он ведь мне меньшей брат, а больший

мой брат служит Илье Муромцу, а второй у Добрыни Никитича.

Настало утро: на Днепре видимо–невидимо народа: все пришли смотреть на Чурилу и Дюка. Вдруг в степи пыль поднялась — прискакал Илья Муромец в случае беды заступиться за Дюка, как обещал ему.

Шириной река в три версты. Смотрит на Днепр Чурило — сам испугался, да нечего было делать; разогнал Чурило своего коня и прыгнул первый... Попал Чурило в середину Днепра, а как Дюк прыгнул — перескочил реку, еще на версту берега прихватил да Чурилу по дороге из Днепра вытащил.

Пришел конец Чуриле, да князь с княгиней попросили Дюка отпустить им их стольника, не рубить его буйной головы, и Дюк отпустил его.

И задумал Владимир послать посла в Галич переписать Дюково богатство.

Говорит Дюк:

— Не посылай, князь, Алешу Поповича — у Алеши глаза завидушие, увидит он мое богатство, глаза у него разбегутся — ничего он и не перепишет; пошли лучше Добрыню Никитича.

И поехал Добрыня в Галич. Видит — среди города стоят три высоких терема; отроду Добрыня такой красоты не видывал; вошел Добрыня в главный терем, вступил в богатую палату; видит — сидит в ней старушка вся в шелку да в бархате, а около нее стоят пять сенных девушек.

Говорит Добрыня:

— Здравствуй, Дюкова государыня–матушка.

Отвечает старушка:

— Я вовсе не Дюкова матушка, а только матушки его прислужница.

Совестно стало Добрыне за свою ошибку, пошел он дальше по хоромам; видит — сидит в большой палате старушка вся в серебре, около нее десять сенных девушек; кланяется ей Добрыня.

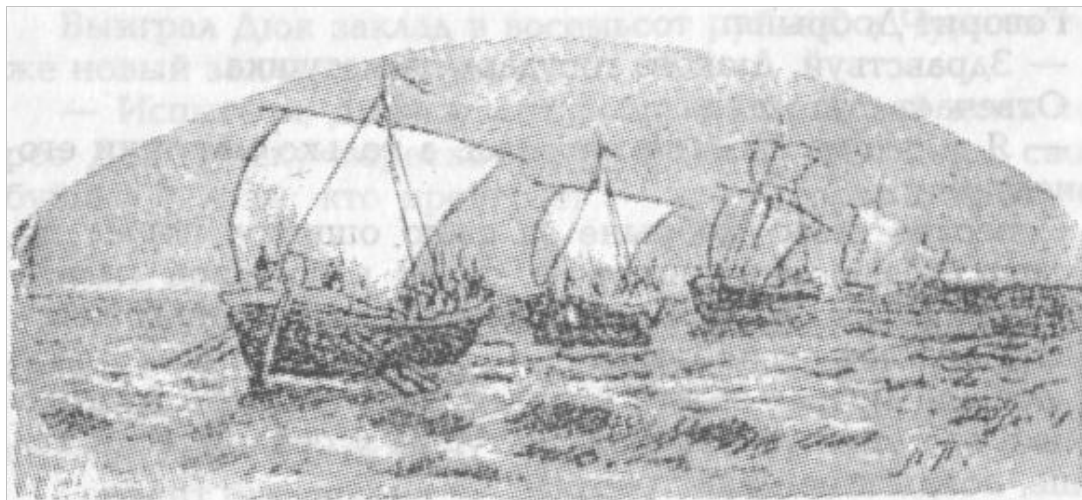
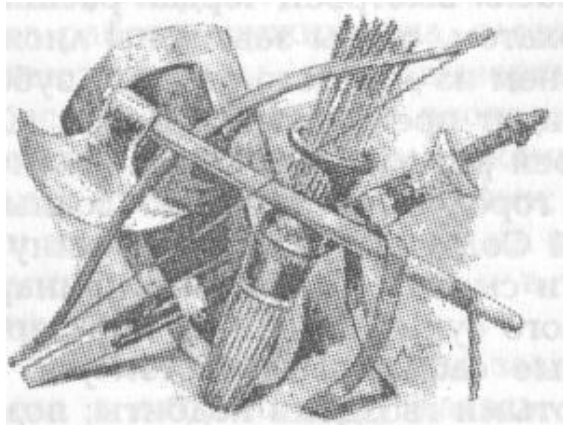
— Ошибся ты, добрый молодец, я не матушка Дюку, а только его стряпуха; Дюкова матушка у обедни; если хочешь, пойді к ней навстречу.

Пошел Дюк к церкви, видит — идет от обедни Дюкова матушка; впереди слуги сукном мостки устилают; одни идут с метелочками, дорогу очищают, другие несут над госпожой своей зонтик; самую ее тридцать девушек поддерживают под одну руку да тридцать — под другую. Платье на ней цветное; вышито на нем солнце и месяц ясный и частые звезды и зори майские нарисованы.

Поклонился ей Добрыня, рассказал, зачем приехал; приказала она принести золотые ключи, отворила Добрыне амбары, где спрятаны были товары заморские, отворила погреба глубокие, где казна была схоронена. Считал Добрыня, считал, отступился. И написал Добрыня в Киев письмо:

«Если бы привезти из Киева бумаги на шести возах да чернил на трех — то и тогда не описать Дюкова богатства!»

Увидели тогда в Киеве, что правду сказал удалый добрый молодец; подивились люди немало его богатствам несметным, его казне несчетной.



СОЛОВЕЙ БУДИМИРОВИЧ

Из—за дальнего моря, из—за славного острова Кадольского, из богатого города Леденца выплывало, выбегало тридцать кораблей с белыми парусами, да еще один корабль впереди всех — имя ему «Сокол», а хозяин того корабля сам Соловей Будимирович, богатый добрый молодец.

Все корабли хорошо расписаны, разубраны, а «Сокол» лучше всех: вместо очей у корабля по яхонту вставлено, вместо бровей по черному соболу якутскому прибито, вместо усов два острых ножа булатных воткнуто, вместо ног — два горноста, вместо гривы — две лисицы пушистые, вместо хвоста — два медведя белых заморских; нос расписан по—туриному, а бока по—звериному. Якоря на корабле серебряные, мачты

позолоченные, паруса из дорогой ткани: не гнутся, не трутся, не ломаются, канаты из заморского шелку.

Посреди корабля выстроен чердак расписной: потолок в нем обит бархатом, стены завешены лисицами и соболями, скамья в нем из дорогого рыбьего зуба.

На скамье сидит прекрасный молодец, Соловей Будимирович, со своей родимой матушкой Ульяной Григорьевной. Едут они к городу Киеву к князю Солнышку в гости.

Взял с собой Соловей храбрую дружину в триста молодцев удалых и смелых; богато они принаряжены: кафтаны на них алого сукна, шапки на них черного бархата, сапожки зеленые сафьяновые застегнуты серебряными пряжками, золотыми гвоздями подбиты; под пятой — ворон пролетит, около носка яйцо прокатится.

Приехал корабль под славный Киев; бросила якоря Соловьева дружина в Днепр—реку, положили три сходни на берег, три мостика: один золота красного, другой чистого серебра, третий светлой меди. По первому мостику Соловей сам перешел, по второму мать перевел, а по третьему шла его дружина молодецкая; уплатили гости в таможе пошлины за товары семь тысяч золотом.

Взял Соловей богатые подарки, идет в гридню к князю Владимиру, Спасову образу молится, князю низко кланяется, дары свои подносит: целую мису красного золота, меха черных соболей да сибирских лисиц, а княгине, прекрасной Евпраксии, поднес Соловей дорогих тканей с хитрыми узорами; нарисованы на них были хитрости Цареграда, мудрости Иерусалима, замыслы Соловья Будимировича; а Забаве Путятишне, княжой племяннице, подарил Соловей мису скатного жемчуга.

Понравились дары князю и княгине, зовут они щедрого гостя своего на почестный пир. Говорит Владимир—князь:

— Удалый добрый молодец, Соловей Будимирович, живи у нас в Киеве: выбери себе для житья дворы княжеские, дворянские или боярские.

— Красное Солнышко! Не надо мне столько места: ты отведи мне уголок в саду у Забавы Путятишны среди вишенья—орешенья, там построю я себе три терема, чтобы было мне жить, пока я стою в Киеве.

Князь исполнил просьбу своего гостя, дал ему землю в саду у Забавы.

Пошел Соловей к своему кораблю, говорит дружинишке:

— Братцы мои, работнички! Берите—ка вы топоры булатные, пойдите к Забаве в зеленый сад, постройте мне светлый терем, широкий двор среди вишенья—орешенья.

Принялась за работу дружинишка, словно дятлы в дерево пощелкивают, колоды, дубы вывертывают, во все стороны разбрасывают — к утру поспело

для Соловья светлых три терема с золотыми маковками, с тремя сенями косячатыми и с тремя решетчатыми; в теремах навели работники неопisanную красоту: на небе солнце — и в тереме солнце, на небе месяц — и в тереме месяц, заря зарю сменяет.

Проснулась Забава Путятишна, как зазвонили к заутрени, посмотрела в окошко, диву далась, увидав новые терема у себя в саду.

Надела Забава наскоро соболью шубку на одно плечо, побежала в сад рассмотреть хорошенько дивные терема; слышит — в теремах шум и звон: в первом тереме деньги сыпятся, звякают: кто-то казну считает, во втором Соловей Богу молится, в третьем музыка гремит.

Вошла Забава в третий терем: было там так прекрасно, что у ней от удивления ноги подкосились — села она на скамью.

Вышел навстречу к Забаве сам Соловей Будимирович.

— Здравствуй, красная девица, Забава Путятишна!

Поклонилась ему Забава в пояс, стала его расспрашивать:

— Откуда ты родом, добрый молодец? Холост ты или женат? Если ты холост и я тебе нравлюсь — возьми меня за себя замуж!

Посмотрел на нее Соловей с удивлением:

— Всем ты хороша, девица красная, и понравилась мне; одно мне не понравилось — зачем ты сама себя просватала?

Покраснела Забава, как маков цвет, как вскочит живо на быстрые ноженьки, правой ручкой закрылась, убежала в свой терем, расплакалась горько.

Хочет Соловей жениться на Забаве. Проведала об этом его мать и говорит ему:

— Съезди-ка раньше за море синее, расторгуйся там хорошенечко, тогда вернешься и женишься на Забаве.

Пока Соловей ездил за море, явился в Киев купец — Голый Щап Попов^[29], привез князю подарки, сватает за себя Забаву.

Спрашивает его Владимир:

— Добрый молодец, Щап Давидович, не слыхал ли чего за морем о молодом купце Соловье Будимировиче?

Отвечает Щап:

— Я его встретил в городе Леденце: он не заплатил королю Венецeйскому таможенных пошлин, за то и попал в тюрьму.

Согласился Владимир отдать Забаву за Щапа; уже и свадебный пир устроили.

Об эту пору вернулся в Киев Соловей Будимирович; вышел он с корабля, переодетый в платье каличье, взял с собой сорок товарищей, приходит на княжеский пир.

А на пиру Забава узнала своего суженого да и говорит князю Солнышку:

— Государь свет, родимый дядюшка! Ведь это мой прежний жених, Соловей Будимирович; пойду ему навстречу!

Выбежала Забава из-за стола, пошла Соловью навстречу, взяла его за белые руки, усадила рядом с собой за стол. Наутро обвенчали их святыми венцами в Божьем храме, на пиру княжеском им славу спели. Стали они жить-поживать своим домком, а Щап Попов ни с чем убрался к себе домой.



МИХАЙЛО КАЗАРЯНИН

Не ясный сокол вылетывал, не белый кречет выпархивал — выезжал в чисто поле из Галича добрый молодец, Михайло Казарянин.

Конь под ним — словно лютый зверь: проходу, проезду не дожидает, реку в пятнадцать верст шириною за один раз перескакивает; доспехи на молодце такие, что и цены им нет: латы и панцирь из чистого серебра, кольчуга золотая, шлем ценою в три тысячи, копье в руках как свеча горит; концы на луке из красного золота, а полосы по ним булатные и тетива шелковая; в колчане у Михайлы сто пятьдесят стрел, каждой цена — пять рублей.

Снаряжается Михайло в Киев, в гости к князю Владимиру. Приезжает в Киев после вечерни, приходит в гридню княжескую прямо на почестный пир.

Не случилось тут у Владимира стольника—чашника, сам князь налил для богатыря чашу зелена вина в полтора ведра да турий рог сладкого меда в полтрети ведра.

Подносит князь вино и мед богатырю и говорит:

— Молодой Михайло Казарянин! Сослужи—ка мне службу: съезди к морю синему, настреляй гусей, белых лебедей, налови малых серых утушек, чтобы было мне что на стол подать. А я тебя за это пожалую своей великой милостью.

Помолясь Богу, поехал добрый молодец за добычей; послал ему Господь счастья: видимо—невидимо птиц настрелял Михайло для княжеского стола. Уже повернул он назад своего лихого коня, как вдруг видит — стоит в поле громадный дуплистый дуб; на дубу сидит черный ворон диковинный: ноги и нос у него словно жар горят; сидит, перышки расправляет.

Вынул Михайло тутой лук, достает уже каленую стрелу из колчана, хочет застрелить черного ворона, а ворон говорит ему человеческим голосом:

— Не стреляй в меня, добрый молодец, нет для тебя во мне никакой корысти: кровь мою пить не будешь, мясо мое есть не станешь, а я сослужу тебе службу; слушай же меня хорошенечко: поезжай на высокую гору, посмотри с нее в чистое поле и увидишь в поле три белые шатра; скамьи в них из дорогого рыбьего зуба, а на тех скамьях сидят три татарина, прислуживает им молодая пленница, душа девица Марфа Петровна; поезжай и освободи ее из тяжкого плена.

Послушался Михайло ворона, поехал на высокую гору, увидел татарские шатры и повернул к ним коня своего.

Подъехал к шатрам Казарянин, увидел в шатрах и красную девицу, о которой сказал ему ворон: прислуживает девица поганым татарам, горячими слезами обливается.

Говорят ей татары:

— Не плачь, красная девица! Не тумань своих очей ясных — мы тебе зла не сделаем, увезем тебя в Орду, отдадим замуж за нашего татарина, за доброго молодца.

Разгорелось сердце в Михаиле, как сокол налетел он на шатер, как вихрь повалил злых татар: одного копьем заколол, другого конем затоптал, третьего о сырую землю одним ударом убил и освободил красную девицу.

Говорит она ему:

— Что же не спрашиваешь меня, добрый молодец, об имени, о роде—племени? Я ведь родом из Волыни, из города Галича, дочь купца Марфа Петровна!

Обрадовался Михайло, услышав это.

— Душа, красная девица, — воскликнул он, — ведь ты мне сестра родная! Расскажи, как ты попала в руки злых татар поганых?

— Гуляла я под вечер в своем саду вместе с родимой матушкой; откуда ни возьмись прискакали три татарина—наездника, захватили меня, посадили на коня и увезли с собою.

Забрал Михайло все серебро и золото в татарских шатрах, посадил девицу на татарского коня, двух других коней с собой повел и поехал к Владимиру. Низко кланяется Михайло князю Солнышку.

— Исполнил я твою службу княжескую, настрелял гусей, лебедей, малых утушек да еще убил в поле трех татар, сестру родную выручил из плена, привез добычу — серебра, золота татарского.

Принял князь подарки, щедро угостил на пиру доброго молодца, промолвил ему ласковое слово:

— Честь тебе и хвала, добрый молодец, что служишь мне, моему князю, верой и правдою!



ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВИЧ

Жил—был в Новгороде Великом господине посадский по имени Буслай; до девяноста лет уже дожил он тихо и мирно: не заводил ссор со Псковом, ладил и с матушкой Москвой, и в Новгороде все любили и уважали его.

Жил Буслай, не старился, да ведь не два века жить на белом свете! Пришла смерть и к Буслаю Оставил он по себе вдову да единственного сына, Васильюшку. Буслаева вдова была женщина опытная и разумная: стала она воспитывать Васильюшку в страхе Божьем, научила его письму, чтению церковному, и так хорошо читал и пел Василий в церкви, что народ, бывало, слушает, не наслушается, толпой сбегается в соборный храм.

Выучился понемногу Васильюшка и ратному делу и почувал в себе великую, неслыханную силушку; не дает Василью покоя его силушка: так вот и толкает его на борьбу, на драку — испробовать удаль молодецкую, удачу богатырскую.

Стал Васильюшка по новгородским улицам погуливать, нехорошие шуточки пошучивать: кого возьмет за руку — тому руку оторвет, кого схватит за ногу — тот без ноги останется, кто на ногах стоял — тот сидмя сидит, а кто сидел — тот лежа лежит.

Говорят новгородцы:

— Уймись, Васильюшка, этак ты весь Волхов закидаешь убитыми телами, да и своей головы тебе не сносить!

Услышав это, пошел Василий домой, закручинился. Встречает его родимая матушка, Авдотья Васильевна, и спрашивает:

— Отчего, Васильюшка, ты невесел домой вернулся? Кто тебя не обидел ли на улице?

— Никто меня, родная, не обидел — нет такого человека, который был бы мне равен силою; но грозят мне жители новгородские расплатиться со мною за своих убитых.

— Брось, милый сын, свои недобрые шутки, — говорит Авдотья Васильевна, — да набери себе храбрую дружинушку, чтобы было кому постоять за тебя, если захотят твои враги переведаться с тобою.

Послушался Василий материнского совета, сел на ременный стул, принялся писать записочки; каждую записочку привязывал к стреле каленой, расстрелял по разным улицам все свои стрелы.

А в записочках было написано: «Зовет Василий жителей новгородских к себе на почестный пир: кто хочет сладко пить, есть даровое, носить цветное платье — тот иди к Буслаеву на широкий двор».

Как пошли жители по улицам от вечерней службы, подобрали записки, прочитали их, и все почти собрались на Буслаев двор; всем хочется дарового сладкого угощения — идут толпа за толпой.

На дворе стоит чаша зелена вина в полтора ведра.

Говорит Василий:

— Кто поднимет эту чару одной рукой, выпьет за один раз — того возьму к себе в дружинушку.

— Ну, Василий, — говорят новгородцы, — пришли мы теперь к тебе в гости, все твое кушанье съедим, все твое вино припьем, цветное платье все поизносим, золотую казну порастаскаем.

Не понравились Василью такие дерзкие речи, выскочил он на широкий двор, схватил дубовую палку, стал по двору похаживать и палкой помахивать: махнет направо — лягут побитые целой улицей, махнет налево — ложатся переулком; словно градом набило на землю новгородских жителей.

Видит тут Василий Буслаев — идет к нему в гости Костя Новоторжанин — подходит Костя к чаре зелена вина, берет чару одной рукой, выпивает ее за единый раз. Выскочил Василий из сеней да как ударит Костю своей дубинкой со всего размаха: стоит Костя, с места не тронется, на голове кудри не шелохнутся.

— Будь моим дружинником, — сказал ему Буслаев, увидав его силу и мужество, — войди в мои палаты белокаменные.

Пришел за Костей вслед Потанюшка Хроменький, взял чару одной рукой, выпил единым духом, так же как Костя выдержал — не шелохнулся под ударом Буслаевой дубинушки, и его Василий позвал в свою дружину.

Принял к себе Василий и Фомушку Горбатенького и порешил, что с такими товарищами ему больше некого бояться во всем Новгороде.

Была в Великом Новгороде община Никольщина. Собрались однажды братчики все вместе пир пировать: каждый давал старосте свою долю денег, а старосты на те деньги устроили пир.

Собралось на тот пир много князей, бояр, удалых добрых молодцев; не позвали только Василия с дружиною.

Тогда пришел он на пир незванный, непрошенный, привел с собой и свою дружинушку. Спрашивает:

— Почем следует с брата?

Отвечают братчики нехотя:

— Званому—то гостю хлеб да соль, а незваному и места нет.

Однако Василий заплатил им по пяти рублей за своих товарищей, а за себя самого пятьдесят рублей дал и говорит им:

— Званным—то гостям почетные места отведены, а незванным надо устраиваться, как Бог пошлет!

Идет Василий с дружиной, никого о дороге не расспрашивает; левой ногой вступили они в горницу, а правой прямо шагнули к большому столу в красный угол, на самое лучшее место; стал Василий правой рукой народ

раздвигать: кто на скамье сидел — в угол попал, а из угла его к сеням оттеснили, а оттуда иной и за дверь угодил, и поднялась тут теснота и давка.

Кричит Василий:

— Хотите со мной побиться о великий заклад? Буду я с вами бороться: если одолею вас — заплатите мне денег по три тысячи, а если меня одолеете, повалите хоть до мосту, хоть на мосту — отдам вам свою буйную голову.

— Что ж, мы готовы бороться с тобой, — отвечают новгородцы, — только будем уж всем народом биться с тобой, Василий Буслаев!

И сделали запись об этом великом закладе.

Как проведала о том, что Василий надумал, родная матушка его, Авдотья Васильевна, со страху сердце у ней так и упало:

— Убьют, убьют новгородцы моего милого сына!

Заперла Авдотья Васильевна сына своего дома, дверь закрыла крепкими замками железными, отобрала у него все оружие, сама насыпала полную чару красного золота, а другую чистого серебра, а третью скатного жемчуга, пошла поклониться новгородскому князю, просить помиловать ее любезного сына.

Говорит новгородский князь:

— Ничего не могу для тебя сделать, честная вдова, уже у нас записи сделаны о великом закладе, что держит твой сын; тогда прощу Василия, как голову с него снимут!

Пошла домой Авдотья Васильевна, заплакала горько, все дары свои по земле рассыпала.

— Не дороги мне ни жемчуг, ни золото, дорога победная головушка родимого сына Васильюшки!

Поутру собрались на мосту новгородцы; народу видимо–невидимо, а Василий спит себе за железными запорами, позабыл, какая беда ждет его.

Выскочил тут Фомушка Горбатенький; один пошел против всех новгородцев, перебил силы пятьсот человек; пришел ему на смену Потанюшка Хроменький, а за ним Костя Новоторжанин, перебили силы видимо–невидимо; только стали уставать добрые молодцы, а много еще против них новгородцев — все приходят новые и новые: нет конца борьбе.

В это время мыла на Волхове цветные платья служанка Василия, девушка Черनावушка; кричит ей Васильева дружина:

— Девушка Черनावушка! Не дай нам погибнуть понапрасну, позови к нам Василия на помощь!

Стала Черनावушка к дому Васильеву пробиваться: уложила на месте новгородцев пятьсот человек, разбудила доброго молодца, отворила замки железные, вышел Василий к мосту, говорит своей дружине:

— Храбрая моя дружинушка, подите вы теперь отдохните, я и без вас тут управлюсь.

Стал Василий по мосту похаживать, стал дубинкой помахивать, набил словно градом новгородских жителей и все не унимается; пришла беда на новгородских жителей, сам воевода с посадником пошли к Авдотье Васильевне, кланяются ей в пояс, просят, чтоб уняла она своего любезного сына, не то перебьет Василий весь Новгород!

Отвечает им честная вдова:

— Не могу я ничего сделать для вас теперь; сердит на меня мой милый сын за то, что заперла я его железными замками, спрятала его оружие. Пойдите поклонитесь его крестовому батюшке, старчищу Питиримищу, может быть, послушает его Василий, уймёт свое сердце.



Выслушал старчище Птиримище просьбу новгородцев, надел шапку—колокол весом в девяносто пуд, языком колокольным, как дубинкой, подпирается, вышел унимать своего крестового сына.

— Слушай меня, милое мое чадо: уймись до поры до времени; всей воды тебе из Волхова не вычерпать, не перебить тебе всего Новгорода, да и меня уважь, своего крестного, не наступай на меня с дубиной!

— А для чего ты, крестный, не вовремя мне под руку попадаешься? Не шутики ведь я шучу: буйную свою голову отстаиваю!

Поднял Василий свою дубинушку в девяносто пуд да как ударит по колоколу: разбил колокол вдребезги, а еще раз ударил — и дух вон вышиб из крестового батюшки.

Тогда сам князь новгородский пошел к Авдотье Васильевне, поклонился ей великими дарами, упросил, умолил ее заступиться за новгородцев.

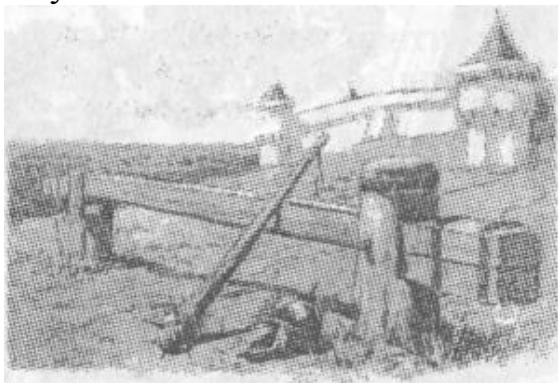
Надела Авдотья Васильевна смирную черную одежду, надела шубку соболью, пошла на мост, зашла Авдотья Васильевна сзади милого сына, положила ему руки на плечи:

— Милый сын! Уйми свое ретивое сердце; просят у тебя новгородцы прощения за свои великие вины.

Остановился тут Буслаев:

— Родимая матушка! Хорошо ты сделала, что зашла сзади меня, а не то убил бы я и тебя, как своего крестового батюшку: разыгралось мое ретивое сердце, расходились сильные руки... Только ради твоей просьбы помилую я новгородцев, отпущу их великие вины.

И ушел Васильюшка с места побоища, увел с собой и свою храбрую дружину.





СМЕРТЬ ВАСИЛИЯ БУСЛАЕВИЧА

Пораздумался однажды Васильюшка над своей участью:

— Много я попиrowал, удаль свою потешил, много загубил душ христианских; пора мне подумать и о своей душеньке грешной, пора замолить свои тяжкие грехи.

Созвал Василий свою храбрую дружинушку, и надумали они все вместе поехать в град Господень, Иерусалим, чтобы у Гроба Господня замолить свои грехи.

Пошел Василий к родимой матушке взять у ней благословенье на дорогу.

Говорит ему Авдотья Васильевна:

— Сын мой милый, не дурное ли ты на уме держишь: не собираешься ли заводить новую ссору? Если вправду хочешь ты ехать грехи замаливать, дам тебе свое благословение, а если дурное у тебя на уме — пусть лучше не носит тебя мать-земля сырая. Запомни еще, что я тебе скажу, Васильюшка: как будешь купаться в Иордани-реке, не купайся нагим телом, Бог тебя накажет за это — вспомни, что сам Иисус Христос купался в Иордане.

Снарядил Василий свои белопарусные кораблики и поехал по Ильменю-озеру, свернул на Волгу-матушку; едет день, другой, встречается купеческий корабль, нагруженный богатыми заморскими товарами.

Спрашивают купцы дружинушку Буслаева:

— Куда путь держите, за делом или так погулять по морю, с кем-нибудь удалюю переведаться?

— Не гулять едем по морю, — говорит Василий, — едем в Святой Град грехи свои тяжкие замаливать; не знаете ли вы прямого пути в Святую землю?

Отвечают купцы:

— Не проехать вам, добрые молодцы, прямоезжей дорогой, стоит на ней заставой целый разбойничий стан. А поезжайте вы дорожкой окольной, хотя и надо ехать по ней целые полтора года.

— Стыдно мне, — говорит Буслаев, — ездить окольными дорожками, поедем прямым путем!

Доехали они до заставы; испугались разбойники, увидав Васильеву дружину.

— Беда нам пришла: ведь это сам Василий Буслаевич жалуется к нам со своей дружиной!

Приняли их разбойники очень радушно, хлеб—соль поднесли да дары богатые, дали им и надежного человека, который проводил бы их до Иерусалима. Приехал Василий в Святой Град, отслужил панихиду по отцу своему, Буслаеву, поклонился Гробу Господню, а потом пошли все купаться в Иордане. И позабыл Василий завет своей матушки, выкупался в святой реке нагим телом.

На Фавор—горе увидел Василий с дружиной соборную церковь с двенадцатью престолами, а стоит она на том месте, где преобразился сам Спаситель. Недалеко от церкви на обратном пути увидели они на земле в пыли кость богатырскую. Стал Василий толкать ногой кость, шелковой плеткой ее похлестывать.

— Чья это тут кость валяется? Татарина—басурманина или христианина—богомольца?

И слышит Василий — говорит ему кость человеческим голосом:

— Что толкаешь меня ногами, добрый молодец? Ведь я при жизни был добрым христианином, принял смерть напрасную... Где теперь лежу — там и ты сложишь свою головушку, не доедешь и до церкви соборной.

Не испугался Василий.

— Не верю я ни в чох, ни в сон.

Повернул Василий к соборной церкви, а перед церковью лежит белый камень, на нем надпись: «Кто перескочит через этот камень три раза, тот попадет в соборную церковь, а кто не перескочит — тому и в церкви не бывать!»

И вся дружинишка Васильева перескочила через камень; стал Василий сам перескакивать: два раза перескочил через камень, а на третий захотелось ему свою удалость попытать, показать себя.

— Не только передом — я и задом перескочу через камень.



Стал Василий задом через камень перескакивать и задел за камень правой ногою, головой о камень ударился, тут ему и конец пришел: чувствует Василий, что смерть его близка, созвал свою дружину и говорит ей:

— Поезжайте домой, добрые молодцы, свезите поклон моей родимой матушке; скажите ей, что прошу я ее помолиться за мою грешную душу, скажите ей: сосватался сын ее любимый на Фавор-горе, женился на белом горячем камне.

Умер Василий тут же, на горе, и схоронила его дружинишка; поехали они домой невеселые... А Авдотья Васильевна вышла встречать милого

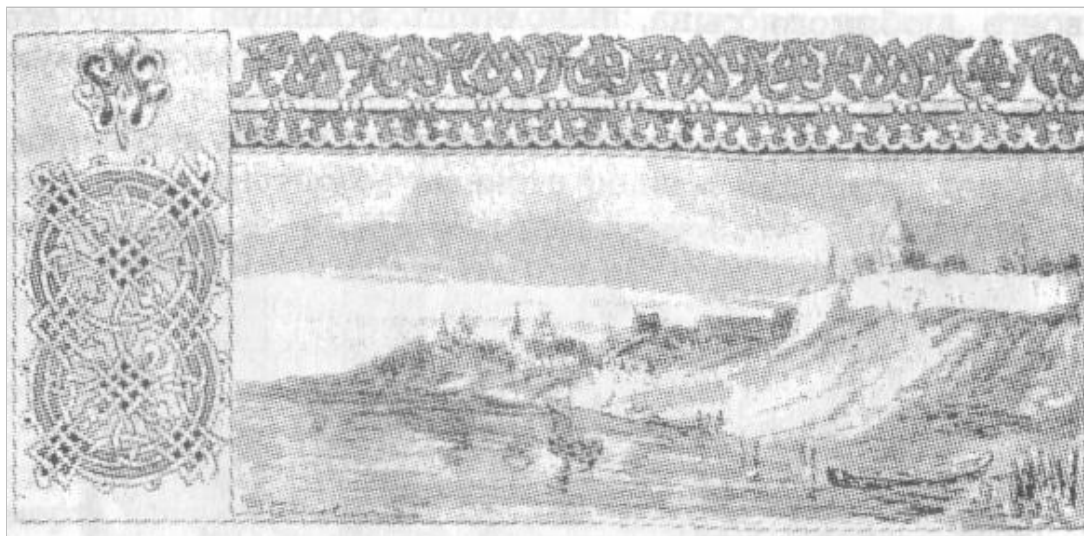
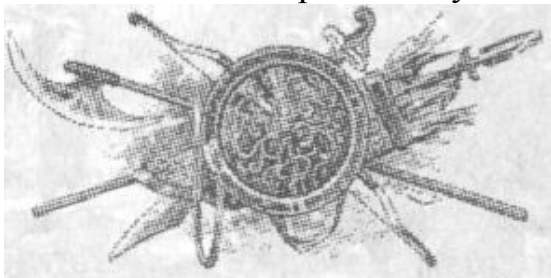
сына, ясного сокола.

— Нет с нами твоего сына, Авдотья Васильевна! Сосватался он на Фавор-горе, женился на горячем белом камне.

Горько заплакала Авдотья Васильевна.

— Как буду жить теперь без милого сына Васильюшки? Не мил мне белый свет!

Раздала она свое имение по церквам да убогим людям, а сама ушла в монастырь замаливать грехи любезного сына, Васильюшки; проводила ее дружина Васильева с хлебом-солью; низко поклонились добрые молодцы Авдотье Васильевне, благодарили ее за ее к ним милость да ласку, просили ее помолиться и за их грешные душеньки.



ПЕСНЯ О ЩЕЛКАНЕ ДУДЕНТЬЕВИЧЕ

Сидит царь Азвяк Таврулович у себя в Большой Орде на золотом стуле, алым бархатом крытом, суд держит, расправу творит, костылем своим по виновным помахивает, послушных слуг своих награждает.

И подарил Азвяк трем своим шурьям по русскому городу: Василья посадил княжить на Плесу, Гордею пожаловал Вологду, а Ахрамея послал в Кострому.

Только одному своему любимому шурину Щелкану не дал Азвяк никакого города, так как Щелкан не случился в эту пору в Орде: ездил он за синие моря, в литовские страны собирать с народа жестокие дани: брал он с князей по сто рублей, с бояр по пятидесяти, с крестьян по пяти рублей. У которого денег нет, у того дитя возьмет, у кого дитяти нет, жену в плен увезет, у кого жены нет — того самого навек в Орду увезет, измучают его татары непосильными вековечными работами.

Воротился Щелкан домой с богатыми даями: конь под ним в сто рублей, седло в тысячу, узде и цены нет, потому что она — жалованье царское.

Узнал Щелкан про ханские подарки и говорит Азвяку:

— Царь Азвяк Таврулович, слышал я, что раздарил ты своим шурыям стольные русские города, дай и мне Тверь старую, богатую, отдай мне под начало двух тверских князей, двух удалых Борисовичей.

Отвечает Азвяк:

— Хорошо, любимый мой шурин! Я тебя пожалуйю богатой Тверью, только не даром, а вот, если ты заколешь своего любимого сына, наполнишь большую чашу его младенческой кровью и выпьешь ее — тогда пожалуйю тебя Тверью.

И Щелкан заколол своего сына и выпил чашу его крови.



Поехал Щелкан в Тверь, стал судьей над народом, над двумя удалыми Борисовичами. Был он судьей неправым, надо всеми боярами насмеялся, измучил народ поборами. Невмочь стало тверитянам от такого судьи, собрались старые посадские люди, поговорили между собою, сложили на Щелкана жалобу и пошли к удалым Борисовичам с просьбою:

— Вступитесь за нас, наши добрые князья!

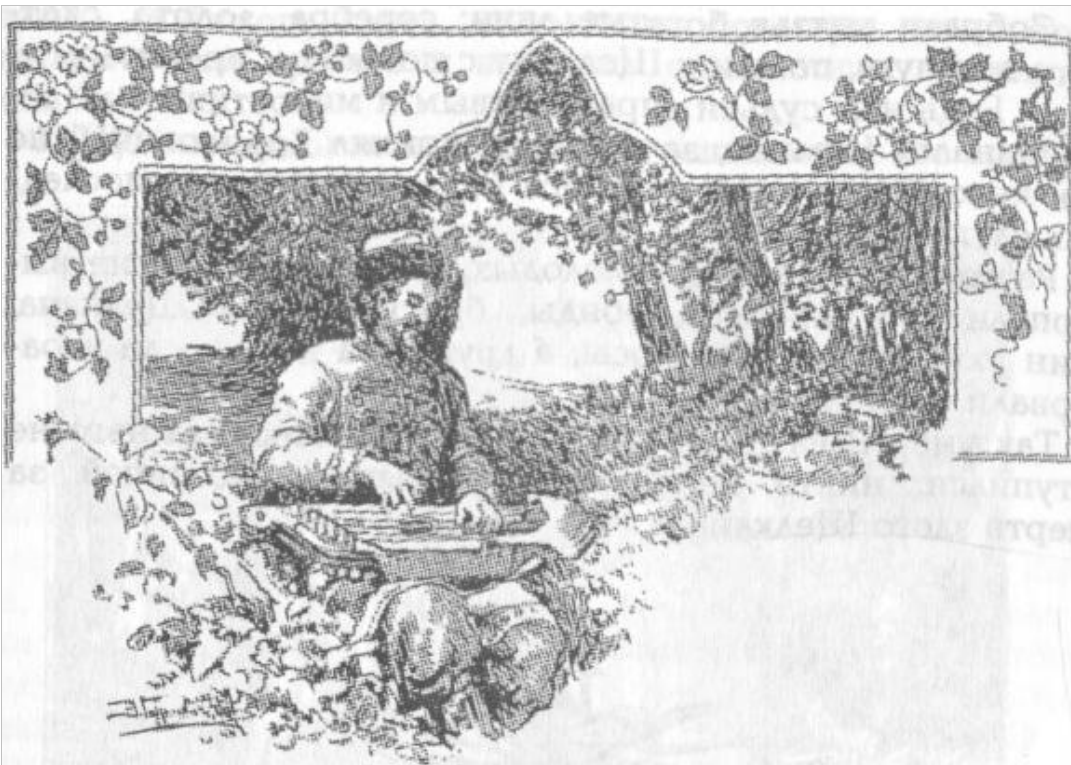
Собрали князья богатые дани: серебра, золота, скатного жемчуга, пошли к Щелкану с поклоном просить его:

— Будь нам судьей справедливым и милостивым.

Зазнался Щелкан, зачванился, принял Борисовичей не как князей знатного, славного рода, а как своих последних слуг.

Разгорелось сердце у молодых, удалых князей, не вытерпели они кровной обиды, бросились на Щелкана: один ухватил его за волосы, а другой за ноги — да и разорвали его пополам.

Так умер Щелкан позорной смертью, никто за него не вступился, никто не наказал удалых Борисовичей за смерть злого Щелкана.



САДКО, БОГАТЫЙ ГОСТЬ

Велик и богат славный город, государь Великий Новгород: не окинешь глазом его широких концов, не перечтешь его посадов и пригородов.

Весело живут в нем богатые гости — новгородские купцы: то и дело задают пиры на весь мир в своих светлых расписных хоромах; сидят гости за столами белодубовыми, едят яства сахарные, пьют напитки медвяные, гуслиров-певцов искусных слушают, потешаются.

Во всем Новгороде нет гусяра искуснее Садка; наперерыв зовут его играть на барские и купеческие пиры; тем только Садко и промышляет и живет себе припеваючи, на судьбу не жалуется.

Только пришли и на Садка черные дни: и день, и два, и три никто не зовет его играть на пир. Соскучился Садко бродить без дела, пошел к Ильменю—озеру, сел на горяч—белый камень и начал песни напевать, на гусях подыгрывать.

Видит Садко: всколыхнулось озеро, заходили по нем волны; удивился и испугался Садко и ушел домой в Новгород.

И опять целых три дня не зовут Садка играть на пиры, и опять пошел он от скуки к Ильменю и заиграл на гусях. Всколебалось, расшумелось широкое озеро — из воды показался грозный царь морской и повел к Садко такую речь:

— Полюбилась мне, Садко, искусная игра твоя. Чем мне тебя пожаловать за нее? Мог бы я дать тебе и серебра и золота — да лучше научу тебя, как разбогатеть. Поди ты на пир к новгородским купцам и побейся с ними о великий заклад, что есть в Ильмене—озере рыбки о золотых перьях. Поставь ты на заклад свою буйную голову, а купцы пусть поставят лавки товара красного; сплети себе шелковый невод и приходи к Ильменю ловить рыбок: брошу я тебе в сети трех златоперых рыбок — выиграешь ты заклад и разбогатеешь.

Вернулся Садко домой и видит — как раз пришли за ним звать его играть на богатом пире. Долго играл Садко, тешил гостей сладкими песнями; напоили его хозяева крепкими медами, заморскими винами, угостили сахарными яствами, и разошелся Садко под конец пира, расхвастался:

— Знаете ли вы, честные гости, какое в Ильмене—озере есть диво—дивное, чудо—чудное — есть в Ильмене рыбки в золотых перьях.

— Небылицы ты, гусяр, рассказываешь, — говорят купцы.

— Хотите побиться со мною о великий заклад, что наловлю в Ильмене рыбок о золотых перьях: ставлю на заклад свою буйную голову, а вы поставьте свои лавки товара красного!

Согласились купцы: три богатых купца поставили на заклад по три лавки красного товара, и пошли все к Ильменю закидывать шелковые невода. Видят небывалое чудо: раз закинул Садко невод и вытащил золотую рыбку и второй раз закинул — вытащил еще рыбку, также и в третий раз.

Нажил себе Садко девять лавок красного товара, стал торговать, барыши получать; поставил себе палаты белокаменные, все в палатах у Садка по—небесному: в небе солнце — и в тереме солнце, в небе месяц — и в тереме месяц и частые звездочки около рассыпаны.

Однажды Садко позвал к себе на пир честной всех новгородских жителей: знатных бояр, торговых людей, самого посадника с тысяцким. Угостились гости хорошо, языки у них поразвязались, кто чем порасхвастался: кто золотой казной, кто удачей—счастьем, кто родом—племенем... Один Садко сидит, молчит, ничем не хвастает.

Удивляются на него гости: «Что же ты, Садко, ничем не хвастаешь?»

— Что хвастать попусту, — говорит Садко, — вы и сами знаете, что казны золотой у меня без счета, платье мое цветное не изнашивается, дружина моя храбрая не стареется; если захочу, то могу скупить все товары новгородские худые и хорошие, всех по миру пушу: торговать будет Новгороду нечем.

— Ну, это ты напрасно похвалился — готовы мы о заклад биться, — говорят гости, — что не закупить тебе всех новгородских товаров, а на заклад ставим тридцать тысяч.

Побились они о заклад.



Поутру поднялся Садко с зарею, разбудил свою дружину, дал ей казны без счету и разослал добрых молодцов по всем улицам скупать товары, а сам пошел в гостиный двор.

На первый раз скупил Садко все новгородские товары; но наутро навезли отовсюду новых. И эти забрал Садко. На третье утро пошел он в гостиный двор — опять навезено товаров видимо-невидимо.

Призадумался Садко:

«Не закупить мне всех товаров в Новгороде: скуплю товары московские, привезут товары заморские — приходится сознаться, что Новгород богаче меня».

И отдал Садко купцам проигранный заклад.

Построил Садко на свою бессчетную золотую казну тридцать богатых кораблей, серебром и золотом разукрашенных, нагрузил их разными новгородскими товарами, поехал по Волхову в Ладожское озеро, а оттуда на Неву—реку и выехал в синее море. Распродал Садко за морем все свои товары, нажил несметные барыши, везет домой сорок бочек, нагруженных красным золотом, да три сорока — чистым серебром. Едет Садко по морю, а в море бушует непогодушка, разыгралась великая буря, бьют волны о корму корабля, палубу заливают, рвут паруса, ломают крепкие мачты.

Говорит Садко дружине:

— Видно, рассердился на нас морской царь за то, что ездим мы по морю целый век — никогда царю морскому дани не плачивали. Возьмите-ка вы самую большую бочку чистого серебра, спустите ее в синее море.

Не унимается буря. Недоволен данью морской царь. Опустили тогда в воду большую бочку красного золота — а все бушует непогода, разыгрывается — тонут богатые корабли.

— Видно, живой жертвы требует морской царь, — говорит Садко, — не миновать одному из нас лютой смерти. Давайте бросим жребий, кому из нас идти на дно морское. Сделайте себе жеребья ивовые, а я свой сделаю на золоте: на каждом надпишем имена свои и пустим жеребья в волны; чей пойдет ко дну — тому отправляться к царю морскому.

И выплыли наверх все жеребья, кроме жеребья Садка, идет он ко дну. Опечалился Садко.

— Неправильно, братцы, мы кинули жребий: ведь мой-то всех тяжелее, оттого и ко дну идет. Сделайте себе жеребья из красного золота, а я себе сделаю ивовый, посмотрим, что будет.

Сказано — сделано; только опять тонет Садкин жребий, идет ко дну, и сколько ни пытал Садко судьбу свою, все ему самому выходит в морское царство отправляться...

— Требуется самого меня царь морской, — промолвил Садко, — и делать тут нечего... несите мне мою чернильницу, перо лебединое, гербовую бумагу — напишу я свое завещанье.

И разделил Садко свое имущество на четыре части: одну часть отписал на Божии церкви, а вторую — на нищую братью, третью же оставил родным, а четвертую распределил храброй своей дружине.

— Теперь, — говорит Садко, — принесите мне мои гусельки яровчатые, поиграю я, потешусь в последний раз: не видать мне больше света белого, не играть мне на моих золотых гусельках.

И опустили Садка в синее море, привязали его на дощечку дубовую, чтобы не так страшно было ему носиться по волнам, захватил он с собою и свои яровчатые гусельки: жалко ему было расставаться с ними.

Долго носили Садка морские волны, долго его с волны на волну перекидывало, закрыл он глаза со страху, да тут же и заснул крепким сном.

Очнулся Садко — понять не может, что с ним такое приключилось: видит себя на самом дне морском; кругом него вода зеленая, всякой рыбы и гадов морских видимо-невидимо; едва сквозь воду светит красное солнышко, как в тумане едва видна заря алая да небо чистое. На дне моря видит Садко перед собой белокаменные палаты. Вошел Садко в терем: сидит в нем царь морской — косматое страшное чудище, в бороде запутались морские травы.

— Здравствуй, добрый молодец, — говорит морской царь своему гостю, — долго ты по морю езживал, дани мне не плачивал, за то и хотел я тебя самого повидать. Хорошо играешь ты на золотых гусельках! Хочу я твою игру послушать: потешь меня, позабавь хорошенько, сыграй мне свои сладкие песни.

Заиграл Садко на гусельках, развеселилось косматое чудище, пошло плясать — всколыхнуло все море.

Играет Садко день, второй — пляшет морской царь. Гуляют по морю великие волны, все море песком со дна замутилось, все корабли в щепки поразбились, гибнут люди толпами, гибнет и все их имущество, наступили невиданные, неслыханные беды. Стали люди молиться Николе Можайскому, чтобы спас их угодник Божий от такой невзгоды.

Играет Садко и слышит — кто-то тронул его тихонько за правое плечо. Обернулся Садко — стоит за ним седой старик, величавый и строгий с виду.

— Будет тебе играть, добрый молодец, в гусли, — говорит он Садко, — уймись, и так много бед натворил ты своей игрою.

— Я не виноват, Божий человек, — возразил Садко, — играю не по своей воле, по приказу морского царя — не смею ослушаться.

— Повыврви струны, — сказал ему святой, — поотломай гвозди, скажи царю, что нет у тебя с собою других струн — играть больше не на чем. Да слушай, что еще скажу тебе: станет предлагать тебе царь морской, чтобы ты в синем море женился на душе-девице, и покажет тебе всех морских красавиц: все пройдут перед тобою, и пропусти ты мимо первых триста прекрасных девиц, не выбирай себе из них жены; пройдет и еще триста, а позади всех пойдет девушка Черनावушка, непригожая, невидная: возьми ее за себя замуж и вернешься в Новгород, а вернувшись, построй церковь Николе Можайскому.

Изломал Садко гусельки, а царь морской упрашивает его:

— Поиграй еще, Садко, — больно развеселила меня твоя игра!

— Рад бы играть, да изломались струны, а других я не взял с собою в море!

Успокоился царь, отдохнул; говорит Садко:

— Не хочешь ли здесь у меня жениться, добрый молодец?

И стал царь показывать Садко невест: одна другой прекрасней проходят красные девицы. Но взял Садко за себя по совету Николы Чудотворца самую некрасивую и невидную девушку Черनावушку. За то, как наутро после свадебного пира проснулся Садко — увидел он себя в Новгороде на берегу реки Черnavы, смотрит, а по Волхову бегут его кораблики, один другого краше, один другого богаче.

Горько плакала жена Садка, не видя так долго любимого мужа, кручинилась по нем его дружинushка.

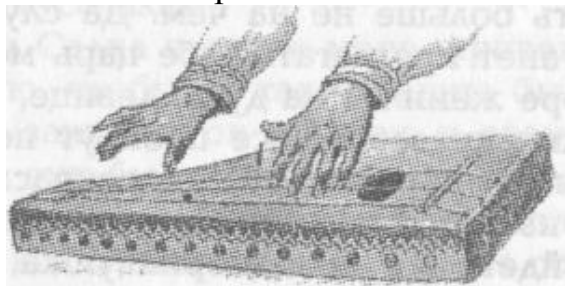
А подъехав к Волхову, видят добрые молодцы — жив и невредим Садко!

— Как это ты тут очутился? — спрашивают они его.

Тогда Рассказал им Садко все, что с ним приключилось. И стала упрашивать его молодая жена, чтобы не ездил он больше торговать за море.

Возвратясь домой, построил Садко в Новгороде богатую церковь святому Николе Можайскому, своему заступнику и покровителю. Как жар горели ее золотые маковки, весь иконостас сиял драгоценными камнями.

И стал Садко жить себе поживать лучше прежнего — бросил с тех пор ходить в синее море.





ПОВЕСТЬ О ГОРЕ–ЗЛОСЧАСТЬЕ

Зародилось горюшко от сырой земли, вышло из–под серого камушка, из–под ракитова кустика, в шелковые лапотки горе обулось, в рогожу горе нарядилось, лыком подпоясалось, пришло горе к доброму молодцу.

Едет добрый молодец в дальние страны, людей посмотреть, себя показать; снаряжают его отец с матерью в дальний путь, наказывают доброму молодцу:

— Дитя наше любимое, как будешь на чужой стороне, не ходи в царев кабак, а как будешь на людях — не садись на большее место, выберешь место похуже — на лучшее тебя сами хозяева попросят, а как сядешь на большее место — станут над тобой смеяться добрые люди.

Не послушал добрый молодец родительского наказа, зашел по дороге в царев кабак, крестится молодец по писаному, поклон отдает по–ученому; выходит к нему хозяин, наливает чару зелена вина, говорит ласковые речи:

— Выпей, молодец, добрую чару, развесели свою душу.

Взял молодец чару: от края до края чара огнем кипит, посреди чары дым стоит. Выпил молодец чару и заснул крепким сном.

Проснулся, глядь — нет на нем дорогой шубы, сапожек сафьяновых, шапки черного соболя, пропали и денежки его, оставили ему воры одну старую рогожу, прикрыть грешное тело.



Закручинился тут добрый молодец, а горе на подмогу из-за печки выскакивает, пляшет горюшко по горнице, само приговаривает:

— Не кручинься, добрый молодец; в горе жить — некручинну быть!

Научило его горе надеть кафтан из рогожи, лыком подпоясаться, да так и идти на пир.

Увидели на пиру доброго молодца — не знают хозяева, что с ним делать: по одеже — надо бы посадить его на малое место, там бы и кусочек ему какой-нибудь перепал из милости, а по роду-племени надо бы посадить его на место большое — так другим гостям обидно покажется... И посадили его на среднее место; тут поел и попил добрый молодец досыта, после пира тут же и выспался.

Наутро говорят ему добрые люди:

— Послушай-ка добрых советов: наймись служить к богатому купцу на двенадцать лет: наживешь и шубу бархатную, и сапожки сафьяновые, и денег пятьдесят рублей.

Послушался добрый молодец, прослужил у купца двенадцать лет, воротил назад все, что порастерял.

Опять советуют молодцу добрые люди:

— Не ходи, молодец, в царев кабак, не пируй, не гуляй, женись лучше — выбери себе по сердцу красную девицу, будешь жить-поживать, от горя навек избавишься.

А горе молодцу свое толкует:

— Эх, не живи чужим разумом — не женись, не продавай своей волюшки, пойдем лучше разопьем добрую чару вина, потешим молодецкую душу.

И послушался опять горя добрый молодец, прогулял все свое имущество, нажил себе неизбываемой беды, и связалось с ним горе с той поры на целый век: некуда молодцу от горя укрыться; молодец от горя в чистое поле, а горе за ним тенета несет — стой, не уйдешь, добрый молодец! Молодец от горя в быструю речку, а горе за ним невода тащит; молодец от горя в постель укрывается, а горе в ногах сидит.

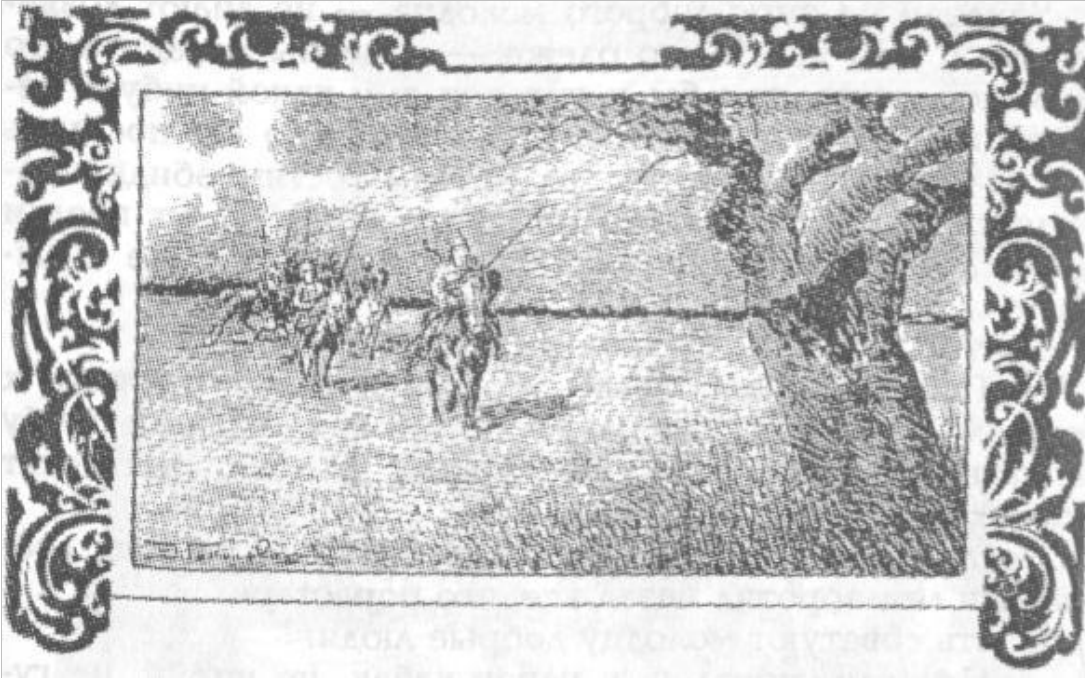
— Не на час я к тебе, горе, привязалось — на целый век!

Молодец от горя в сырую землю, в гробовые доски, а горе за ним вслед лопату несет, тележку везет.

Положили молодца в сырую землю — сидит горе на могилке, присказывает:

— Хорош ты был, добрый молодец, ладно мы с тобой век прожили, а пойду по свету, найду и другого — получше тебя!





ОТЧЕГО ПЕРЕВЕЛИСЬ ВИТЯЗИ НА РУСИ?

Однажды на закате солнца выехало на Сафат–реку семеро русских богатырей, названных братьев; был тут и Илья Муромец, и Добрыня, и Алеша Попович.

Видят богатыри перед собою широкое, чистое поле, а среди поля вырос развесистый дуб, дуплистый, старый; около дуба сходятся три дороги: первая ведет к Новгороду, вторая к старому Киеву, а третья к синему морю — последняя дорога широкая, прямая, только нельзя по ней ездить: уже три года, как залегла она, заняли ее разбойники–татары.

Остановились под дубом русские витязи, разложили тут шатер полотняный, коней пустили на зеленый луг, а сами легли отдыхать. Поутру проснулся Добрыня с зарею, чистой росой умылся, Господу Богу помолился и оглянулся кругом. Видит Добрыня — за Сафат–рекою стоит белый полотняный шатер: залег в нем злой татарин, не дает проезду конному, не дает дороги пешему.

Оседлал Добрыня своего доброго коня, положил потнички на потнички, войлочки на войлочки, а сверх всего на коврик надел черкасское седельце, взял свое оружие, сел на коня и ударил своего бурушку по крутым бедрам; конь от земли отделился, перескочил на другой берег Сафат–реки. Кричит Добрыня татарину:

— Выходи, злой татарин, со мной на честный бой!

Не два ветра в поле слетались, не две тучки в небе сходились: сходились, слетались два удалые витязя, сломались в этой сшибке их острые

копья, в куски рассыпались булатные мечи.

Сошли тогда витязи с коней, стали биться рукопашным боем; размахнулся Добрыня правой рукою, поскользнулась у него правая нога, упал Добрыня на сырую землю, и разрубил татарин грудь его белую, вынул из нее молодецкое, богатырское сердце.

Встал и Алеша, росой умылся, Богу помолился, вышел из шатра, видит — стоит у шатра конь Добрыни, стоит невесел, копытом землю роет, очи потупил, тоскует по хозяину.

Поскакал тогда Алеша к татарскому шатру, видит он — лежит Добрыня в чистом поле убитый; очи ясные закатились, опустились руки сильные, на груди запеклась богатырская кровь.

Кричит Алеша:

— Злой татарин—бусурманин! Выходи со мною на честный бой!

Отвечает татарин:

— Худо тебе, Алеша, бороться со мною, из твоего рода все в бою не крепки — не устоишь и ты!

— А ты, молодец, не хвались раньше времени, хвались потом, как одолеешь меня в бою.

Но в бою одолел Алеша татарина; уже заносит меч свой, чтобы срубить ему голову, как, откуда ни возьмись, прилетает черный ворон и говорит Алеше:

— Послушайся меня, добрый молодец, не убивай татарина; слетаю я за синее море, принесу тебе мертвой и живой воды. Вспрыснешь ты Добрыню мертвой водой — срастется его белое тело, вспрыснешь живой — очнется добрый молодец.

Послушался Алеша ворона. Принес ворон живой и мертвой воды, и ожил Добрыня, а татарина богатыри отпустили на волю.

Вот проснулся Илья Муромец, росой умылся, Богу помолился, оглянулся крутом, видит старый казак — на том берегу Сафат—реки собралась несметная татарская сила, столько силы, что ни на коне ее не объехать, серым волком не обежать, черным вороном не облететь.

Закричал Илья громким голосом, собрал своих названных братьев; сбежались витязи, сели на добрых коней, все врубились в силу татарскую. Долго бились витязи и одолели татарскую силу: кого конем потоптали, кого мечом порубили, и разгорелось в богатырях молодецкое их сердце, расходились могучие руки; стали они похваляться:

— Одолели мы татарскую силу; руки у нас еще не притомились, кони не утопались!



И сказал тут Алеша безрассудное слово:

— Не только с татарской силой мы можем справиться, но справились бы и с нездешней силою, если б вышла против нас такая сила.

Не успел Алеша кончить своей речи, а сила небесная тут как тут; явилось двое воинов; лица у них светлые, как день.

И говорят воины русским витязям:

— Давайте померяемся с вами силою, не смотрите на то, что нас двое, а вас семеро.

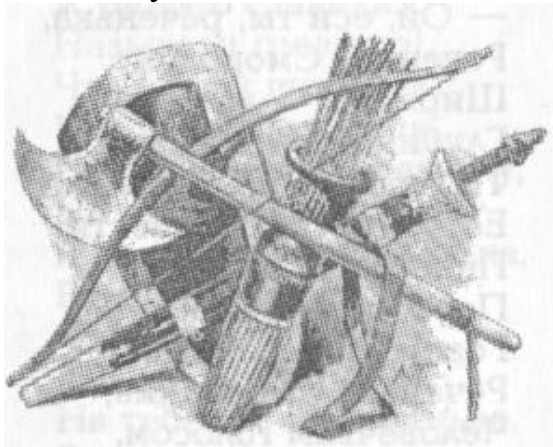
Не угадали витязи, кто явился перед ними, — как ударил Алеша одного воина с размаха по голове, разрубил его надвое и видит дивное диво: вместо одного — перед ним двое воинов; разрубил он обоих — и стало воинов четверо.

Кинулся в битву Добрыня; порубил воинов и видит чудное чудо: из каждого воина стало два.

Прискакал Илья Муромец, ринулись в битву и другие богатыри: чем больше рубят, тем больше прибывает у противников их силы; утомились тут у богатырей могучие руки, притоптались добрые кони.

Страх взял богатырей; в первый раз бросились они бежать от врага... Побежали укрыться в каменные горы, в темные пещеры. Только — неслыханное дело! Как подбежит к горе богатырь — так и окаменеет; и все до одного превратились могучие богатыри в белые горячие камушки.

И перевелись с тех пор витязи на святой Руси, только не замолкла, не потемнела их слава, и поют поныне деда внукам славные песни об их великих подвигах, о верной их службе Солнышку-князю и всему народу христианскому.





ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ И РЕЧКА СМОРОДИНА

Отломилась веточка
От родного дерева,
Откатилось яблочко
От садовой яблони!
Уезжает молодец
От родимой матушки,
В ту ли чужедальную
Темную сторонушку.
Подъезжает молодец
К реченьке Смородине,
Говорит ей, кланяясь,
Слово он приватное:
— Ой, еси ты, реченька,
Реченька Смородина,
Шириной — широкая,
Глубиной — глубокая!
Ты скажи мне, реченька,
Есть ли тут поблизости
Переходы конские,
Переброды частные?
Говорила реченька,
Реченька Смородина,
Человечьим голосом,

Точно красна девица:
— Ой ты, добрый молодец,
Есть на мне, на реченьке,
Переброды конские,
Переходы частные.
Есть на мне, на реченьке,
Два моста калиновых,
Далеко отселева,
Далеко во полюшке!
Говорит ей молодец:
— Ой, еси ты, реченька,
А и что ж ты, реченька,
За проход возьмешь с меня?
Отвечает речейька,
Точно красна девица:
— Я возьму, друг-молодец,
С переброта конского
По седельцу турецкому,
С перехода частного —
По коню буланому,
А с мостов калиновых —
По удалу молодцу,
Для тебя же, молодец,
За слова приятные,
За поклоны низкие
Переход беспошлинный!
Переехав, молодец
Стал тут глупым разумом
Хвастать перед речкою,
Хвастать да высмеивать:
— Ой, еси ты, реченька,
Быстрая Смородинка,
А тебя-то славили,
Называли грозною!..
Что уж ты широкая,
Что уж ты глубокая,
Не пройти, мол, пешему,
Не проехать конному!
Я ж гляжу, ты, реченька,
Будешь хуже озера,

Что болотце старое,
Дождевая лужица!
На тебе ль, на реченьке,
Волны расходились,
Расходясь, запенились,
Разбросались брызгами...
А те волны грозные,
Что в стакане с брагою
Капли искрометные, —
Не страшны для молодца!
А тебя ли, реченьку,
Ранним половодием
Перейдет и курица,
Не смочивши щиколки!
Этак похваляючись,
Собирался молодец
Снова в путь—дороженьку,
В темную сторонушку.
Тут вдогонку молодцу
Закричала реченька,
Точно красна девица:
— Воротись—ка, молодец,
Ведь за мной, за реченькой,
Позабыл, за быстрою,
Ты своих товарищей:
Позабыл два ножика,
Два ножа булатные —
На чужой сторонушке
Помощь превеликую!
Возвращался молодец
За ножами острыми,
А чрез речку быструю
Нет пути—дороженьки:
Не нашел там молодец
Переброду конного,
Перехода частного,
Ни моста калинова.
Заезжает молодец
В омуты глубокие,
С первым шагом добрый конь

Погрузился по брюхо,
Со вторым — спускается
По седло черкасское,
С третьим — опускается
С головою по уши!
За бахвальство дерзкое,
За надсмешки грубые
Утонул тут молодец
В реченьке Смородине.
Выплывал буланый конь,
Прибегает к матери.
Увидала родная
Крепкую лошадушку
Без сынка любимого,
Горячо заплакала,
Шла она к Смородине,
Говорила реченьке:
— Ой, еси ты, реченька,
Быстрая Смородинка,
Ты за что, бурливая,
Погубила молодца,
Чадушку родимого!
Отвечала реченька,
Отвечала быстрая
Человечьим голосом,
Точно красна девица:
— Ой ты, баба старая,
Старая, матерая, —
Потопила молодца
Не река бурливая,
Реченька Смородинка,
А его кичливая
Похвальба удалая!



О ДОБРОМ МОЛОДЦЕ И ЖЕНЕ НЕУДАЧЛИВОЙ

Одиноко жил—был молодец.
Погулять любил он вволюшку,
Вечера—то он прохаживал,
Ночи темные проезживал,
По трясинам он погуливал,
Лебедей, гусей постреливал,
Да кряковых серых уток...
Как женил его сам батюшка
Против воли и желания,

Без того ли без приданого,
Без любимого сердечушки.
А жена его не добрая
На кровати спит во спальне,
По хозяйству не шелохнется;
Добрый молодец не ужинал,
Добрый молодец не завтракал,
А к обеду нету хлебушка!
Тут ушел тот добрый молодец
К королю—царю литовскому,
Нанимался он в прислужники
На двенадцать лет без малого.
Первый год он прожил в конюхах
Не пивал он пива пенного,
Сладким медом не закусывал.
Но Господь его помиловал,
А литовский царь пожаловал...
Год второй он прожил поваром;
Не пивал он пива горького,
Сладким медом не закусывал.
Да Господь его помиловал,
А литовский царь пожаловал.
Третий год он прожил в ключниках;
Не пивал он пива пенного,
Сладким медом не закусывал.
Да Господь его помиловал,
А литовский царь пожаловал.
Девять лет он прожил с дочкою,
С той ли дочкой королевскою!
В жизни сладкой, в жизни радостной
Быстротечное, веселое
Проходило время скорое,
Стосковалось добру молодцу
По худой жене—супружнице.
Он ушел от царской дочки,
От того царя литовского.
И зашел тот добрый молодец
Во царев кабак попотчевать
Свою душу молодецкую.
Выпивал он чару полную

Зелена вина заморского,
Выпивал другую, третью —
И похвастал красной девушкой,
Той ли дочкой королевскою.
Услыхали слуги верные
Речи пьяные, хвастливые,
Завязали добру молодцу
Ручки белые, холеные,
Заковали ножки резвые,
Закрывали очи ясные,
Повели его во полюшко,
Повели на плаху страшную
Отрубить ему головушку,
Вынуть сердце с черной печенью.
Тут взмолился добрый молодец:
— Ай вы, слуги королевские!
Вы меня ведите, милые,
Мимо дома королевского!
Я хочу проститься с девицей
На последнем расставании!
Повели удала молодца
Мимо дома королевского,
Против тех окон косячатых,
Где жила королевшна.
Говорит тут добрый молодец:
— Ты прощай, дочь королевская!
А ведут меня во полюшко,
Как на ту ли плаху грозную,
Отрубить мне буйну голову,
Вынуть сердце с черной печенью!
Говорила королевшна:
— Ай вы, слуги королевские,
Вот возьмите-ка полтысячи,
Отпустите добра молодца,
Вы его на волю вольную,
Развяжите ему рученьки,
Вы раскуйте ножки резвые,
Да откройте очи ясные!
Принимала королевшна
Добра молодца удалого

Во свои покои девичьи,
Говорила речи тихие:
— Не ходи ты, добрый молодец,
Во царев кабак потешиться,
Ты не пей вина похмельного,
Да не хвастай красной девицей!
И пошел тут добрый молодец
Из Литвы путем—дороженькой,
А куда идти, не выдумать...
«Коль пойдешь к отцу да к матери —
Не застать живыми родненьких;
Коль идти мне к роду—племени —
Не признает добра молодца;
Эх! пойду—ка я к супруженке!»
И пошел тут добрый молодец,
Что широкою дороженькой
Из орды в орду великую,
И пришел в свою сторонушку.
Видит он на старой улице
Двух веселых, милых юношей,
И спросил их добрый молодец:
— Чьи вы дети, дети милые,
Вы какого роду—племени,
Где у вас родитель—батюшка?
Отвечали дети милые:
— Нет у нас родного батюшки,
Он ушел в страну литовскую,
Есть у нас родная матушка.
Отвечал им добрый молодец:
— Вы пойдите, детки милые,
Да скажите вашей матушке,
Что пришел родимый батюшка!
Выходила женка верная,
Увидала добра молодца
Посреди широкой улицы,
Опускалась по приступочкам,
Захватила добра молодца
За его за руки белые,
За его златые кольчики,
Целовала в уста сладкие,

Говорила речи страстные:
— Находился, добрый молодец,
Ты давно по свету белому,
А теперь, родимый батюшка,
Отдохни в семейке родненькой!
Тут супруги помирились,
Стали жить они да здравствовать!



АНИКА-ВОИН

Триста тридцать лет без малого
По земле Аника хаживал,

Много он земель объезживал,
Много он земель раззоривал,
Много выжег храмов Божиих,
Образов немало выбросил,
Пред людьми он похваляется,
Говорит он речь хвастливую,
Речь хвастливую, противную:
— Кабы мне на то свободушка,
Кабы мне кольцо булатное,
Я бы землю нашу матушку
Повернул в другую сторону,
Я бы стал над нею властвовать
И натешился бы вволюшку!
Невзлюбили люди добрые
Речь хвастливую Аникину,
И две сумки переметные
Вынимали заповедные
И с молитвою поставили
На дорогу перекрестную,
Сами ж спрятались за рощею
Посмотреть, какой дорогою
Воин злой Аника выедет.
Едет он по чисту полюшку,
По широкому раздольюшку,
И на той ли на дороженьке
Видит сумки переметные,
А за ними люди добрые.
— Оберите, люди добрые,
Эти сумки переметные!
Я задену ножкой левою —
Не сыскать вам будет сумочки,
Я задену ножкой правою —
Не сыскать вам будет сумочки!
— Ой, Аника, пустохвастишка,
Ой, Аника, пустохвалишка,
Ездишь ты да похваляешься,
За тяжелое хватаешься!
Рассердился воин, взъярился,
Задевает сумку ножкою,
А лежит она, не движется.

Он ее другою ножкою,
А она лежит по–прежнему.
Соскочил с коня он доброго,
Взял всю силу богатырскую,
Ухватился он за сумочку,
По колена в землю вдвинулся.
Рассердился тут Аничище,
Рассердился по–звериному
И ушел по пояс в землюшку,
А не может сдвинуть сумочки.
Принимался тут Аничище,
Принимался не на шуточку,
Уходил по груди белые
В ту ли землю, землю–матушку,
А та сумочка не движется.
Надорвал свое сердечушко,
На коня садится доброго,
На коня ли Обохматушку.
И поехал он по полюшку,
По широкому раздольюшку,
А на той ли на дороженьке
Залегло ли чудо чудное,
Залегло ли диво дивное:
Руки, ноги — лошадиные,
Голова его звериная,
А душа–то человеческая!
— Что лежишь ты, чудо чудное?
Богатырь ли ты невиданный,
Иль поляница удалая?
— Я не чудо диво–дивное,
Я не молодец невиданный,
Не поляница удалая,
Я Аники смерть неожиданная,
Смерть неожиданная да скорая.
— Душегубка ты проклятая,
У меня есть сабля острая,
Отмахну тебе я голову.
— А не хвастай–ка, Аничище,
У меня есть шилья острые,
Подпилю тебе поджилочки...

Замахнулся воин саблею —
Застоялась рука сильная,
Застоялась, не сгибается,
Прочь на землю сабля выпала,
Чуть коня—то не изрезала!
— Ай же, смерть моя ты, скорая,
Дай мне сроку, дай мне времени,
Дай мне сроку хоть три годика —
По церквам разнести имущество,
А казну по нищей братии!
Надоть душеньке покаяться!
— Сроку нет тебе, ни времени!
У тебя живот неправедный,
У тебя казна противная,
И твоей душе нет помощи!
— Дай мне сроку хоть три часика —
По церквам разнести имущество,
А казну по нищей братии!
Надоть душеньке покаяться!
— Нет тебе и трех минуточек,
У тебя живот неправедный,
У тебя казна неправая,
И твоей душе нет помощи!
Затомился тут Аничище,
Упадал с коня буланого,
Упадал на землю—матушку,
Будто там его и не было!



СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

Не пристало ли бы нам, братья, начать старыми словами ратных повестей о походе Игореvem, Игоря Святославича? Но пусть начнется эта песнь по правдивым сказаниям сего времени, а не по замыслению Боянову. Ведь Боян вещий если кого хотел воспеть, то носился мыслью по дереву, серым волком по земле, сизым орлом под облаками. Ведь он помнил, сказывают, бреши давних времен. Тогда пускал десять соколов на стадо лебедей: какую догонял, та первой песнь пела старому Ярославу, храброму Мстиславу, что зарезал Редю пред полками касожскими, красному Роману Святославичу. Боян же, братья, не десять соколов на стадо лебедей пускал, но свои вещие персты на живые струны возлагал, а они сами князьям славу рокотали.

Начнем же, братья, повесть эту от старого Владимира до нынешнего Игоря, который напярк ум крепостью своей и изострил сердце свое мужеством; исполнившись ратного духа, навел свои храбрые полки на землю Половецкую за землю Русскую.

Тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидел, что от него тьмою все его воины покрыты. И сказал Игорь дружине своей: «Братья и дружина! Лучше уж убитым быть, чем полоненным быть. Сядем, братья, на своих борзых коней, чтобы посмотреть синий Дон...»

Пришло на ум князю сильное желание, и жажда отведать Дона великого перемогла у него знамение. «Хочу, — сказал, — копьё преломить в конце степи Половецкой; с вами, русские, хочу голову свою сложить, либо напиться шлемом из Дона».

О Боян, соловей старого времени! Если бы ты эти полки воспел соловьиным щекотом, скача, соловей, по мысленному дереву, летая умом

под облаками, свивая, соловей, обе половины сего времени, рыская путем Трояновым через степи на горы. Петь бы песнь Игорю того [Трояна] внуку так: «Не буря соколов занесла через степи широкие; стада галок бегут к Дону великому...» Или так бы воспеть, вещий Боян, Велесов внук: «Кони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве. Трубы трубят в Новгороде, стоят стяги в Путивле».

Игорь ждет милого брата Всеволода. И сказал ему буй-тур Всеволод: «Один брат, один свет светлый ты, Игорь. Оба мы Святославичи. Седлай, брат, своих борзых коней, а мои то готовы, уж оседланы у Курска. А мои то куряне испытанные воины: под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, с конца копья вскормлены; пути им ведомы, овраги им знакомы; луки у них натянуты, колчаны открыты, сабли отточены; сами скачут, словно серые волки в поле, ища себе чести, а князю славы».

Тогда вступил Игорь князь в золотое стремя и поехал по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заграждало; ночь, стонучи ему грозою, птиц разбудила; свист звериный поднялся; вострепнулся Див, кличет на вершине дерева; велит послушать земле незнаемой — Волге, и Поморью, и Посулью, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, тмутороканский идол. А половцы непроторенными дорогами побежали к Дону великому: скрипят телеги в полночь, словно лебеди распуганные. Игорь к Дону войско ведет. Уже беду его подстерегают птицы по дубам; волки грозу поднимают по оврагам; орлы клектом на кости зверей зовут; лисицы лают на красные щиты. О Русская земля, ты уже за холмом!

Долог мрак ночной. Заря-свет запылала, мгла поля покрыла; щекот соловьиный уснул, говор галочий пробудился. Русские широкие степи красными щитами перегородили, ища себе чести, а князю славы.

Спозаранок в пятницу потоптали они поганные полки половецкие и, рассыпавшись стрелами по степи, помчали красных дев половецких, а с ними золото, паволоки и дорогие атласы. Покрывалами, и накидками, и кожухами стали мосты мостить по болотам и грязным местам, и всякими узорочьями половецкими. Красный стяг, белая хоругвь, красный бунчук, серебряный жезл — храброму Святославичу! Дремлет в степи Олегово храброе гнездо. Далеко залетело! Не было оно на обиду рождено ни соколу, ни кречету, ни тебе, черный ворон, поганый половчанин. Гза бежит серым волком, Кончак ему путь кажет к Дону великому.



На другой день очень рано кровавые зори рассвет возвещают, черные тучи с моря идут, хотят прикрыть четыре солнца, а в них трепещут синие молнии. Быть грому великому! Идти дождю стрелами с Дону великого! Тут копьям преломиться, тут саблям удариться о шлемы половецкие на реке на Каяле, у Дона великого. О Русская земля, ты уже за холмом!

Вот ветры, Стрибожьи внуки, веют с моря стрелами на храбрые полки Игоревы. Земля гудит, реки мутно текут; пыль поля покрывает. Стяги говорят: половцы идут от Дона и от моря и со всех сторон русские полки обступили. Дети бесовы кликом поля перегородили, а храбрые русские перегородили красными щитами.

Ярый тур Всеволод! Ты мужественно бьешься, прыщешь на воинов стрелами, гремишь о шлемы мечами булатными. Где тур поскакивал, своим золотым шлемом посвечивая, там лежат поганые головы половецкие. Рассечены саблями калеными шлемы аварские тобою, ярый тур Всеволод. Презрел он раны, дорогие братья, забыл почести, и богатство, и город Чернигов, отцовский золотой стол и своей милой супруги, красной Глебовны, радушие и ласку.

Были века Трояновы, минули годы Ярославовы; были походы Олеговы, Олега Святославича. Тот ведь Олег мечом крамолу ковал и стрелы по земле сеял. Вступает он в золотое стремя в городе Тмутарокани, а тот звон слышал давний великий Ярославов сын Всеволод, Владимир же каждое утро уши зажимал в Чернигове. Бориса Вячеславича похвальба на суд привела и

зеленый покров у Канины постлала за обиду Олегову, храброго и молодого князя. С той же Каялы Святополк бережно перенес отца своего между угорскими иноходцами ко Святой Софии в Киев. Тогда при Олеге Гориславиче заседалось и росло усобицами, гибло достояние Дажьбожьего внука; в княжьих крамолах жизнь людей укорачивалась. Тогда по Русской земле редко пахари перекликались, но часто вороны каркали, трупы между собой деля; а галки свою речь говорили, хотят они лететь на поживу. То было в те рати и в те походы, а такой рати не слыхано.

С утра до вечера, с вечера до рассвета летят стрелы каленые, гремят сабли о шлемы, трещат копья булатные в степи неизвестной, среди земли Половецкой. Черная земля под копытами косями была посеяна, а кровью полита; горем взошли они по Русской земле.

Что мне шумит, что мне звенит издалека рано перед зарею? Игорь полки поворачивает; жаль ведь ему милого брата Всеволода. Бились день, бились другой, на третий день к полудню пали стяги Игоревы. Тут два брата разлучились на берегу быстрой Каялы; тут кровавого вина не достало; тут пир окончили храбрые русские: сватов напоили и сами полегли за землю Русскую. Никнет трава от жалости, а дерево с печалью к земле приклонилось.

Ведь уж, братья, невеселая пора настала, уже пустыня силу покрыла. Встала Обида в силах Дажьбожьего внука, вступила девай на землю Троянову, всплескала лебедиными крыльями на синем море; у Дона плеская, прогнала счастливые времена. Борьба князей с погаными прекратилась, ибо говорил брат брату: «это мое, а то тоже мое». И начали князья про малое «это великое» говорить и сами на себя крамолу ковать. А поганые со всех сторон приходили с победами на землю Русскую. О, далеко зашел сокол, птиц избивая, — к морю! А Игорев храброго полка не воскресить.



Вслед ему крикнула Карина, и Желя поскакала по Русской земле, огонь раскидывая людям в пламенном роге. Жены русские всплакались, причитая: «Уже нам своих милых мужей ни мыслию помыслить, ни думою сдумать, ни очами увидеть, а золота и серебра совсем не нашивать». И застонал, братья, Киев от печали, а Чернигов от напастей. Тоска разлилась по Русской земле, печаль обильная текла среди земли Русской. А князья сами на себя крамолу ковали, а поганые сами, с победами нарыскивая на Русскую землю, брали дань по белке со двора.

Эти два храбрые Святославича, Игорь и Всеволод, уже погань пробудили раздором. Ее было усыпил отец их Святослав грозный, великий киевский: как грозою, прибил своими сильными полками и булатными мечами, наступил на землю Половецкую; притоптал холмы и овраги; замутил реки и озера; иссушил потоки и болота. А поганого Кобяка из лукоморья, из железных великих полков половецких, словно вихрь, исторгнул: и пал Кобяк в городе Киеве, в гриднице Святославовой. Тут немцы и венециане, тут греки и моравы поют славу Святославову, корят

князя Игоря, погрузившего богатство на дно Каялы, реки половецкой: русского золота насыпали тут. Князь Игорь пересел из седла золотого да в седло раба. По городам же уныли стены и веселье поникло.

А Святослав мутный сон видел в Киеве на горах. «В эту ночь с вечера одевали меня, — говорил он, — черным покрывалом на кровати тисовой; черпали мне синее вино с горем смешанное; сыпали мне пустыми колчанами поганых иноземцев крупный жемчуг на грудь и нежили меня. Уже доски без князька в моем тереме златоверхом. Всю ночь с вечера серые вороны каркали у Плеснеска на побережьи, были лесные змеи, и понесло их к синему морю».

И сказали бояре князю: «Уже, князь, горе мысль полонило: ведь два сокола слетели с отцовского стола золотого, чтоб поискать города Тмудорокани либо напиться шлемом из Дона. Уж соколам крылышки подрезали поганых саблями, а самих их опутали путами железными. Темно было в третий день: два солнца померкли, оба багряные столпа погасли, и с ними два молодых месяца, Олег и Святослав, тьмою заволоклись и в море погрузились и великую дерзость придали поганым. На реке на Каяле тьма свет покрыла, по Русской земле простерлись половцы, словно барсово гнездо. Уже бесчестие перемогло славу; уже насилие ударило на волю; уже низвергся Див на землю. Вот ведь готские красные девы запели на берегу синего моря, звоня русским золотом; поют время Бусово, лелеют месть за Шарукана. А мы, дружина, уже жаждем веселья».

Тогда великий Святослав изронил золотое слово, со слезами смешанное, и сказал: «О мои сыновцы, Игорь и Всеволод! Рано начали вы Половецкую землю мечами дразнить, а себе славы искать; но бесславно вы одолели, бесславно ведь кровь поганых пролили. Ваши храбрые сердца из твердого булата скованы и в отваге закалены. Что сотворили вы моей серебряной седине! А уже не вижу сильного, богатого, имеющего много воинов брата моего Ярослава с черниговскими вельможами, с воеводами и с татранами, и с шельбирами, и с топчаками, и с ревугами, и с ольберами: эти ведь без щитов, с засапожными ножами, кликом полки побеждают, звоня прадедовской славой. Но вы сказали: «Сами помужаемся, предстоящую славу сами добудем, а минувшую сами поделим!» А разве диво, братья, старому помолодеть? Когда сокол линяет, высоко птиц взбивает, не даст гнезда своего в обиду. Но вот зло: князья мне не в помощь. Впустую времена обернулись. Вот в Римове кричат под саблями половецкими, а Владимир под ранами. Горе и тоска сыну Глебову!

Великий князь Всеволод! Не мыслишь ли ты прилететь издалека — отцовский золотой стол поблюсти? Ты ведь можешь Волгу веслами расплескать, а Дон шлемами вычерпать! Если бы ты был, то была бы

рабыня по ногате, а раб по резани. Ты ведь можешь посуху живыми копьями метать, удалыми сынами Глебовыми.

Ты, буй Рюрик и Давид! Не у вас ли золоченые шлемы по крови плавали? Не у вас ли храбрая дружина рыкает, словно туры, раненные саблями калеными, в степи неизвестной? Вступите, господа, в золотые стремена за обиду сего времени, за землю Русскую, за раны Игоревы, удалого Святославича! Галицкий Осмомысл Ярослав! Высоко сидишь ты на своем златокованном столе, подперев горы угорские своими железными полками, загородив королю путь, затворив Дунаю ворота, метая тяжести через облака, суды рядя до Дуная. Грозы твои по землям текут; отворяешь ты Киеву ворота, стреляешь с отцовского золотого стола султанов за землями. Стреляй, господин, Кончака, поганого раба, за землю Русскую, за раны Игоревы, удалого Святославича!

А ты, буй Роман и Мстислав! Храбрая мысль увлекает ваш ум на подвиг. Высоко паришь ты на подвиг в отваге, словно сокол, по ветру летящий, стремящийся птицу в смелости превзойти. У обоих у вас железные панцири под шлемами латинскими. От них дрогнула земля и многие страны: Хинова, Литва, Ятвяги, Деремела и половцы копья свои повергли, а головы свои подклонили под те мечи булатные. Но уже, князь, для Игоря померк солнца свет, а дерево не к добру листву сронило! По Роси и по Суде города поделили. А Игореву храброго полка не воскресить. Дон тебя, князь, кличет и зовет князей на победу. Ольговичи, храбрые князья, поспели на брань.

Ингварь и Всеволод и все трое Мстиславичи, не худого гнезда шестокрыльцы! Не благодаря ли военному счастью вы себе волости добыли? Где ваши золотые шлемы и копья польские и щиты? Загородите степи ворота своими острыми стрелами за землю Русскую, за раны Игоревы, удалого Святославича!»

Уже ведь Сула не течет серебряными струями к городу Переяславлю, и Двина болотом течет к тем грозным полочанам под кликом поганых. Один Изяслав, сын Васильков, позвонил своими острыми мечами о шлемы литовские, перебил славу деда своего Всеслава, а сам под красными щитами на кровавой траве был побит литовскими мечами и... сказал: «Дружину твою, князь, птицы крыльями приодели, а звери кровь полизали». Не было тут ни брата Брючислава, ни другого — Всеслава; один он изронил жемчужную душу из храброго тела через золотое ожерелье. Уныли голоса, поникло веселье, трубы трубят городенские. Ярослав и все внуки Всеславовы! Уже склоните стяги свои, вложите свои мечи поврежденные: уже ведь выскочили вы из дедовской славы. Вы ведь своими крамолами стали наводить поганых на землю Русскую, на достояние Всеславова; из-за раздоров ведь пошло насилие от земли Половецкой!

На седьмом веке Трояновом бросил Всеслав жребий о девице, ему милой. Он, исхитрившись, сел на коня и подскочил к городу Киеву и коснулся жезлом золотого стола киевского; отскочил тайно лютым зверем в полночь из Белгорода, повис в синем тумане, утром же ударил секирами, отворил ворота Новагорода, расшиб славу Ярославу, отскочил волком до Немиги с Дудуток. На Немиге снопы стелют из голов, молотят цепами булатными, на току жизнь кладут, веют душу от тела. Немиги кровавые берега не добром были засеяны, засеяны костями русских сынов. Всеслав князь людей судил, князьям города рядил, а сам в ночь волком рыскал: из Киева дорыскивал до петухов в Тмуторокань; великому Хорсу волком путь перерыскивал. Ему в Полоцке позвонили к заутрене рано у Святой Софии в колокола, а он в Киеве звон слышал. Хоть и вещая душа была в храбром теле, но часто беды терпел он. Ему вещий Бонн еще давно припевку, мудрый, сложил: «Ни хитрому, ни искусному, ни птице искусной суда Божьего не миновать».

О, стонать Русской земле, вспоминая прежнее время и прежних князей! Того старого Владимира нельзя было пригвоздить к горам киевским. Ведь его стяги теперь стали Рюриковы, а другие Давыдовы, но врозь у них бунчуки развеваются, копья поют.

На Дунае Ярославнин голос слышится; кукушкой незнаемая рано кукует: «Полечу, — говорит, — кукушкой по Дунаю, омочу бобровый рукав в Каяле реке, утру князю кровавые его раны на могучем его теле!» Ярославна рано плачет в Путивле на стене, причитая: «О, ветер, ветрило! Зачем, господин, бурно веешь? Зачем мчишь вражеские стрелы на своих легких крыльях на воинов моего милого? Мало ли тебе было бы в вышине под облаками вейте, лелея корабли на синем море? К чему, господин, мое веселие по ковылю развеял?» Ярославна рано плачет в Путивле городе на стене, причитая: «О, Днепр Словутич! Ты пробил каменные горы сквозь землю Половецкую. Ты лелеял на себе Святославовы суда до стана Кобякова. Прилелей, господин, моего милого ко мне, чтобы не слала к нему слез на море рано». Ярославна рано плачет в Путивле на стене, причитая: «Светлое и пресветлое солнце! Для всех тепло и красно ты. Зачем, господин, простер горячие свои лучи на воинов милого? В степи безводной жаждою им луки свел, горем им колчаны заткнул».

Взволновалось море в полночь; идут смерчи мглою. Игорю князю Бог путь кажет из земли Половецкой в землю Русскую, к отчему столу золотому. Погасли вечерние зори. Игорь спит, Игорь бдит, Игорь мыслью степь мерит от великого Дона до малого Донца. Коня в полночь Овлур свистнул за рекою; велит князю догадаться. Князя Игоря нет! Кликнул; загудела земля, зашумела трава, шатры половецкие задвигались. А Игорь князь поскакал

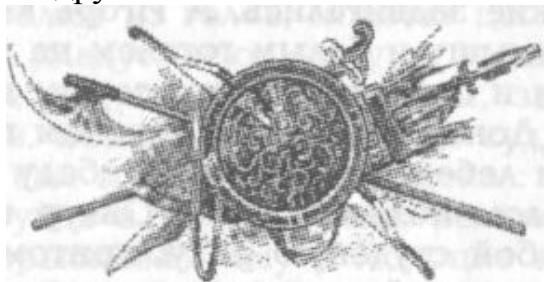
горностаем к камышу и белым гоголем на воду. Кинулся на борзого коня и соскочил с него серым волком, и устремился к лугу Донца, и полетел соколом под туманами, избивая гусей и лебедей к завтраку, обеду и ужину. Когда Игорь соколом полетел, тогда Овлур волком устремился, тряся собой студеную росу: притомили ведь они оба своих борзых коней.

Донец сказал: «Князь Игорь! Не мало тебе величия, а Кончаку неприязни, а Русской земле веселья». Игорь сказал: «О Донец! Не. мало тебе величия, лелеявшему князя на волнах, стлавшему ему зеленую траву на своих серебряных берегах, одевавшему его теплыми туманами под тенью зеленого дерева, стерегшему его гоголем на воде, чернядями на струях, чайками на ветрах». Не такова–то ведь река Стугна: скудную струю имея, поглотив чужие ручьи и ладьи раскидав к устью, юноше князю Ростиславу затворила Днепр у темного берега. Плачется мать Ростиславова по юноше князе Ростиславу. Уныли цветы от жалости, и дерево с печалью к земле приклонилось».

А не сороки застрекотали: по следу Игореву едет Гза с Кончаком. Тогда вороны не каркали, галки замолкли, сороки не стрекотали, по ветвям ползали только. Дятлы стуком путь к реке указывают, соловьи веселыми песнями рассвет возвещают. Молвит Гза Кончаку: «Коли сокол к гнезду летит, соколенка расстреляем своими золочеными стрелами». Сказал Кончак Гзе: «Коли сокол к гнезду летит, соколенка мы опутаем красною девицею». И сказал Гза Кончаку: «Коль опутаем его красной девицей, не будет у нас ни соколенка, ни красной девицы; и станут нас птицы бить в степи Половецкой».

Сказал Боян...: «Хоть и тяжко тебе, голове, без плеч, худо тебе, телу, без головы», Русской земле без Игоря. Солнце светится на небе, Игорь князь в Русской земле. Девицы воют на Дунае, вьются голоса через море до Киева. Игорь едет по Боричеву к святой Богородице Пирогощей. Страны рады, города веселы.

Спевши песню старым князьям, потом молодым петь славу: Игорю Святославичу, буй–туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу. Да здравствуют князья и дружина, борющиеся за христиан с погаными полками! Князьям слава и дружине. Аминь.



ЭПОС ЗАПАДНЫХ И ЮЖНЫХ СЛАВЯН



КОРНИ СЛАВЯНСКОГО МИФОТВОРЧЕСТВА

Народное эпическое творчество южных славян — болгар, сербов, хорватов, македонцев, словенцев и других народов — представляет собой чрезвычайно интересное и самобытное проявление поэтического гения народных масс. В эпосе южных славян с большой силой отразились характернейшие черты этого рода устного поэтического творчества, утраченные частично или полностью в фольклоре других народов. В героических эпических песнях южных славян, в образах народных героев, воспетых в юнацких, хайдуцких и ускокских песнях, в народных балладах отражены не только важные стороны жизни народа, его эстетические и этические представления, но и выражены его высокие идеалы любви к родине, верности, товарищества, борьбы против иноземного порабощения, идеалы счастья и свободы. Дошедшая и сохранившаяся до нас эпическая поэзия южнославянских народов имеет своим основным содержанием героическую борьбу славян Балканского полуострова против чужеземных захватчиков — османских турок, поработивших их в конце XIV— начале XV в., уничтоживших их самостоятельную государственность, жестоко угнетавших на протяжении долгих столетий свободолюбивые славянские народы.

Наряду с этим главным содержанием героических песен болгар и сербов в них заметны также и отзвуки более ранних исторических событий и прежних общественных отношений, преданий более глубокой и древней старины, окутанных легендой, чудесным народным вымыслом и фантазией, уходящими своими корнями в славянское мифотворчество. Все это придает эпическим песням южных славян неповторимую прелесть, глубоко национальную окраску и своеобразие, воплощенные в художественных формах и образах, отшлифованных и отобранных великим коллективным творцом их — народом.

У западных славян — поляков, чехов, словаков и лужицких сербов — нет героических песен типа русских былин, русских исторических песен, украинских дум, исторических украинских песен, юнацких и хайдуцких

сербских, хорватских и болгарских песен. Только восточные (русские и украинцы) и южные славяне сохранили героический эпос в песенной форме.

Мы не можем с уверенностью сказать, что западные славяне и в прежние времена не имели героических песен. Чем объяснить тот факт, что восточные и южные славяне до настоящего времени донесли героические эпические песни, а западные славяне таких песен не имеют — остается до сих пор не выясненным.

Анализируя героические эпические песни восточных и южных славян, мы отмечаем, что эпос одних славянских народов использует в большей мере художественные средства лирической песни, а эпос других — в меньшей. Русские былины из всего славянского героического эпоса представляют наиболее характерные по форме эпические песни. Что же касается юнацких и хайдуцких песен сербов, хорватов, болгар и македонцев, а также украинских дум и украинских исторических песен, то они значительно больше, чем русские былины и русские исторические песни, содержат в себе элементы лирических песен. Отдельные юнацкие песни южных славян и украинские думы по своей форме близки к балладам. Многие украинские думы очень близки по своей форме к балладам западных славян. Трудно бывает установить границы между чисто героической песней и песней лиро-эпической, между балладой и чисто лирической песней.

В напечатанных в нашем сборнике эпических и лирических песнях западных славян одни из песен будут ближе к эпическим, другие к песням лирическим.

Эпические и лиро-эпические песни западных славян записаны были главным образом в деревнях в XIX и XX вв. Все эти песни, несомненно, отражают взгляды и художественные нормы их исполнителей и слушателей XIX и XX вв. Вместе с тем эпические и лиро-эпические песни западных славян поют о событиях различных исторических периодов и эпох.

«Магабхарата, поэмы Гомера, древнегреческие сказания, наши былины, песни и сказки — все это драгоценности человечества, которые все мы обязаны беречь благоговейно. Все равно были ли эти произведения созданы творчеством соборным, коллективным или отдельными художниками-творцами, но они были приняты и обточены океаном народной души и хранят на себе явные следы его воли. В созданиях народной поэзии мы непосредственно соприкасаемся с самой стихией народа, чудом творчества воплощенной, затаенной в мерных словах поэмы или песни», — писал В. Я. Брюсов о народной поэзии («Далекие и близкие». М., 1912. С. 93). И эти его слова полностью относятся и к эпическим песням балканских славян.

Каждая из них — частица, отдельная искрящаяся волна народного океана чувствований, дум, чаяний и переживаний.



БОЛГАРСКИЙ ЭПОС

КРАЛЬ ВЫЛКАШИН ГУБИТ МОМЧИЛОВУ ЛЮБУ

Перевод С. Городецкого

Накажи, Бог, Момчила юнака!
Ходит все по Новому Пазару!
Сам ходи, — зачем же вместе с любой?
Вот и люба, по делам хозяйским
Ходит все по Новому Пазару.
Встретила там краля Вылкашина,
И сказал ей прямо краль Вылкашин:
— С добрым утром, Момчилова люба!
Отвечает Момчилова люба:
— С добрым утром, краль Вылкашин.
И опять сказал ей краль Вылкашин:
— Рад я встрече, Момчилова люба!
Ты у Момчила в шелках гуляешь.
У меня бы ты в парче ходила.
Отвечает Момчилова люба:
— Если Момчила сгубить ты можешь, —
Можешь стать моим любимым.
И в ответ ей краль Вылкашин:
— Рад я встрече, Момчилова люба!
Если можешь Момчила нам выдать,
Выдавай, и мы его погубим.
Отвечала Момчилова люба:
— Почему бы Момчила не выдать?
И в ответ сказал ей краль Вылкашин:
— Рад я встрече, Момчилова люба!
Завтра утром мы, как только встанем,
Мы чуть свет поедem на охоту
Наловить хотим мы диких уток,
Диких уток — уток златокрылых.

Предложи ему со мною ехать
На охоту за болотной дичью,
На охоте мы его погубим.
Время к вечеру привечерилось, —
Накажи, Бог, Момчилову люблю! —
Пробралась она в его конюшню
И дурное дело совершила:
Доброму коню спалила крылья
И под ними раны растравила,
Да и дегтем их еще натерла,
Саблю с ножнами свинцом спаяла.
Чуть зарею небо озарилось,
Разбудила Момчила его подруга:
— Поднимайся, Момчил, поднимайся!
Встань, вставай, юнак мой, поскорее!
Все юнаки на охоту едут,
Ты ж на мягких тюфяках заспался!
С мягких тюфяков поднялся Момчил,
И коня он вывел из конюшни,
Оседлал крылатого коня он,
Загремел он саблею дамасской,
На крылатого коня вскочил он
И помчался за дружиной дружной,
Вслед помчался, чтоб ее настигнуть.
Он настигнул краля Вылкашина,
Он настигнул, Момчил, добрый юнак.
А дружине краль Вылкашин молвил:
— Мой привет вам, дружная дружина.
Не ловите, други, дикой дичи,
Изловите Момчила-юнака,
Изловите, чтоб его сгубить нам.
Собралась вся дружная дружина
На поимку Момчила-юнака.
Все услышал Момчил, добрый юнак.
Поскакал обратно по дороге,
Вот он скачет по дороге ровной
И коню тихонько молвит Момчил:
— Мчись быстрее, — если не помчишься,
Я, юнак, и ты, мой конь, погибнем.
Конь тихонько говорит юнаку:

— Не робей, юнак наш храбрый Момчил!
Нам бы лишь до крепости добраться!
Но ведь крепость для тебя закрыта.
Накажи, Бог, Момчилову любовь!
Любу, первую твою подругу!
Ведь она пробралась к нам в конюшню
И дурное дело совершила:
Опалила легкие мне крылья
И под ними раны растравила,
Да и дегтем их еще натерла,
Саблю с ножнами свинцом спаяла!
Все же добрый конь примчался в крепость,
Чуть к воротам крепости примчался,
Громко крикнул Момчил, добрый юнак:
— Добрый день, сестрица Ангелина!
Поднимись, сестра, открой ворота!
Отвечает милая сестрица:
— Ой, юнак, мой брат любимый!
Накажи, Бог, Момчилову любовь,
Любу, первую твою подругу!
Оплела она меня обманом
И к столбу за косы привязала.
Встать, мой брат любимый, не могу я!
И сестре ответил добрый юнак Момчил:
— Напрягись, сестра, и косы вырви!
Косы снова вырастут, сестрица,
Сгинет брат, — другого не увидишь.
Напряглась любимая сестрица,
Напряглась и косы оборвала.
И пошла она в глубокие подвалы
И локтей взяла там девяносто
Полотна льняного, что белее снега,
И полотнище закинула за стену.
За полотнище схватился Момчил,
За него держась, полез на стену
И готов был стену перепрыгнуть.
Накажи, Бог, Момчилову любовь!
Прибежала Момчилова любя,
Полотно льняное надрезала.
И сорвался Момчил, не во двор упал он.

Тут к нему примчался краль Вылкашин.
Встал, поднялся юнак добрый Момчил,
За дамасскую схватился саблю,
Тянет саблю, а она не лезет!
Тут промолвил юнак добрый Момчил:
— Здравствуй, здравствуй, краль Вылкашин.
Если Момчила сейчас погубишь,
Погуби и Момчилову любу,
Любу, первую мою подругу,
На сестре моей женись любимой!
И убил Вылкашин Момчила–юнака,
На широкий двор пошел Вылкашин,
И поднялся он в высокий терем,
И сказал он Момчиловой любе:
— Будь здорова, Момчилова люба!
Принеси мне Момчила сапожки,
Дай, попробую я их примерить!
Принесла сапожки Момчилова люба,
Стал примеривать их краль Вылкашин.
Он в сапожки Момчила обулся —
Две ноги в один сапог засунул,
Но его двумя ногами не заполнил.
И промолвил снова краль Вылкашин:
— Будь здорова, Момчилова люба!
Принеси мне Момчилову шубу,
Я попробую ее примерить.
Вот надел он Момчилову шубу,
Два аршина на земле остались.
И промолвил снова краль Вылкашин:
— Будь здорова, Момчилова люба!
Принеси мне Момчилову шапку,
Я попробую ее примерить.
Вот надел он Момчилову шапку,
До плечей она его накрыла.
Наконец промолвил краль Вылкашин:
— Накажи тебя бог, злая люба!
Предала ты славного юнака!
Был сильнее всех юнаков Момчил,
Так же и меня сгубить ты можешь.
И сгубил он Момчилову любу,

Полюбил он Момчила сестрицу.

МАРКО ОСВОБОЖДАЕТ ТРИ ВЕРЕНИЦЫ РАБОВ

Перевод С. Городецкого

Села с Марко мать его за ужин.
Только села, грудь свою открыла
И взмолилась к храброму юнаку:
— Сын мой милый, Королевич Марко,
Не моим ли молоком ты белым,
Не моей ли, мальчик, белой грудью
Ты питался, мой сынок, три года?
Твой отец, когда ходил к обедне,
Не носил юнацкого оружия,
Кровь не проливал он в воскресенье.
Рано утром Марко Королевич,
Рано утром до зари румяной
Стал будить свою жену он:
— Встань, проснись, любимая Еленка,
Встань, голубка, принеси воды нам,
Чтоб мы свежею водой умылись.
Встань, родная, платье принеси нам,
Чтобы мы оделись понарядней!
Вместе к утрени пойдем мы в церковь,
К утрени пойдем мы, к литургии,
Чтоб пречистых тайн причаститься.
Поднялась любимая подруга,
Поднялась и спрашивает друга:
— Дорогой мой Королевич Марко,
Оседлать коня ты не велишь ли,
Принести юнацкое оружие?
— Нет, оружия, милая, не трогай!
Мать моя вчера меня просила,
Заклинала грудью своей белой,
Чтоб мы, в церковь Божью собираясь,
Вышли без юнацкого оружия.
Ты оружия, милая, не трогай!
И Еленка подала умыться,

Принесла нарядную одежду.
Нарядился Королевич Марко.
А что сделала еще невеста?
Ретивого Шарца оседлала,
Принесла его кривую саблю,
Саблю гибкую, что можно спрятать,
Можно спрятать в сумке переметной.
Саблю гибкую она скрутила,
Скрыла саблю в сумке переметной.
Дважды, трижды возвращалась к Шарцу
И коню наказывала строго:
— Полетишь ты, Шарц мой быстроногий,
Понесешься прямо по дороге.
Как увидишь где-нибудь ты рабство,
Подымай ее на злое рабство.
Если ж рабства ты в пути не встретишь,
Не показывай той гибкой сабли.
Вот выходит Королевич Марко.
Вывела ему коня Еленка,
Вывела она красавца Шарца,
Подвела его к большому камню,
Чтоб в седло вскочил проворней Марко.
Вставил Марко одну ногу в стремя,
Ловко вставил и другую ногу,
Конь помчал его широким полем,
Через лес направился зеленый.
Оглянулся Марко Королевич —
Глядь — у леса вся листва пожухла.
Юнак Марко к лесу обратился:
— Лес ты, лес мой, что ты оголился?
Или изморозь тебя спалила?
Иль тебя секира порубила,
Иль тебя, мой лес, пожгло пожаром?
Оголенный лес ему ответил:
— Ой ты, Марко! Королевич Марко!
Нет, не изморозь меня спалила,
Не секира злая порубила,
Не огонь пожег меня пожаром!
Проходили тут три вереницы,
Скованных рабов три вереницы,

А вели их черных три арапа.
А в одной юнаки молодые,
Женихи — им под венец идти бы! —
А в другой девицы молодые,
Все невесты — под венец идти бы!
В третьей веренице все молодки
С малышами на руках, сынками.
И от жалости к ним я поблекнул.
Припустил тут Шарца Королевич Марко,
И погнал его сквозь темное ущелье,
И нагнал три жалких вереницы,
И нагнал и перегнал их Марко.
Вслед ему одна рабыня закричала:
— Ой ты, братец, Королевич Марко!
Как же не узнал меня ты, братец?
Я молилась Богу днем и ночью,
Чтоб нагнал меня ты на дороге.
Ты ж нагнал меня и едешь мимо!
Осадил тут Шарца Королевич Марко,
Подождал, пока пройдут рабыни,
И спросил молодку, что кричала:
— Ой, рабыня, девушка–невеста,
Как узнала, что зовусь я Марко?
Отвечает девушка–рабыня:
— Ой ты, Марко! Королевич Марко!
Неужель меня ты не узнаешь,
Неужели мимо ты проедешь?
Вспомнишь ты меня или не вспомнишь?
Помнишь, как мятеж поднялся первый,
Поднялись болгары храбрым войском,
И пошел ты, Марко, с этим войском?
Семьдесят ты получил ранений,
Семьдесят тех пулевых ранений,
Восемьдесят сабельных ударов,
А на Шарце не было им счету.
Матушка моя была знахаркой
И тебе те раны врачевала,
Трижды в день она их пеленала,
Развязав их, пеленала снова.
Я была тогда девчонкой малой,

И стирала я тебе повязки.
Отвечал ей Королевич Марко:
— Неужели это ты, Янинка?
— Это я, мой Королевич Марко,
Это я, мой братец ненаглядный!
Тут воскликнул Королевич Марко:
— Слушайте вы, три арапа черных!
Дам вам двести золотых червонцев,
Дайте волю девушке–рабыне!
Три арапа черных отвечают:
— Проезжай, болгарин сумасшедший!
Есть и для тебя звено цепное,
И тебя мы в плен возьмем, болгарин,
И тебя погоним, как барана,
Вожака–барана впереди овечек!
Вновь воскликнул Королевич Марко:
— Слушайте вы, три арапа черных!
Дам вам триста золотых червонцев,
Дайте волю девушке–рабыне.
Отвечали черных три арапа:
— Проезжай, болгарин сумасшедший!
А не то и сам рабом ты станешь!
Рассердился Королевич Марко,
Разъярилось сердце у юнака.
Он отстал немного от арапов,
Соскочил с коня он Шарца наземь,
Наломал осколков от утесов,
Глыбы стал бросать в арапов черных.



Шарец, добрый конь, ему промолвил:
— Ой ты, Марко! Королевич Марко!
Ведь твоя любимая впервые
Свернутую саблю положила,
Положила под суконную попону,
В переметную из шелка сумку.
Возьми саблю, Королевич Марко,
Сил своих, моих не трать напрасно!
А ударь ты саблей на троих арапов!
Сунул руку Марко в шелковую сумку,
Быстро вынул свернутую саблю
И пошел рубить арапов черных.
И разбил он на рабах вериги.
Каждому дал два иль три червонца
И наказывал им, деньги раздавая:
— Как дойдете вы до Нового Пазара,
Покупайте башмаки себе на ноги,
Покупайте, чтоб босыми не ходить вам.
Одевайтесь, чтоб нагими не ходить вам,
Покупайте хлебушка покушать,

Завтра день великий — Пасха.
И помчался Королевич Марко,
Чтоб поспеть к заутрене, к обедне,
И приехал в монастырь Дечанский.
Был в монастыре игумен старый,
Он глядел в окно волоковое —
Не приехал ли к нему владетель?
Уж пришло время уходить из церкви!
И увидел вдруг игумен старый:
По двору вокруг церкви ходит Марко,
Ходит, водит Шарца — прохлаждает;
Ну а в церковь Божию не входит.
Поглядел игумен старый, вышел,
И сказал старик юнаку Марко:
— Здравствуй, наш владетель, здравствуй!
Чем же мы тебя так рассердили,
Что не хочешь ты войти к нам в церковь?
Отвечает Королевич Марко:
— Здравствуй ты, игумен старый, здравствуй!
Нет, не вы мне сердце рассердили!
Кровь я пролил, пролил в воскресенье.
Порубил я черных трех арапов,
Волю дал рабам, трем вереницам,
По два, по три им червонца роздал,
Чтобы каждый мог купить, что хочет.
Потому—то в церковь я войти не смею,
И не смею я принять причастье.
Мать меня вечорось заклинала
Кровь не лить людскую в воскресенье.
Не хотел я сам кровопролиться,
Но моя любимая впервые.
Положила свернутую саблю
В переметную из шелка сумку.
На куски посек я черных трех арапов.
Потому и в церковь я войти не смею.
И сказал ему игумен старый:
— Ой ты, Марко! Королевич Марко!
Дам как раз тебе я три причастья:
Для тебя одно, для матери второе,
Третье дам я для твоей любимой,

Что дала тебе тугую саблю.
И три раза причастил он Марко.

ДАМЯН–ВОЕВОДА И ПАНДАКЛИЙСКИЙ СУЛТАН
Перевод М. Замаховской

Вышел Дамянушка в рощу,
В зеленый во лес еловый,
Еловый да кизиловый.
С ним триста верных юнаков,
Боснийцев семеро храбрых,
Несущих семь стягов алых,
И трое повстанцев–клефтов.
Софри дорогие вынес,
Златые расставил блюда
На скатертях белоснежных,
Нарезал белого хлеба
И накромсал он барашков,
Жареных, свежих барашков.
Вино остудил он в чашах,
Кушать и бражничать сели.
Ели они, эх, поели,
Пили они, эх, испили!
Хмелеет первый повстанец,
И говорит он Дамяну:
«Дамян ты наш, воевода,
Султан карателей выслал,
Тот ли султан пандаклийский.
В поле сочтешь ты травку —
Карателям счета нету».
И клефту Дамян ответил:
«Ступай, ступай, клефт мой верный,
Ступай, стереги наш лагерь».
Пирует Дамян–воевода,
Хмелеет второй повстанец,
И говорит он Дамяну:
«Не медли, Дамян, не медли —

Отряд карателей близко.



В чаще сочтешь ты листья —
Карателям счета нету».
И клефту Дамян ответил:
«Ступай, ступай, клефт мой верный,
Ступай, стереги наш лагерь».
Пирует Дамян–воевода,
Забот и тревог не зная.
Хмелеет третий повстанец,
И говорит он Дамяну:
«Дамян, иль ты не наелся?
Дамян, иль ты не напился?
Отряд карателей близко.
В море песчинки сочтешь ты —
Карателям счета нету.
Враги возьмут нас живыми».
И тут лишь Дамян поднялся,
Поднялся и в пляс пустился,
Тонкую вытащил саблю,
Дамянову тонкую саблю,
Что много голов срубила.
Он саблей той замахнулся
И громким голосом крикнул:
«Я не боюсь, не страшуся
Тебя, султан пандаклийский,
Султан, ты, пес шелудивый!»
Едва Дамян это крикнул,
Каратели подоспели.
Дамян вовсю развернулся.
Как влево он размахнулся,
Как вправо он повернулся —
Один султан и остался.
Султан говорит Дамяну:
«Дамян, воевода грозный,
Прошу, молю тебя слезно:
Ты голову не руби мне, —
Ты выколи глаз один мне,
Одну отруби мне руку,
Одну отруби мне ногу,
Чтоб мне ходить–побираться,
Ходить, рассказывать людям,

Какой ты лихой воевода!»

СВИНОПАС МИХАЛЬЧО

Перевод Е. Книпович

Посватала раз Милица,
Милица — сама царица, —
Посватала раз Иванчо
За девушку котловчанку:
Гостей созывать послала
И свахе она наказала,
Кого приглашать на свадьбу,
Кого из родни уважить.
Да только звать не велела
Племянников–лиходеев,
Затем, что они пьянчуги,
Пьянчуги и забулдыги,
Напьются, ножи достанут
И в драку, гляди, полезут.
Родню пригласила сваха,
Кумовьев пригласила сваха,
Племянников–лиходеев
Не пригласила сваха.
Прошло два дня и две ночи,
Прошло три дня и три ночи,
Но нет невесты — не едет.
Милица, сама царица,
Милица диву дается.
На гору взошла Милица
И видит — вьется дорога;
Не видно свадьбы, не едет!
Уж нет ли беды неожиданной?
Вдруг видит Милица: туча
Над полем плывет, чернея.
То гонит чабан Никола
По полю овечье стадо.
«Эй, храбрый овчар Никола! —
Сказала ему Милица, —

Прошу, окажи мне милость,
Ступай по дороге в Котел,
В богатый и славный Котел,
Узнай, окажи мне милость —
Уж нет ли беды неожиданной.
Не едет свадьба, не едет!»
Ответил овчар Милица:
«Мне ехать опасно в Котел,
В богатый славный Котел.
Там жадный гостит Маджарин
И с ним душегубец Марко.
Узнают меня и схватят.
Опасно мне ехать в Котел.
Но есть у меня, Милица,
Есть братец меньшей, да храбрый.
Он в поле широком вырос,
Он вырос в лесу дремучем,
Средь леса в зимней овчарне.
А братца того меньшого
Зовут свинопас Михальчо».
Отправилась в лес Милица,
В чащобу пошла царица.
В чащобу к зимней овчарне,
К овчарне — искать Михальчо,
Удалого свинопаса.
Вдруг видит, идет детина,
Нечесанный, неумытый,
Холстиной рваной прикрытый.
Спросила его царица:
«Скажи, где найти Михальчо,
Молоденького свинопаса,
Меньшого брата Николы?»
Детина, смеясь, ответил:
«Зачем ты ищешь Михальчо,
Молоденького свинопаса?»
И поняла тут Милица,
Что сам Михальчо пред нею.
«Михальчо, мой милый голубь,
Соколик родной, Михальчо,
Женить я хочу Иванчо,

Иванчо — родного сына.
Невесту ему сыскала.
Прошло два дня и две ночи,
Прошло три дня и три ночи,
Не едет свадьба, не едет.
Пошел бы ты, милый, в Котел,
В богатый и славный Котел.
Узнал бы ты, милый сокол,
Уж нет ли беды неожиданной!»
Как только услышал Михальчо
Слова Милицы–царицы,
От радости он зарделся,
Вскипело радостью сердце.
Надел он свою шапчонку,
Шапчонку–невеличку
Из шкур серо–бурых волчьих,
Накинул тулуп на плечи,
Тулупчик свой недомерок
Из шкур девяти медвежьих,
Коня оседлал поспешно,
Взнуздал уздою железной,
Железной в три ока весом,
Седло подтянул подпругой,
А сбоку топуз привесил,
Топуз не большой, не малый,
А весом на тридцать ока.
Вот сел на коня Михальчо,
За повод рукою взялся,
Взыграло конское сердце,
И конь заплясал на месте:
И камни ногами выбил,
Метнул их в синее небо.
«Михальчо, голубчик милый, —
Сказала ему Милица, —
Когда ты приедешь в Котел,
Не дергай узды железной,
Коня не яри, Михальчо.
Там нынче гостит Маджарин
И с ним королевич Марко.
Убьют тебя, голубь милый,

Убьют, ни за грош погубят!»
Михальчо не внял совету —
Как только он в Котел въехал,
То дернул коня за повод.
Взыграло конское сердце,
И конь заплясал на месте
И вышиб ногами камни,
Стал город камнями рушить.
Увидел всадника Марко
И крикнул Филиппу громко:
«А ну-ка, Филипп Маджарин,
Ступай дурачку навстречу.
За аргамака не жалко
И двести отдать дукатов.
А станет дурак перечить —
Коня отбери насильно».
Маджарин пошел к Михальчо,
Сулил дураку дукаты.
И двести сулил, и триста,
А тот даже глаз не поднял.
Как крикнул Филипп Маджарин, —
Склонились дубы и скалы:
«Отдай скакуна мне, дурень,
Не дашь — отниму я силой,
В бою отобью юнацком!»
Тут поднял топуз железный
Михальчо, простой детина,
Нопузом взмахнул, играя,
И тотчас Филипп отъехал
И путь уступил поспешно
Молоденькому свинопасу.
Михальчо коня пришпорил,
Подъехал к дому невесты,
А тут котловчане злые
Пять кольев в землю забили
Да так Михальчо сказали:
«А ну, перепрыгни колья, —
Тогда отдадим невесту!»
Михальчо ногой притопнул,
Нечесанный, неумытый,

Тогда котловчане злые
Коней привели ретивых,
Друг с другом коней связали:
«Коль ты коней перепрыгнешь,
Тогда отдадим невесту!»
Михальчо ногой притопнул,
Подпрыгнул и перепрыгнул.
Тогда котловчане злые
Трех девушек синеглазых, —
Беляночек, русокудрых,
Как вишни, друг с другом схожи
И обликом и именами, —
Поставили перед парнем.
Одну позовешь — и тотчас
Все три тебе отвечают.
«Коль сможешь узнать невесту,
Ее отдадим, не споря».
Взглянул на девиц Михальчо,
За пазуху сунул руку
И вытащил горсть жемчужин,
Жемчужин розово-белых
И бросил всю горсть на землю.
«Которая здесь невеста, —
Пусть жемчуг с земли поднимет,
Пусть жемчуг возьмет в подарок!
А две другие подружки
Пусть станут скорей в сторонку,
Да так, чтоб мне было сподручней
Всех трех увезти с собою!»
Как только он слово молвил,
Невеста к земле нагнулась,
Схватил ее тут Михальчо,
В седло, улыбаясь, вскинул:
«Тебя увезу к Иванчо!»
Нагнулся с коня Михальчо,
Вторую белянку поднял:
«Тебя отвезу я к Петко!»
И снова с коня нагнулся
И третью белянку поднял:
«Ты будешь моей женою!»

Хлестнул он коня и свистнул,
И конь полетел, как птица.
Вдруг слышит сзади погоню —
То скачет Филипп Маджарин
И с ним королевич Марко.
Увидел Филипп Михальчо,
Топуз свинопаса вспомнил
И крикнул со злобой Марку:
«Зазорно, Марко, нам будет
Ни с чем домой ворочаться!
Какими глазами станем
Смотреть мы в глаза юнакам?»
И Марко крикнул со злобой:
«Ох, горе, Филипп Маджарин!
Пойди, побратим мой верный,
Пойди, позови Арапа.
Арапчин чернее ночи,
Он нас поудалей будет.
Ты двести отдай дукатов
И двести отдай, и триста —
Пушай нам Арап поможет,
Пушай догонит Михальчо,
Пушай отобьет невесту!»
Поехал Филипп Маджарин
И вызвал Филипп Арапа.
А тот ему слово молвил:
«Когда он один, без Петко —
Молоденького овчара, —
Ну, что ж, я помочь согласен.
Сейчас коня оседлаю».
Ответил Филипп Маджарин:
«С ним не было брата Петко,
Один он, Арап, не бойся!»
Арап подтянул подпругу,
Вскочил на коня лихого,
Ретивого, вороного,
Помчался птицей в погоню.
Услышал Михальчо топот,
Увидел вдали Арапа
На черном коне ретивом,

Но даже руки не поднял.
Топузом своим огромным
Ударил Арап Михальчо,
А тот не повел и бровью
И только сказал, поморщась:
«Не блохи ль меня кусают?»
Коня повернул Михальчо
И крикнул, смеясь, Арапу:
«Как я потерпел маленько,
Так ты потерпи, чумазий!»
Топуз он достал железный,
Ударил им в грудь Арапа,
И тот на куски раскололся.



СЕРБСКИЙ ЭПОС

КТО ЛУЧШИЙ ЮНАК?

Перевод Н. Кравцова

В Крушевце было в корчме высокой,
Воеводы пили там, гуляли,
А когда вина они напились,
Заводили спор между собою,
Кто юнак меж ними будет лучший?
И решили спьяну воеводы, —
Лучший будет воевода Янко,
Самый худший — Королевич Марко.
На решение Марко не озвался,
Пьет вино в корчме и пьет спокойно;

Выходил потом во двор корчмы он,
Чтоб и Шарца напоить червлёным.
А как глянул пред собою Марко
В ровно поле около Крушевца,
А там едет великан какой-то,
На юнацком на коне кауром,
И в руках сосну он с корнем держит,
Тень себе он из ветвей устроил.
Как увидел Королевич Марко,
Возвратился в пьяную корчму он,
И сказал так воеводам Марко:
«Юнак едет на Крушевском поле,
Мы такого не видали сроду,
Сюда едет прямо он в Крушевец,
Как придет — скорее все вставайте,
Чтоб уважить силу и юнацтво!»
Воеводы отвечали Марку:
«Не подумаем пред ним вставать мы
Или чашу поднести из чести».
В это время подъезжал Арапин,
На корчму свою опер он елку,
А под ней корчма к земле пригнулась.
Привязал он к воротам гнедого,
И закрыл он за собою двери,
И входил в высокую корчму он.
Все схватились сразу воеводы
И дают Арапу чашу в почесть,
С ними тоже Королевич Марко.
Не вставал лишь Банович Секула,
Не поднес Арапину он чаши.
Удивился этому Арапин
И сказал тогда Секуле с сердцем:
«Курвин сын ты, Банович Секула!
Встать не хочешь ты передо мною
И вином меня честить не хочешь?
Так пойдем померяемся в поле».
Так сказал он, из корчмы он вышел,
А за ним идет Секула молча,
Он идет, надеется на дядю:
При нужде ему поможет Янко.

Даже глянуть на Арапа страшно!
Как схватил Арап Секулу в руки,
Стиснул он его за бело горло
И ударил о холодный камень.
Крикнул — пискнул Банович Секула,
Раз он крикнул: «Мать моя, беда мне!»
А другой он: «Помогай мне, Янко!»
Рад Иван помочь ему — да страшно.
Говорил ему Кралевиц Марко:
«Не помогут тебе мать и дядя,
Разве Бог да слабосильный Марко!»
Длинную он саблю вынимает,
Снял он ею голову Арапу,
А назад как оглянулся Марко,
А все двадцать воевод бежали,
По Крушеву—полю рассыпались,
И вернул их еле—еле Марко.
А когда в корчму они вернулись,
Они сели, пить вино начали;
А как снова спор пошел меж ними,
Кто юнак меж ними будет лучший?
Все сказали: «Королевич Марко».

КОРОЛЕВИЧ МАРКО—ПАХАРЬ

Перевод П. Эрстова

Пьет вино наш Марко—королевич
С матерью—старухой Ефросиньей.
А когда вина напились оба,
Укорять старуха стала Марка:
«Сын мой милый, королевич Марко!
Ты оставь, сынок мой, четованье —
Зло к добру еще не приводило,
Да и мне, старухе, надоело
Все стирать кровавые одежды!
Запрягай—ка лучше в плут волов ты
И паши ты горы и долины,
Сей, сынок, ты белую пшеницу

И корми себя и мать—старуху».
Марко мать родимую послушал,
В плуг волов запряг он круторогих,
Но не пашет горы и долины —
Пашет он султановы дороги.
Вдруг навстречу турки—янычары,
Три мешка несут они с деньгами,
С Марком турки разговор заводят:
«Эй ты, Марко, не паши дороги!»
«Эй вы, турки, не топчите пашни!»
«Эй ты, Марко, не паши дороги!»
«Эй вы, турки, не топчите пашни!»
А когда ему поднадоело,
Поднял Марко плуг с волами вместе,
Перебил всех турок—янычаров,
Взял от них он три мешка с деньгами
И к старухе матери отнес их:
«Вот тебе, что напахал сегодня!»

СМЕРТЬ МАРКА КРАЛЕВИЧА

Перевод Н. Гальковского

Рано едет Королевич Марко
В воскресенье — до восхода солнца
По Урвину, краем синя моря.
А когда был Марко на Урвине,
Стал тут Шарец часто оступаться,
Оступаться, лить горючи слезы.
Опечалился Кралеви́ч Марко,
Говорил он своему Шарину:
«Что ты, Шарец? Что, слуга мой верный?
Лет уж сто и шестьдесят, как вместе
Я с тобой, Шарин, не расстаюся;
Никогда ты так не оступался.
А теперь ты оступаться начал,
Оступаться, лить горючи слезы.
Видно, скоро быть беде великой
Над моей или твоей главою».

Говорить еще не кончил Марко,
А с Урвина отвечает вила,
Подзывает Кралевица Марка:
«Побратим мой, Марко Королевич!
Знаешь ты, что Шарец предвещает?
Конь тебя, хозяина, жалеет.
А расстаться скоро вам придется».
Отвечает Королевич виле:
«Заболей ты, бела вила, горлом!
Как же с Шарцем мне моим расстаться?
Городов, земель прошел я много,
Обошел я и Восток и Запад, —
Не нашел коня я лучше Шарца,
Как юнака нет меня сильнее.
Не расстанусь с Шарцем я вовеки,
Жив пока на этом белом свете».
Отвечает ему бела вила:
«Побратим мой, Королевич Марко!
Не отнимут у тебя Шарина,
Не умрешь ты, Марко, от юнака,
Не умрешь ты и от острой сабли,
От копья и тяжелой топузины,
Никого ведь нет тебя сильнее.
А умрешь ты, побратим мой, Марко,
От судьи, небесного владыки.
Если, Марко, мне не хочешь верить,
То, как будешь на верху планины,
Обернись от себя налево —
И увидишь тонкие две ели:
Они сверху опустили ветки
И листом зеленым все закрыли.
Между ними ты найдешь колодец,
А как только повернешь коня ты,
Слезь ты с Шарца, привяжи за елку,
И нагнувшись, ты взгляни в колодец:
Там в воде лицо свое увидишь,
И увидишь там, когда умрешь ты».
И послушал белую он вилу.
Как поднялся к самой он вершине,
Поглядел он справа и налево

И увидел тонкие две ели,
Они сверху опустили ветки
И листом зеленым все закрыли.
А как Марко повернул тут Шарца,
Слез с коня и привязал за елку,
И нагнувшись, глянул он в колодец,
И в воде лицо свое увидел,
И увидел, что умрет он скоро.



Пролил слезы и сказал тут Марко:
«Свет ты лживый, цвет ты мой прекрасный!
Чуден был ты, да ходил я мало:
Триста лет лишь я гулял на свете!
Вот — конец, со светом я прощаюсь».
Вынул Марко кованую саблю,
Подошел он к своему Шарину,
Снял он саблей голову Шарину,
Чтобы туркам Шарец не достался,
Чтоб никто из турок не работал,
Не возил бы воду на Шарине.
Как убил коня своего Марко,
Закопал его в сырую землю.
(Своего Шарина хоронил он
Лучше брата своего Андрея.)
Перебил свою он острую саблю,
На четыре части перебил он,
Чтоб она не доставалась туркам,
Чтобы ею турок не хвалился,
Что он саблей Марковой владеет,
Чтоб не кляли христиане Марка.
Поломал копье на семь обломков
И забросил их на ветви ели;
Марко взял свой буздован тяжелый,
Взял его своей рукою правой
И забросил с Урвина–планины,
Он в морскую глубину забросил,
И топузу говорил тут Марко:
«Если сам всплывет топуз тяжелый,
То, как я, другой родится витязь».
А как Марко истребил оружие,
Вынимал из пояса чернила,
Из кармана чистую бумагу,
И писал на той бумаге Марко:
«Если будет ехать кто Урвином
У колодца, у зеленых елей,
И увидит Кралевица Марка, —
Пусть он знает, что скончался Марко.

Подле Марка здесь найдет он деньги,
Он найдет три пояса дукатов.
Первый пояс отдаю тому я,
Кто в земле мое схоронит тело;
А другой — на украшение храмов;
А слепцам да сухоруким нищим
Отдаю я пояс свой последний:
Пусть калеки ходят белым светом,
Пусть поют и вспоминают Марка».
Как окончил Марко завещанье,
Он его подвесил к ветке ели,
Чтобы видно было всем с дороги,
А чернила бросил он в колодец.
Снял с себя зеленую доламу,
Расстелил ее под тонкой елью,
А потом перекрестился с верой
И улегся на своей доламе,
Соболь-шапку на глаза надвинул.
Так лежал, покуда не скончался.
И лежал он целую неделю.
Кто идет путем-дорогой мимо
И увидит Кралевича Марка,
Всякий думал, что уснул он крепко,
И далеко вокруг его обходит,
Чтоб покоя не тревожить Марка.
Где удача, там и неудача;
Где несчастье, там бывает счастье:
Шел, по счастью, этою дорогой
Святогорец проигумен Васа
Со своим послушником Исайей.
Как увидел святогорец Марка,
Стал махать послушнику руками:
«Тише, сын мой! Не тревожь ты Марка, —
Он со сна сердит порой бывает,
Он обоих погубить нас может».
Да увидел он над спящим Марком,
Он увидел белый лист бумаги;
Васа взял и прочитал бумагу:
Говорилось в ней, что умер Марко.
Васа слез с коня и труп пощупал:

Уж давно лежит тут Марко мертвым.
Полилися слезы у игумна,
Жалко было Марка святогорцу.
Снял он с Марка пояса с деньгами,
Отпоясал, себе припоясал.
Думу думал Васа проигумен:
Где бы Марка схоронить приличней?
Думу думал, — он одно придумал:
На коня клал мертвого он Марка,
Осторожно свел коня на берег.
Положил потом его на лодку,
Вез его он на Святую гору,
Внес его в Вилиндарскую церковь
И служил, как должно над умершим,
Отпевал умершего героя.
Посреди Вилиндарского храма
Хоронил игумен Васа Марка.
Но над Марком ни креста, ни камня
Не поставил святогорец Васа,
Чтоб никто не знал, где он схоронен:
Много было недругов у Марка.

СТАРИНА НОВАК И КНЯЗЬ БОГОСАВ

Перевод Н. Гальковского

Пьют вино у князя Богосава
Радивой со Стариной Новаком
Над ключом воды студеной в Босне.
Как вином юнаки подкрепились,
Богосав и говорит Новаку:
«Старина Новаче, побратим мой!
Расскажи, дай Бог тебе здоровья,
Ты с чего ушел хайдучить в горы?
И какая у тебя неволя
По горам ходить ломая шею,
Ремеслом хайдучьим заниматься?
Ты уж стар, тебе не то уж время!»
А Новак на это отвечает:

«Богосав, мой побратим ты милый!
Ты спросил, и я скажу всю правду:
Из-за лютой я нужды хайдучу...
Может быть, ты помнишь, да и знаешь,
Как Ирина, Джюрджева супруга,
Начинала Смедерево строить?
У нее поденщиком служил я,
И служил ей целые три года,
Подвозил и камень и деревья
На своих волах, своих телегах.



И за эти целые три года
Мне не дали пары, ни динара,
Я онуч не заслужил на ноги!
Но и это б я простил Ирине.
Как готово Смедерево было, —

Стали строить башни и бойницы,
Золотить ворота и окошки.
Тут Ирина подать наложила:
Золота три литра с каждой хаты, —
Это будет, побратим мой милый,
По три сотни золотых дукатов!
Кто имел и внес такие деньги,
Тот остался жить, как жил он прежде.
Был я бедный, бедный—небогатый,
Подати не заплатил Ирине:
Взял я заступ — им я ей работал —
И ушел я с ним хайдучить в горы.
Но нигде не мог я удержаться
Во владеньях проклятой Ирины.
И бежал я до студеной Дрины,
А оттуда Босной Каменистой;
Так дошел до самой Романии,
Тут турецких сватов повстречал я:
Едут сваты с красною невестой.
Турки—сваты с миром проходили;
Лишь жених на борзом иноходце
Мимо с миром не хотел проехать:
Взял он в руки плеть с тремя бичами —
А на каждом медный наконечник, —
По плечам стал бить меня он плетью.
Три раза молил я Богом турка:
«Заклинаю счастьем и геройством,
Заклинаю и веселой свадьбой:
Проходи, жених, ты мимо с миром, —
Сам ты видишь: человек я бедный».
Но оставить он меня не хочет,
По плечам меня стегает плетью.
Тут терпеть мне стало не под силу,
Да и крепко сердцем разлютился:
Снял с плеча я заступ мой тяжелый
И ударил на коне я турка, —
Так легонько я его ударил,
Что с коня он на землю свалился,
К жениху я подскочил проворно,
Два—три раза я его ударил:

Тут на месте он с душой расстался;
Запустил в его карманы руку,
Там нашел я три мешочка денег,
И себе за пазуху я спрятал.
Снял я саблю с пояса у турка,
Прицепил себе я эту саблю,
Свой же заступ бросил я у трупа,
Чтобы было чем копать могилу;
На коня турецкого садился
И поехал в горы Романии.
Турки–сваты видели все это,
Только мне они не помешали:
Не хотели или побоялись.
Вот уж сорок лет в горах живу я.
Полюбил я больше эти горы,
Чем свой двор, который там покинул.
Стерегу здесь горные дороги,
Жду–пожду сараевских торговцев,
Отнимаю серебро и золото,
И сукно, и платье дорогое;
Одеваюсь вместе я с дружиной.
Я готов бежать и дожидаться,
И стоять в бою на страшном месте.
Никого на свете не боюсь я».

СТАРЫЙ ВУЯДИН

Перевод Г. Можаровой

Девушка свои глаза ругала:
«Черны очи, а, чтобы вы ослепли!
Все видали, нынче не видали,
Как прошли тут турки–лиевняне
Гнали с гор захваченных хайдуков:
Вуядина со двумя сынами,
А на них богатая одежда:
Как на первом, старом Вуядине,
Плащ червонным золотом расшитый,
На совет паши в таких выходят.

Сын—то Милич свет Вуядинович,
Он еще богаче одевался;
А у Вулича, у Миличева брата,
На головке шапочка—челенка,
Та челенка о двенадцать перьев,
Каждое перо — полтора фунта
Чистого ли золота литого».

Как пришли под белую Лиевну,
Клятую Лиевну увидали,
Увидали белую там башню, —
То проговорил тогда Вуядин:
«О сыны, вы, соколы лихие!
Видите проклятую Лиевну,
Видите ли в ней вы белу башню.
Там нас будут бить и будут мучить,
Руки—ноги нам переломают,
Выколют нам наши черны очи.
Пусть у вас не будет сердце вдовье,
Пусть юнацкое забьется сердце.
Вы не выдавайте верна друга,
Вы не выдайте, кто укрывал нас,
У кого мы зиму зимовали,
Зимовали, деньги оставляли.
Вы не выдавайте тех шинкарок,
У которых сладки вина пили,
Сладки вина пили потаенно».

Вот уж входят в ровное Лиевно.
Бросили их турки всех в темницу.
Ровно три дня белых просидели,
Пока турки все совет держали:
Как их бить и как их горько мучить.
А когда три белых дня минули,
Вывели из башни Вуядина,
Ноги—руки старому ломали.
А как очи черные кололи,
Говорили турки Вуядину:
«Выдай, змей ты, старый Вуядине,
Выдай, гад ты, всю свою дружину.
Выдай тех, кто укрывал хайдуков,
У кого вы зиму зимовали,

Зимовали, деньги оставляли,
Выдай, змей, ты молодых шинкарок,
У которых пили сладки вина,
Гладки вина пили потаенно».
Им на то сказал старик Вуядин:
«Дураки вы, турки, лиевняне!
Если быстрых ног не пожалел я,
Что коня лихого обгоняли,
Если не жалел я рук юнацких,
Что ломали копья посредине,
Голые на сабли нападали, —
Никого не выдал, не сказал я,
Так лукавые ли пожалею очи,
Что меня на злое наводили,
Что манили прямо с гор высоких,
Как на ту ли на широкую дорогу,
Где проходят турки и торговцы».

МАРА–АТАМАН

Перевод П. Эрастова

Убежала красавица Мара
Из–под Бани Луки да в хайдуки,
Девять лет ходила в атаманах,
На десятый захватили Мару
И к паше погнали в Баню Луку.
У паши недолгая расправа:
Приказал повесить на базаре,
Дилбер–Мару на крюке железном.
Побросав детишек неповитых,
Позабыв засунуть в печку хлеба,
Банялуцкие пришли турчанки
Посмотреть на атамана Мару.
Вот как Мара с ними говорила:
«Что глаза вы пялите на Мару?
Если Мара по горам ходила,
Байстрюков–то Мара не рожала,
Как турчанки в этой Бане Луке:

То и дело байстрюков рожают,
А родивши, в Вырбас их бросают».



ХВОРЫЙ ДОЙЧИН
Перевод Г. Можаровой

Расхворался воевода Дойчин,
Как во белом городе Солуни.

Девять лет он тяжело хворает,
Уж в Солуни все его забыли,
Думают, что он давно скончался.
Разнеслись далеко эти вести,
Долетели до земли арапской.
Услыхал то Усо Арапинин,
Как услышал, оседлал коня он, —
Едет прямо к городу Солуни.
Он к Солуни белой подъезжает,
Под Солунь во поле во широко.
Среди поля он шатер поставил,
От Солуни требует юнака,
Чтобы вышел с ним на поединок,
Чтобы с Усом честным боем бился.
Нет в Солуни-городе юнака,
Чтоб пришел к нему на поединок:
Дойчин был, пока не расхворался,
А у Дуки — заболели руки.
Есть Илия — малый несмышлениш,
Он и боя никогда не видел,
А не то, чтобы идти на поединок.
Да хотя бы он и согласился,
Так не пустит мать его старуха.
«Нет, Илия, малый несмышлениш,
Не ходи, Арап тебя обманет!
Погубить тебя, дитя, он хочет,
А меня оставить одинокой».
Как увидел черный Арапинин, —
Нет юнака в городе Солуни,
Чтоб пришел к нему на поединок, —
Тяжку дань он наложил на город:
Со двора по жирному барану,
Хлеба белого по полной печи,
Красного вина с двора по бочке,
Да ракии жженой по кувшину,
Да по двадцать золотых дукатов,
По одной красавице девице,
По девице или молодежи,
Что во двор во мужнин приводили,
Приводили, еще не любили.

Дань несут по череду солунцы,
К Дойчина двору черед подходит.
Нет у Дойчина семьи родимой:
Верная жена одна есть только, —
Да Елица, милая сестрица.
Собирали они сами дани —
Некому нести их в чисто поле.
Да не хочет брать их Арапинин
Без Елицы, без красы–девицы.
Их замучила тоска–злодейка.
В головах у братниной постели
Плачет Ела, горьки слезы ронит.
Брату на лицо те слезы льются.
От тех слез очнулся хворый Дойчин,
Говорит своей сестре Елице:
«А, чтоб дом сгорел, разбило б громом!
На лицо мне дождик протекает,
Не дает мне умереть спокойно».
Отвечала тут сестра Елица:
«О, мой брат, мой милый, хворый Дойчин!
То не дождь сквозь крышу протекает,
То сестра Елица слезы ронит».
Так Елице хворый брат ответил:
«Что еще случилось, ради бога,
Или вам уж хлеба не довольно,
Красного вина вам не хватает,
Золота или полотен белых,
Нечем разве вышивать вам в пядцах,
Не по чему вышивать иль нечем?»
Молвит тихо тут сестра Елица:
«О, мой брат, мой милый хворый Дойчин!
Белого–то хлеба нам хватает,
И вина нам красного довольно,
Много злата и полотен белых,
Есть у нас чем вышивать на пядцах,
Есть и чем и есть на чем работать,
Только есть у нас другое горе:
Приходил к нам Усо Арапинин
Во широко поле под Солунью,
От Солуни требовал юнака,

Чтобы вышел с ним на поединок.
Не нашлось юнака во Солуни,
Чтобы с Усом честным боем биться.
То увидел черный Арапинин,
Тяжку дань он наложил на город:
Со двора по жирному барану,
Хлеба белого по полной печи,
Красного вина с двора по бочке,
Да ракии жженой по кувшину,
Да по двадцать золотых дукатов,
По одной красавице девице,
По девице или молодежи.
Вся Солунь уж отдала те дани,
К нашему двору черед подходит.
Нет у тебя брата никакого,
Чтоб собрал он дани для Арапа.
Сами мы ему собрали дани, —
Некому нести их в чисто поле.
Да не хочет брать их Арапинин
Без Елицы, без твоей сестрицы.
Милый брат, мой хворый Дойчин, слышишь,
Не могу я целовать Арапа,
Пока жив ты, Дойчин, милый братец».
Хворый Дойчин говорит Елице:
«Эх, Солунь, сгорела б ты пожаром!
Если нету в городе юнака,
Чтобы мог с Арапом побороться,
Не дадут мне умереть спокойно!»
Подзывал он любу Анжелию:
«Анжелия, моя верна любя!
Жив ли мой гнедой, мой конь любимый?»
Отвечала любя Анжелия:
«Господин мой, хворый ты мой Дойчин!
Жив еще гнедой твой конь любимый,
Хорошо я за конем ходила».
Говорит тут Дойчин Анжелии:
«Анжелия, моя верна любя!
Ты пойдя, возьми коня гнедого,
Отведи ко другу—побратиму,
К кузнецу Петру коня води ты.

Пусть он в долг мне подкует гнедого,
Я хочу идти на поединок,
Я пойду, а там уж будь что будет!»
И жена послушалась мужа.
Вот берет она коня гнедого,
К кузнецу Петру его приводит.
Петр—кузнец, когда ее увидел,
Говорил он ей такие речи:
«Сношенька, красotka Анжелия,
Разве умер побратим мой Дойчин,
Что коня ведешь ты на продажу?»
Говорит красotka Анжелия:
«Петр—кузнец, а мой названный деверь!
Нет, не умер господин мой Дойчин,
Он прислал тебе поклон со мною,
Чтобы подковал ты в долг гнедого.
Он идет на честный бой с Арапом,
Как вернется, так тебе заплатит».
Петр—кузнец тогда ей отвечает:
«Сношенька, красotka Анжелия!
Я ковать гнедого в долг не стану,
Дай в задаток твои черны очи,
Целовать я очи буду жарко,
Аж покуда Дойчин не вернется,
За подковы деньги не заплатит».
Рассердилась Анжелия люто,
Она вспыхнула, как жаркий пламень,
Увела некована гнедого
И приводит к Дойчину больному.
Говорил тогда ей хворый Дойчин:
«Анжелия, моя верна любя,
Подковал ли побратим гнедого?»
Как змея Анжела зашипела:
«Господин мой, хворый муж мой Дойчин!
Разразило б громом побратима!
В долг ковать гнедого он не хочет,
Целовать он хочет мои очи,
До тех пор пока ты не заплатишь.
Не могу я кузнеца любить,
Пока жив мой господин, мой Дойчин!»

Как услышал это хворый Дойчин,
Говорил своей жене он верной:
«Анжелия, моя верна любя!
Оседлай мне моего гнедого,
Принеси копье мне боевое».
Подзывал свою сестру Елицу:
«О Елица, милая сестрица,
Полотна кусок ты принеси мне,
Затяни меня всего от бедер,
Как от бедер аж до крутых ребер,
Чтоб не разошлись бы мои кости,
Кость бы от кости не разминувшись».
Скоро сделали они, что приказал он:
Люба доброго коня седлает
И копье готовит боевое,
Полотна кусок сестра достала,
Затянула Дойчина покрепче,
Как от бедер аж до крутых ребер,
Алеманку—саблю подавала.
Подводили Дойчину гнедого,
На спину коню его сажали,
И копье подали боевое.
Господина добрый конь почуял,
Конь под господином разыгрался,
Выбивал копытами каменья.
Молвили солунские торговцы:
«Слава Богу, Господу живому!
С той поры как умер храбрый Дойчин,
Лучшего здесь не было юнака,
И во белом городе Солуни
Лучшего коня мы не видали!»
Выезжает Дойчин в чисто поле,
Ко шатру ли черного Арапа.
Видит его черный Арапинин,
И вскочил он на ноги со страху.
Говорит тут черный Арапинин:
«Громом бы тебя убило, Дойчин!
Неужели ты живой, не умер?
Выпьем—ка вина с тобой, приятель,
Брось ты ссоры, брось ты все раздоры,

Откажусь я от солунской дани».
Отвечает Усу хворый Дойчин:
«Выходи, проклятый Арапинин,
Выходи со мной на бой юнацкий,
Выходи, начнем мы поединок.
Ведь легко в шатре пить сладки вина,
Красных девок целовать солунских».
Снова молвит черный Арапинин:
«Брат по Богу, воевода Дойчин!
Брось ты ссоры, брось ты все раздоры,
Приходи ко мне, вина мы выпьем,
Откажусь я от солунской дани,
Откажусь от девушек солунских.
Богом тебе истинным клянусь я,
Никогда к Солуни не приеду».
Как увидел это хворый Дойчин,
Что Арап на бой идти боится,
Погонял он доброго гнедого,
Наезжал он на шатер на белый,
И шатер копьём своим он поднял.
Что же под шатром такое было?
Тридцать девушек сидят солунских,
С ними вместе черный Арапинин.
Как увидел черный Арапинин,
Что отстать никак не хочет Дойчин,
На коня вскочил он вороного,
Боевое взял копьё он в руку.
Выезжали оба в чисто поле,
К бою ли коней разгорячали.
Говорит ему тут хворый Дойчин:
«Ты ударь, проклятый Арапинин,
Первый бей, чтоб после не жалел бы».
Как метнул копьё тут Арапинин,
Чтоб ударить Дойчина больного,
Да гнедой—то конь приучен к бою,
Грудью он припал к траве зеленой,
А копьё высоко пролетело.
Как ударилось копьё о черну землю,
Так ушло в нее до половины.
Пополам копьё переломилось.

Увидал то черный Арапинин,
Он спиной позорно повернулся,
Убегал ко белой ко Солуни.
А за ним погнался хворый Дойчин.
Подбежал Арап уже к воротам,
Но догнал его в воротах Дойчин,
Поднимал копье он боевое,
К воротам он приколол Арапа.
Вынимал он саблю–алеманку,
Отсекал он голову от тела,
Разрубил ту голову он саблей,
Вынимал оттуда черны очи,
Завернул их в шелковый платочек.
Голову в зелену траву кинул.
На базар оттуда он поехал,
Он к Петру поехал побратиму.
Он ко кузнецу Петру приходит,
Кузнеца к себе он подзывает:
«Подойди, Петр, заплачу долги я.
Подковал ты моего гнедого,
В долг коня гнедого подковал ты».
Петр–кузнец тут Дойчину ответил:
«Побратим ты мой, мой хворый Дойчин,
Я не подковал тебе гнедого.
Подшутил я, побратим, немного,
А твоя–то глупая Анжела
На меня напрасно рассердилась,
Вспыхнула, как пламя огневое,
Увела коня не подковавши».
Говорит Петру здесь хворый Дойчин:
«Выдь ко мне, я заплачу, что должен».
Вышел Петр–кузнец из темной кузни,
Взмахнул Дойчин саблей–алеманкой,
Кузнецу он голову снял с тела.
Рассекал он голову ту саблей,
Вынимал оттуда черны очи,
Завернул их в шелковый платочек,
Голову он бросил на базаре.
Едет Дойчин прямо в двор свой белый,
У двора с коня гнедого сходит,

На постель на мягкую садится.
Вынимал араповы он очи,
Их бросал своей сестре любимой:
«Вот, возьми, сестра, Арапа очи,
Их теперь ты целовать не будешь,
Пока жив я, милая сестрица».
Кузнецовы очи вынимает
И дает их любе Анжелии:
«Возьми, Анжо, кузнецовы очи,
Их теперь ты целовать не будешь,
Пока жив я, моя верна любя».
Так сказал и умер хворый Дойчин,
С уст слетело и душа из тела.

ОТВЕРСТОЕ НЕБО^[30]

Ночью пред Богоявлением отверзается небо. Нужно только не спать, дожждаться святой минуты, и тогда чего бы человек ни попросил, — все получит. Но не все могут видеть селения горные. Кого ослепил грех, где тому увидеть отверстое небо! Чтоб не развлекаться, добрые люди выходят в чистое поле и там с молитвою ожидают Господней милости. Горе тому, кто не сумеет просить благ на пользу: ему дано будет то, чего попросит.

Один Серб не пошел в поле, а сел в избе у открытого окошка. Смотрел он долго на чистое, лазоревое небо и видит — вот оно разверзается: как две голубые горы, раздвинулась твердь, а оттуда свет, целое море света льется на землю. Серб высунул в окошко голову: хотел попросить осмак денег; но кто справится с языком в испуге! а как было и не испугаться перед разверстым небом! — не то вымолвил Серб, что думал; он вымолвил: «Боже, дай мне голову с осмак!» — и голова его раздулась без боли, выросла в целый осмак. О ужас, что было делать? опять помолиться? но молитва человека доходит до престола Божия в ночь пред Богоявлением один только раз. Что нужды, Серб не усомнился бы вознести молитву; но святая минута прошла, небо закрылось, как будто и не открывалось: та же голубая твердь, те же горят звезды, по-прежнему светит ясный месяц. Несчастный потянулся назад; но голове ли в осмак пройти в окошко? кричал он громко, плакал навзрыд, а голова все не уменьшалась, не проходила в окошко.

На плачь Серба сбежались соседи и освободили его, прорубив стену.



ПОЛЬСКИЙ ЭПОС

ГРАБИЛИ ТАТАРЫ

Перевод М. Павловой

Грабили татары
в Яздовецком замке,
не нашли в нем злата,
а нашли парнишку.

«Ты скажи, слуга, нам,
где спит пани с паном?»
— Того, кто укажет,
пан казнить прикажет.

«Не страшися пана,
ты поедешь с нами
в татарскую землю».
— А лежит пан с пани
в башне самой крайней.

Первый раз палили,
камень повредили.
Второй раз палили,
пана застрелили.
Третий раз палили,
пани увозили.

Как мчатся, как мчатся
мимо стен узорных,
мимо стен тех черных.

Оглянется пани
на грустные стены:
Стены мои, стены,
как вы почернели,
пана пожалели.

Пана застрелили,
пани с собой взяли
в вечную неволю,
в татарскую землю.

ПРОЕЗЖАЛИ ТУРКИ

Перевод М. Павловой

Проезжали турки
рощи и пригорки,
миновали парни
поле и кустарник.

Отыскали древо
в яворовой гуще,
в яворовой гуще
на новые гусли.

Один его рубит,
кровью обливает,
другой его рубит,
кусок вырубает.

Третий его рубит,
отвечает древо:
Не рубите, хлопцы,
я бедная дева.

Я бедная дева,
превратилась в древо,
вы меня берите,
к матушке везите.

Поставьте к ней в сени,
в сени за дверями,
мать меня увидит,

обольет слезами.



ПАНИ ПАНА УБИЛА

Перевод М. Павловой

Вот так новость случилась,
пани пана убила.

Как в саду зарывала,

руткой холм засекала.

Руткой холм засекала,
про себя напевала:

Расти, рутка, высоко,
как лежит пан глубоко.

Вот уж рутка выросла,
пани замуж не пошла.

Девка, глянь на поляны,
там не едут ли паны?

Едут, едут к нам паны,
деверя да братаны.

А почем ты узнала,
что братами назвала?

По коням по буланым,
да по шапкам их алым.

По лицу, по одежде,
всем на пана похожи.

По коням их холеным,
да по саблям точеным.

Здравствуй, здравствуй,
сестрица, негодяйка–убийца.

Где наш братец родимый?
На войну проводила.

На войне мы бывали,
а его не видали.

Отвечай–ка, голубка,
отчего в крови юбка?

Девка кур убивала
и меня замарала.

Если б сто их убила,
крови меньше бы было.

Чьих волос это прядки
на траве и на грядке?

Девка слуг тут чесала,
волоса набросала.

Если б девка чесала,
столько б тут не упало.

Сядь на лошадь, сестрица,
нам пора торопиться.

В лес поедешь ты с нами,
с деверями—гостями.

Как мне с вами садиться,
малых деток лишиться.

Малых деток лишиться,
от двора удалиться.

Мы детей не оставим,
скоро в город отправим.

В рощу поезд въезжает,
пани пояс роняет.

Стойте, милые братья,
хочу пояс поднять я.

Этот пояс атласный справил
брат наш несчастный.

Наш Франтишек убитый,
брат родной, незабываемый.

Как приехали в Мехув,
накупили орехов.

На, сестрица, орехи,
погрызи для потехи.

А как в лес прискакали,
с пани кожу содрали.

ЗЕЛЕНый ЖБАН

Перевод М. Павловой

Пошла по воду панна,
белолица, румяна,
мимо ехал пан
и разбил ей жбан.
«Ты не плачь, молодая,
заплачу всё сполна я,
тебе талер дам
за зеленый жбан».
Панна братъ не желает,
только плачет–рыдает:
«Мой зеленый жбан,
что разбил мне пан!»
«Ты не плачь, молодая,
оплачу жбан сполна я,
два дуката дам
за зеленый жбан».
Панна братъ не желает,
только плачет–рыдает:
«Мой зеленый жбан,
что разбил мне пан».
Ты не плачь, молодая,
заплачу все сполна я,
за зеленый жбан

коня тебе дам».
Панна братъ не желает,
только плачет–рыдает:
«Мой зеленый жбан,
что разбил мне пан».
«Ты не плачь, молодая,
заплачу все сполна я,
деньги тебе дам
за зеленый жбан».
Панна братъ не желает,
только плачет–рыдает:
«Мой зеленый жбан,
что разбил мне пан».
«Ты не плачь, молодая,
заплачу все сполна я,
сам себя отдам
за зеленый жбан».
«Хоть я жбан потеряла,
зато пана достала,
за зеленый жбан
будет со мной пан».

ПАН ОТДАЕТ В РЕКРУТЫ

Перевод М. Павловой

Под вечер ехал Ясек
да ехал мимо костела,
да свою острую саблю
к боку пристегнул он,
ой, к левому боку.

Как саблю пристегнул он,
на дом родной взглянул он,
сердечно заплакал
и тяжело так вздохнул он,
аж конь под ним затрясся.

Ой, матушка родная,

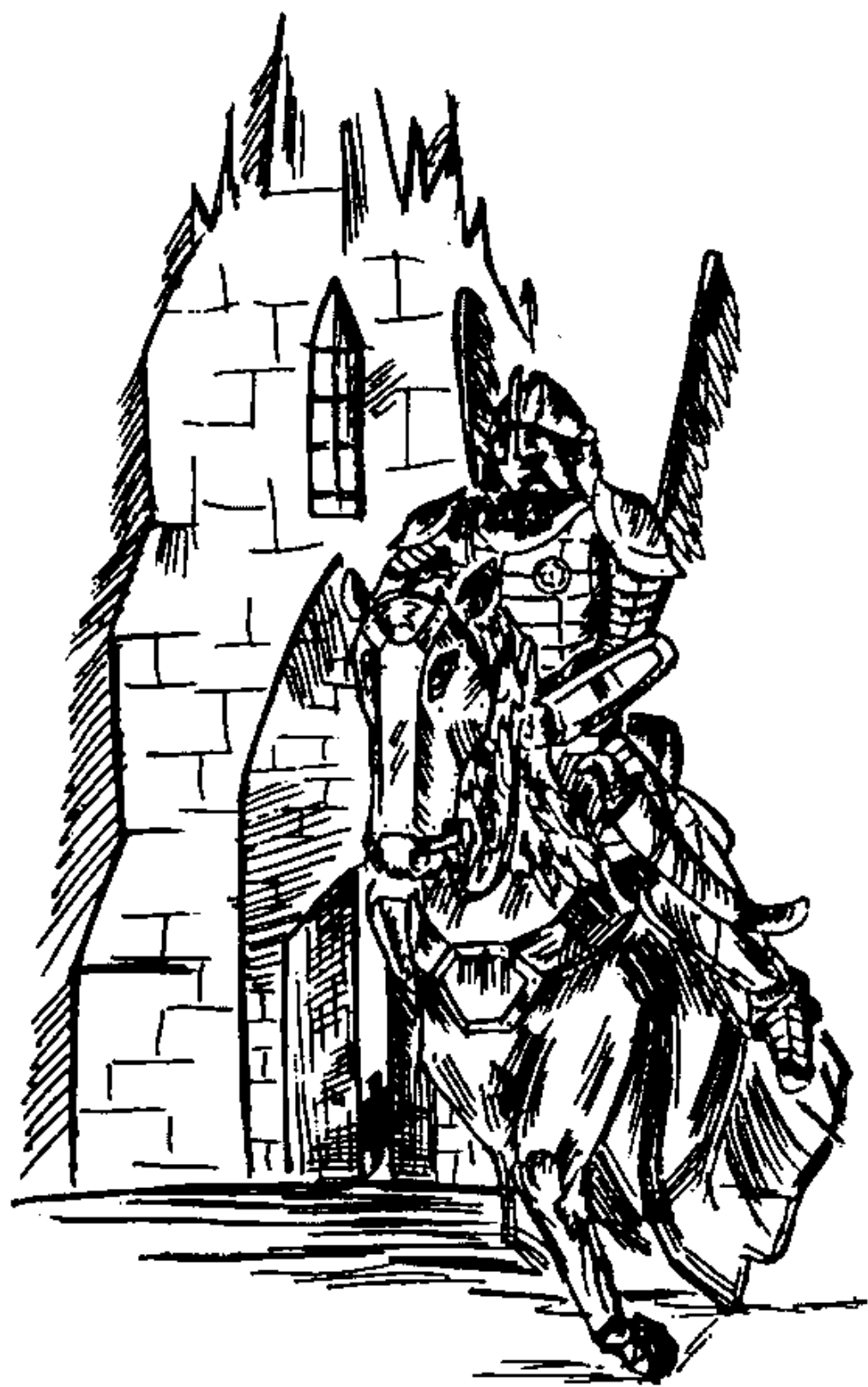
иль сына не узнали,
дам шпоры вороному,
чтоб ехал ближе к дому,
чтоб вы привет послали.

Ой, сын мой, милый сын мой,
мне не узнать тебя ли?
Ох, как тебя схватили,
в железо заковали
да в Радом отправляли.

Ой, здравствуй, сын мой, здравствуй,
ты моя кручина,
кто же твоей муки,
кто же твоей муки,
зла всего причина?

А зла всего причина
козеницкий лютый пан,
как меня хватали,
в цепи заковали,
еще стражу он прислал.

Ой, прислал мне стражу
с рассвета до заката,
как Господь на небе,
как Господь на небе,
меня везут в солдаты.



Привозят в полк к солдатам,
кричат там: тарабан!
Рекрута прислал вам,
рекрута прислал вам
сам козеницкий пан.

Уж недалеко Радом,
забили в барабан.
Эй, открывай ворота,
рекрута везет вам,
рекрута везет вам
пан козеницкий сам.

Ой, матушка родная,
не плачьте, не рыдайте,
вы любе моей милой,
милой, незабытой,
печаль не умножайте.

А будет моя любя
слезы лить, бедняжка,
будет мне, солдату,
будет мне, солдату,
читать письма тяжко.

<p>ПЕСНЯ О СТАРОСТИНОЙ ДОЧКЕ <i>Перевод М. Павловой</i></p>
--

Там за Варшавой
в стороне
наш Яся
ехал на коне.

За ним молодка
в двух шагах
несла ребенка
на руках.

Так шла и к речке
подошла,
и речке дар свой
отдала.

Плыви, сынок мой,
по волне,
есть мельница в той
стороне.

Сидит пан мельник
на пеньке,
плывет ребенок
по реке.

Закинуть невод
поспешил
и в нем ребенка
притащил.

Куда плывешь ты,
для чего,
кто тебя бросил
одного?

Меня спустила
в воду мать,
чтоб девушкою
снова стать.

Звон колокольный,
грустный звон,
кого сзывает
нынче он?

На сходку, панны,
быть беде, —
ребенок малый
на воде.

Собрались панны,
встали в ряд,
одна лишь сзади
прячет взгляд.

Скажи мне, панна,
что с тобой,
что означает
чепчик твой?

Моя головка
вся в огне,
лоб повязала
мама мне.

Меня ведите
в темный бор
и там толкните
на костер.

Рассейте пепел
по полям,
чтобы из пепла
рос бурьян.

Бурьян тот будут
панны рвать,
о младе песню
распевать.

МЕСТЬ БРАТЬЕВ <i>Перевод А. Роховича</i>
--

Как во Кракове пьют пиво
слуги Цесаря шумливо,
пиво пьют да распивают,
дочь хозяев подбивают.

А когда подговорили —
вмиг в карету усадили:
«Садись, Кася, садись с нами,
будешь ты богатой пани».

Мать с отцом и не слышали,
когда с Касей ускакали.
Мать собралась прясть с рассветом —
глядь, а дочери-то и нету!

«Эй, сыны мои, вставайте
и сестрицу догоняйте».
Догоняли, не догнали,
лишь во Львовe увидали.

Встретили ее во Львовe
в шитой золотом обнове,
на базаре деньги тратит
и в немецком ходит платье.

«Здравствуй ты, сестрица наша,
ты куда девала Яся?»
«Я бы, братья, вам открылась,
коль измены б не страшилась».

«Не страшись, сестра, измены,
а откройся непременно».
«Вон сидит он за столами,
пьет там пиво с господами».

«Как, зятек, твое здоровье?
Как водой, упьешься кровью».
«Не в таких боях бывал я,
кровь, как воду, не пивал я».

Он стаканчик им подносит,
а они мечами косят.
В грудь один ударил Яся:
«За тебя, сестрица наша!»

Резанул другой по шее —
кровь течет воды быстрее.
Третий брат шутить не любит —
только сверху молча рубит.

«Ну, садись, сестрица наша, —
твоего уж нету Яся».
«Ты достань ручник с узором,
обвяжи мне раны скоро.

Возьми деньги, дорогая,
чтобы жить, нужды не зная,
а когда родишь сыночка,
пой ему ты темной ночью:

Спи, сыночек, на здоровье,
твой отец убит во Львове,
он зарублен там мечами,
ой, твоими же дядьями».

О ТУРЕ С ЗОЛОТЫМИ РОГАМИ

Перевод М. Павловой

А чьи там, чьи там стоят хоромы?
А в тех хоромах есть светелка,
а в той светелке есть два оконца.

В одном оконце сидят пани и панны.
Вышла пани на крылечко,
поглядела в чисто поле,
в чисто поле на Подоле.

И увидела зверя тура,
зверя тура с золотыми рогами.
И закричала слугам хозяйка:

Слуги, вставайте, коней седлайте,
да погоните вы зверя тура,

зверя тура с золотыми рогами.

Слуги вставали, коней седлали,
догнали в поле зверя тура,
зверя тура с золотыми рогами.



Куда же тура одеваем?
Рога золотые те собьем мы,
да в светелке их прибьем мы,
ой, в светелке, прямо к стенке.

Что ж на тех рожках вешать мы будем?
Шкуры собольи, пышные платья,
ружье-кремневку, острую саблю.
Ее милости — песню,
а нам — колядку.





ЧЕШСКИЙ ЭПОС

ОБМАНУТЫЙ ТУРОК

Перевод Н. Вольпин

Ой, гордился земан
Дочерью единой, —
Боже ты мой, Боже! —
Красой Катериной.

Про паненку Катю
Князь турецкий слышит, —
Боже ты мой, Боже! —
Он письмо ей пишет;

Перстень прилагает,
Отправляет Кате —
В руки передать ей
То письмо с печатью.

Катя получает
И отцу вручает —
Что в письме ей пишут,
Пусть он прочитает.

Пан отец читает
И вздыхает горько,
— Боже ты мой, Боже! —
Он вздыхает горько.

— Пан отец любезный,
Вы в большой кручине —
Или что дурное
Прочитали ныне?

— Дорогая Катя,
Это ль не кручина,

Коль я должен выдать
Дочь за турчанина?

— Пан отец любезный,
Избавьте от муки,
Не отдайте дочку
Турчанину в руки!

Турок у порога.
Говорит девица:
— Отворяйте гостю,
Я умру в светлице.

— Добрый день, мамаша,
Где же дочка ваша?
— Ночью в одночасье
Умерла бедняжка!

Турок не поверил,
Сам прошел в светлицу —
Боже ты мой, Боже! —
Умерла девица.

Вынул он платочек,
Вынул из кармашка:
— Ты куда от друга
Улетела пташка?

Сшить велел он саван
Розового шелка:
— Почему, мой цветик,
До поры отцвел ты?

Жемчугом бесценным
Он обвинил ей шею,
Кольца ей на пальцы
Низал, не жалея.

Серебряный гроб он
Наказал отлить ей,

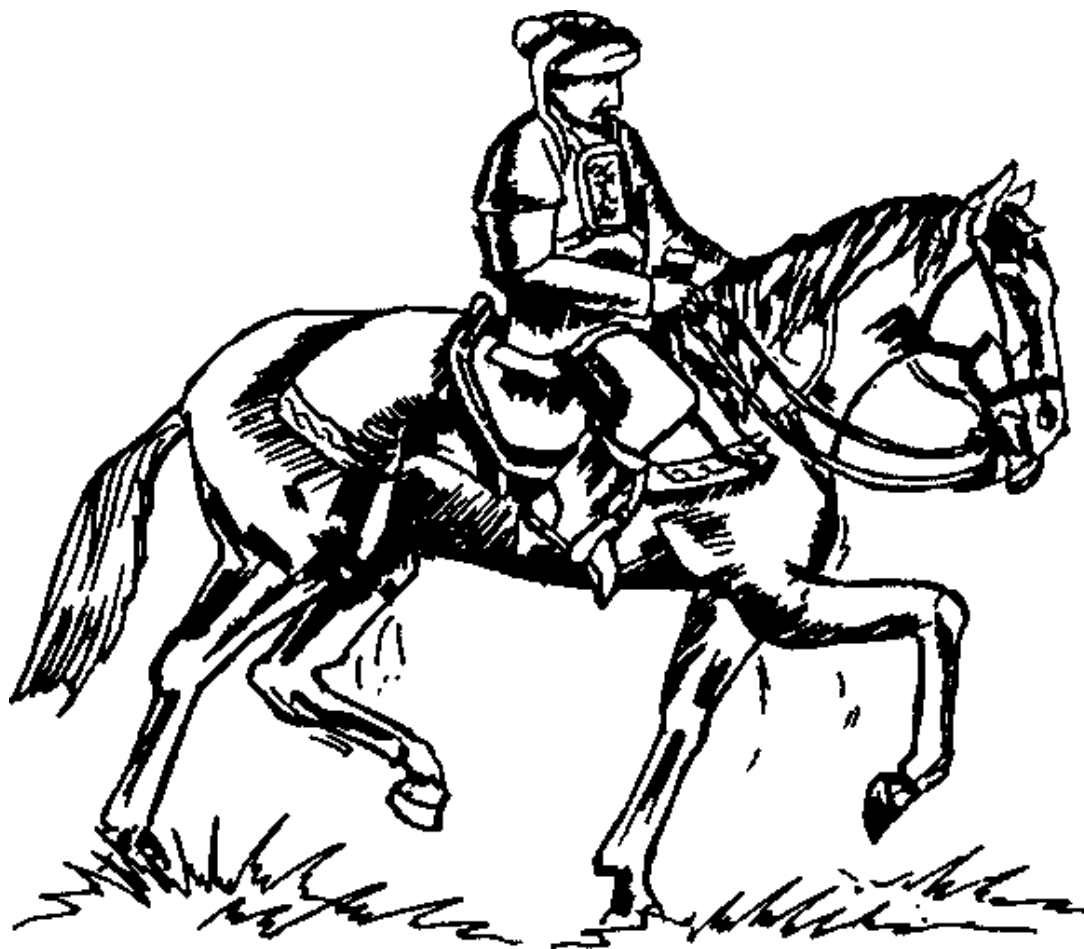
Золотою крышкой
Этот гроб закрыть ей,

Да киркой серебряной
Могилу копать ей,
Заступом из золота
Холмик насыпать ей.

А звонить велел он
На весь край широкий,
Чтобы доносилось
К Турции далекой.

Турок от порога —
Встает Катеринка:
— Поезжай ты с богом
На свою сторонку!

Турок едет полем,
Головушку клонит,
— Боже ты мой, Боже! —
Безутешно стонет.



ПОХОД ПРОТИВ ТУРОК

Перевод М. Павловой

Гусары, гусары,
с добрыми конями,
какого дадите,
я поеду с вами?

Да уж не иного,
как того гнедого.
Я ему добуду
златые подковы.

Я его покрою
попоной богатой,
чтобы ты узнала,

как пойду в солдаты.

Я его покрою
бесценной тафтою,
чтобы ты узнала,
что готов я к бою.

Я его покрою
парчой ярко-алой,
чтобы ты узнала,
рукой помахала.

Когда мы отъедем
триста миль от Праги,
там увидим, любя,
турецкие флаги.

Когда мы отъедем
триста миль от речки,
там увидим, любя,
весь-то край турецкий.

Весь-то край турецкий,
дальнюю чужбину,
в том краю далеком
я навеки сгину.



ЖЕНИХ–МЕРТВЕЦ

Перевод А. Тверского

Слушайте, парни,
и вы, молодницы, —
может несчастье
с каждым случиться.

В Каменце шорник
жениться собрался,
к мельницкой дочке
в мужья набивался.

Мельника баба
его осадила:
«Знала бы —
дочку давно б утопила!»

Шорник едва
про такое услышал,
загоревал
да из Каменца вышел.

Плача, простился
с любимой зазнобой,
и поклялись они
встретиться снова.

Да мать ее злая
ему написала:
«Дочку свою
за другого отдала!»

Шорник письмо прочитал —
расхворался,
два дня болел,
а на третий — скончался.

Мельница дочка
ждала—дожидала,
да жениха своего
заклинала:

«Даже козь мучат
в аду тебя черти, —
вырвись, вернись ты,
хотя после смерти!»

Мать умоляла
ее помолиться,
с долею тяжелой
смирено ужитья.

«Нет, мне молитва
теперь не поможет,
только могила
спасти меня может!»

Раньше, чем месяц
на небо вышел,
цокот копыт
стал за окнами слышен.

«Боже мой, боже мой,
к нам едет кто-то!..
Вот уж подъехал,
стучится в ворота».

«Еду, невеста моя,
за тобой я,
нет без тебя мне
в могиле покоя.

Встань, моя милая,
с белого ложа,
бросить должна ты
ненужного мужа».

«Мужа-то нет
у меня никакого.
Ты мой любимый,
не знаю другого!»

«Встань же, невеста,
скорей одевайся,
времени мало
осталось в запасе.

Конь быстрый, как выстрел, —
не дохлая кляча, —
сто миль до утра
мы с тобою проскачем».

За город ночью
они выезжали,
там странные гости
их свадьбы ждали.

Доехали так они
и до погоста:
«Откройте-ка вы,
гробовые ворота!

Откройте пошире,
я знаю — есть место,
везу я на свадьбу
младу-невесту!»

И черные двери
немедля открылись,
жених и невеста
в могиле скрылись.

При жизни не стали
супругами милые,
а вот могила
их соединила.



ЗАКЛЯТАЯ ДЕВУШКА
Перевод М. Павловой

Течет речка, протекает,
ветки явора купает,
все мосточки залила,
лишь один не заняла.

Там охотничек все ходит,
панну за руку он водит.
Вот он яблочко сорвал,
кинул в воду и сказал:

«Плыви, яблочко, далёко,
вместе с волнами потока,
к самой мельнице, туда,
пусть несёт тебя вода».

Только яблочко приплыло,
жернова остановило,
обмелела вдруг река,
затопила берега.

Почему колеса встали,
сердце тешить перестали,
почему они молчат,
покружиться не хотят?

Возле Табора у леса
жил охотник неизвестный,
в заповедник он ходил,
шляпу с перышком носил.

Пас оленей тонконогих,
любил девушек нестрогих.
Он оленю приказал,
чтоб на мельницу бежал.

«Ты беги, олень, скорее,
своей силы не жалея,
прямо к мельнице, туда,
где под явором вода.

Там под явором, страдая,
сидит панна молодая,
там стоит она грустна,
одинешенька—одна.

И колеса замолчали,
а от них и все печали.
Перед ней рога склони,
прыгай в воду, не тони.

Только до колес достигнешь,
там и яблочко увидишь,
рогом яблочко проткни
и обратно в лес спеши».

Ночь близка, олень несется,
вся земля под ним трясется,
рог то вскинет, то пригнет,
красно яблочко несет.

Плод охотник разрезает,
видит: птичка вылетает —
это панночка была,
та, что в яблочке жила.

ЗАБОЙ, СЛОВОЙ И ЛЮДЕК^[31]

В Чехии славной шумит Черный лес, скала исполин, вздымаясь над лесом, вот-вот скроет свою вершину в облаках.

Могучий Забой стоит на ее вершине, стоит и обводит печальным взором земли вокруг горы. Грустные мысли навевает ему увиденное. Кажется, будто голубь воркует, но это плачет Забой.

Долго, очень долго стоял он в тяжелой печали. Наконец востепенулся и помчался, как олень, вниз, в долину, по дорогам заросшим к своим друзьям и соплеменникам. У всех он побывал, от дома к дому всю землю родную обошел, каждому мужу сообщил по секрету тайну великую, богам поклонился и дальше в путь полетел.

День прошел, за ним другой, и когда на третий месяц проглянул сквозь сумрак ночи, собрались мужи в Черном лесу. Вскоре появился и Забой. Тогда все спустились в овраг глубокий, где лес дремучий стоит непроходимой стеной, где тайну великую могут услышать только земля да небо. Сел тут Забой на дерево упавшее, провел по струнам гуслей пальцами своими, и раздалась вещая песня:

— В глубине оврага пою я песню вам, мужи Чехии, обладающие сердцами братьев и взглядом огненным! Песня моя проистекает из самого сердца, а в сердце моем горесть засела змеею. Отца не стало, его Бог призвал. Жен своих вдовами покинул, детей сиротами оставил, старшего среди них не назначил, не молвил при смерти своего завета. А тем временем в отчизну нашу пришли чужеземцы, завладели страной и распоряжаются всем по воле своей иноземной. По своим чужеземным обычаям наложили бремя на чехов, на жен наших и детей, с утра самого раннего и до ночи поздней. Одну подругу присудили нам иметь на всю жизнь.

Выгнали воронов из рощ священных, богам велели поклоняться иноземным. Чеха неволят поклоняться им, обеты творить перед ними. Кто же теперь наших старых богов чествовать будет, кто принесет им вечерними сумерками еду и питье? Где наши предки являлись с пищей и дарами, где предавались святым молитвам, уже нет богов. От древ священных там остались лишь пни да сучья сухие.

Ах, Забой! Песня, спетая тобой, вырвалась прямо из сердца твоего горем объятого. Ты пел ее сердцам нашим, и сердца наши откликнулись на нее. Как старый Люмир силой песен своих и даром слога своего потрясал и весь Вышеград, и даже страны целые, так и ты потряс души, мою и моих всех братьев. Богам угоден певец, поющий песни такие. Пой, Забой, пой свои песни! Боги вложили в сердце твое дар воспламенять пением души людские.

Так говорил Славой. А в очах его уже огонь блистает. Видит это Забой и вновь заводит песню свою.

— Были двое юношей. Мужали они с годами, мужали и телом и душой. Часто уходили они в дремучий лес, где метали копья, бились на мечах и учились владеть всяческим оружием. Когда же они возвращались в отчий дом, то радостью светились их лица.

Птенцы оперились, тела их окрепли, души воспламенили ненавистью к врагам, и полетели они в бой вместе с родной дружиной. Как буря неудержимая, навалились они на недруга, воинов вражеских поражая Перуном небесным. А как домой воротились, так с ними вернулся и благой час покоя, довольства и мира.

После слов этих вскочили мужи чешские, заключили Забоя в объятия и дали друг другу обет нерушимый с врагом биться до победы окончательной. Ночь уже подходила к концу, вышли они из оврага, поодиночке прокрались меж деревьев вековых и разошлись незамеченными.

Минул день, минул и другой. Когда на третий день ночь пала на землю, Забой ушел в лес, а войско за Забоем. Ушел в лес и Славой с не меньшим войском. Души мужей, на борьбу поднявшихся, вождям преданы, в сердце своем несут они месть королю, а в руках мозолистых оружие смертоносное.

— Эй, брат Славой, туда, где с вершины горы виден весь край наш отчий, туда направим мы стопы свои. На востоке от горы, где лес чернеется, встретимся мы с тобой. Поспеши же туда, как лис осторожный — незаметно и быстро, за тобой следом и я явлюсь.

— К чему, брат, нести нам оружие на гору? Лучше ударим отсюда, как вихрь, охватим врагов.

— Нет, брат Славой. Если хочешь ты змею уничтожить, вернее всего наступить сапогом на голову ей и раздавить ее ногою. А голова змеи там, на горе.

Разделилось войско надвое. Впереди одной половины Забой выступает, вторая за Славоем идет. Лесом дремучим идут, к вершине горы спешат. Когда пятый раз солнце засветило на небе, храбрые чехи сошлись, встретились и войско врагов увидали, следят за ним, осматривают, как лисица добычу.

Выстроил королевское войско Людек. Но не боятся его отважные чехи, рвутся они в бой, чтобы одним ударом сразить его разом, напоить землю потоками крови вражеской, трупами неприятеля поле усеять.

— Слушай, Людек! Ты раб над рабами короля своего; ступай и скажи своему властелину, что слова его для нас что дым, развеваемый ветром.

Разъярился Людек. Словно гром, разнесся по горам его голос. То войску своему отдает он приказы. Был тогда полдень, солнце вовсю сияло на небе, и лучи его ослепительно отражались на доспехах войска немецкого. Двинулось оно в атаку по Людекову приказу, сжимая оружие стальными рукавицами.

— Слушай, брат Славой. Я на них двинусь вперед, грудь на грудь, а ты стороной обойди, как лис, проберись незаметно.

И понесся Забой на врагов, и грянул грозою. Славой же принял сбоку, ударив Перуном.

— О братья! Смотрите: тут боги наши разбиты рукою немецкой; тут под секирою звонкой пали дубы вековые — жилища наших богов бессмертных; отсюда ненависть немецкая изгнала воронов священных.

Здесь даруют нам боги победу над святотатцами, кровавою жатвой мстя за себя.

Двигутся враги вперед, как черная туча, с Людеком во главе, а Забой им навстречу. Как молния огненная, сверкают его взгляды, как дуб вековой, через лес продираясь к другому дубу стремится, так и Забой рвется с Людеком сразиться.

Напряг Людек все свои силы и нанес мечом своим сокрушительный удар. Но не достиг он цели, только три кожи рассек на щите. Поднял Забой топор боевой, размахнулся и запустил его в Людека. Отскочил тот в сторону, и попал топор в дерево; вековой дуб треснул и повалился на войско вражеское, убив разом тридцать воинов.

Разъярился Людек и закричал, к Забою обращаясь;

— Зверь ненасытный, змей подколотный! Мечом бейся со мною, оружием героев со мной сразись!

И схватился чех за меч, и разрубил щит врага, как щепку. Ответил Людек ударом на удар, но укрылся герой щитом, и лишь скользнул булат по коже.

Раззадорились оба, рубят друг друга, и уже кровью покрылись их тела. Вокруг же пылает лютая сеча, кровь льется рекой, люди валятся, как снопы. Смерть пирует вовсю, собирает свою страшную жатву.

Долго длится день, солнце уже клонится к закату, вечер ложится на землю, а воины все бьются. Бьются с дружиной Забоя, бьются с храбрым Славоем.

— Враг окаянный, отправляйся в ад! Довольно напился ты крови нашей!

И, воскликнув слова эти, Забой схватил боевой топор, но Людек увернулся. Поднял топор Забой и во врага его метнул. На куски разлетелся щит, пробил топор панцирь, рассек грудь врага. Кровь бьет потоком, сталь душу из тела вынимает. А топор летит дальше и еще дюжину немцев успокоил вечным сном.

Страх объял немцев, воплями своими они поле битвы огласили. Чехи же возликовали, радость в их взорах светится.

— Видите, братья, — молвил Славой, — Бог победу нам дарует. Теперь разделитесь надвое: гоните врагов вправо, гоните и влево их, проклятых. Меж тем пусть приведут коней быстроногих из долин близлежащих, пусть огласятся окрестности их ржаньем. А ты, брат Славой, лев этой битвы кровавой, преследованием доверши поражение врагов.

Тут отбросил Забой свой щит, схватил топор в одну руку, меч в другую и бросился на врага, устилая его трупами дорогу свою.

Громят чехи королевское войско. Неведомый ужас охватил немцев, гонит он их с поля битвы, не сопротивляются уже, а спешат в бегстве постыдном жизнь спасти и при этом гибнут на каждом шагу.

Вот и коней привели.

— Гей, на коней, на коней! Мчитесь, воины, летите на конях быстрых, топчите врагов, истребляйте их повсюду.

Вскочили чехи на резвых коней, на врагов поскакали. Удар за ударом наносят, гнев свой вымещают на них. Равнины мелькают, долины и горы позади остаются.

Река преградила им путь, катит свои воды, бурлит среди камней. Немецкое войско бежит, в волны бросается. Уносит чужеземцев река, крутит, тянет к себе на дно, и только немногих отпускает, на другой берег выносит. А чехи на своей земле, знают броды и переправы, счастливо перешли на противоположный берег.

Расправив свои широкие крылья, ястреб, как туча кровожадная, летает по небу, добычу выискивая. Так и дружина Забоя разлилась по полям и долинам, как смерть за врагами носится, везде разит их и топчет копытами коней своих. Ночью при свете луны их громит, днем при солнца сиянии истребляет, в темную ночь лиходеев казнит, в утро седое спать укладывает сном вечным.

— Вперед! — вызывает Забой, — Понесем дальше наше мщенье.

— Брат! — отвечает Славой. — Горы родные уже перед нами, врагов совсем горсть осталась, и те уже милости просят. Повернем же назад, а королевские воины и так сгинут.

Словно вихрь, чешские дружины мчатся домой с радостными кликами.

— О братья! Вот и гора! Здесь боги нам победу дали, здесь души погибших остались, взад и вперед они по деревьям летают, и птицы и звери боятся их, лишь одни только совы ночные меж ними витают спокойно. На вершине горы предадим земле тела павших, а спасителям нашим, богам, пищу поднесем, молитвы вознесем им усердно, сложим костер из оружия врагов истребленных.

СУД ЛЮБУШИ^[32]

«Ах Волтава, что мутишь ты воду, что мутишь воду серебро пенную? Или буря понеслась в поднебесье, затянула тучами синеву широкую, охватила темными верхи гор зеленых, взволновала вихрями твои воды светлые, взбороздила дно песчаное?»

— Вод бы светлых не мутила я, волны пенистой не взрывала бы, да родные братья завязали распрю, жестокую распрю об отчем наследии: лютый Хрудос на извилистой Олаве, на Олаве извилистой златоносной; Стоглав храбрый на хладной Раддуже; спорят и враждуют два брата родные, оба Кленовичи, ветви от древнего корня Попела, что войска чехов через три реки сюда перевел — в край благодатный!»

От Олавы извилистой прилетела ласточка, в гнездышке Любушином, золотом отцовским, в святом Вышеграде села над окошечком, села над разложистым с печальною вестию, с чиликаньем жалостным.

Как ту весть услышала сестра ее родная в Любушином замке, начала княжну умолять — просить, чтоб внутри Вышеграда, у порога отцовского дома, рассудила братьев спорящих, по закону помирила их.

Понеслись гонцы к Зутославу на белой Любице, где зеленеют пышные дубравы; к Лютобору с холма Доброславска, где Орлица вливается в Лабу; к Ратибору от гор Креконоших, где Трут убил лютого змея; к Радовану при каменном мосте; к Ярожиру от рек быстроструйных; к Стрежибору от милой Сазавы; к Самороду от Мжи среброносной, ко всем старцам Лехам и владыкам, и к Хрудосу и Стоглаву, братьям, враждующим об отчем наследии.

Собрались старцы, Лехи и владыки на сейм в Вышеграде, в Любушином замке; каждый занял место по старшинству рода, и княжна вышла вся в белой одежде, вышла и села на престол отчий.

Среди сейма стали две вещие девы; одна держит *доски правдодатные*, у другой меч для кары порока. Перед ними пламень, обличитель правды, а под ними вода для Суда Святого.

Повела княжна слово с отчего престола: «Мои старцы, Лехи и владыки! Рассудите братьев, завязавших распрю, жестокую распрю об отчем наследии; рассудите распрю их по закону богов *векожизных*, обоим ли владеть совокупно, или власть им разделить поровну? мои старцы, Лехи и владыки! подтвердите приговор мой, если будет он по мыслям вашим; если же вы мыслите иначе, свой суд дайте о раздоре братьев».

Поклонились старцы, Лехи и владыки и тихонько совещаться стали. Меж собою говорили тихо, и приговор княжны похвалили.

Встал Лютобор с холма Доброславска, и речь к княжне начал он такую: «Княжна славная по златому отчему престолу! обсудили мы твое решение, вели собрать голоса народа».

В святой сосуд голоса собрали вещие девы, и, собравши, передали Лехам, дабы объявили приговор народа. Тут Радован при каменном мосте стал разбирать голоса по счету; сосчитавши, объявляет приговор народа:

«Братья родные, оба Кленовичи ветви от древня корня Попела, что войска чехов через три реки сюда перевел — в край благодатный, — да покинут распрю об отчем наследии, да владеют им совокупно оба!»

Восстал Хрудос от извилистой Олавы; желчь разлилась у него в утробе, все члены тряслись от злости; махнув рукой, как тур ярый, заревел ужасно: «Горе птенцам, если в гнездо змея заберется; горе мужам, если ими жена завладеет! мужу владеть мужами прилично. По закону старший владеет наследством.

Встала Любуша с золотого отчего престола и сказала: «Старцы, Лехи и владыки! вы слышали мое посрамление; я больше не буду судить ваши распри; сами судите себя по закону. Изберите сами равного вам мужа, да владеет над вами железом, а рука девицы власть держать бессильна».

Встал Ратибор от гор Креконоших и сейму сказал: «Не похвально правды искать нам у немцев; у нас правда во святом законе, а закон тот отцы наши сюда принесли через три реки — в край благодатный... [\[33\]](#)»

«У челяди каждой есть свой воевода; каждый занят своею работою: мужи пахут землю, жены шьют одежду. Если смерть отнимет главу у челяди, то владыку в роде избирают дети: всем равный голос, всем право избранья. Избранный владыка для пользы челяди, ходит на сеймы, как другие старцы, Лехи и владыки...»

Встали старцы, Лехи и владыки, выхваляя законное право.



МОРАВСКИЙ ЭПОС

АДАМЕК

Перевод А. Тверского

Как в бору меж кочек —
яркий огонечек.

У костра — двенадцать

разбойничков—братцев.

Атаман — Адамек,
с ним всего — тринадцать.

Раненый Адамек —
пуля подкосила, —

смертный час почуяв,
братьев так просил он:

«Гроб мой закопайте
вы под деревьями,

где, бывало, часто
пил я вместе с вами.

Так похороните,
надпись надпишите:

«Тут лежит Адамек,
атаман наш добрый,

добрый, непродажный
атаман отважный».

ВОЗВРАТИЛСЯ

Перевод А. Тверского

Милый на войну пошел,
своей милой наказал:

«Через семь годов приеду
и колечко подарю».

Семь лет замуж не спешила, —
скоро, мол, придет милый.

Год седьмой к концу приходит,
девка во поле выходит.

А навстречу ей — солдат, —
крепок, строен и усат.

«Что же в девках все сидишь, —
так красу всю проглядишь».

«Семь лет замуж не спешила:
скоро мой вернется милый».

«Аня, милый твой женился,
я был на свадьбе, там напился.

Что молчишь, али не знаешь,
что ему ты пожелаешь?»

«Пожелаю столько счастья,
сколь травинок в этой чаще.

Столько лет на свете этом,
сколько листьев красным летом».

«Ой, разумно отвечаешь,
что ж еще ты пожелаешь?»

«Поцелуев пожелаю,
сколько в небе звезд гуляет.

Пожелаю ночек добрых,
сколь костелов в свете гордых.

Сколько на деревьях веток, —
столько пожелаю деток».

Засмеялся тут солдатик,
Ане перстень показал.

Аня перстень свой узнала,

мил ее поцеловал.

И повел ее, повел
через черный бор в костел.

Руки их священник взял,
штолой накрепко связал.

Сжал Анденьке крепко руку,
слезы проняли Анденьку.

«Что ж глаза на мокром месте,
аль не мил жених невесте?»

«Как не плакать мне слезами —
слова не сказала маме.

И подружкам не сказала,
друзьями их не позвала».

ПОХОРОНЫ РАЗБОЙНИКА

Перевод М. Павловой

Как на праздник шли мы,
одиннадцать было нас,
эй, одиннадцать было нас.
Как с праздника шли мы,
десять было в этот раз,
эй, десять было в этот раз.

Стойте, подождите,
в Нитре смертный бой кипел,
в Нитре смертный бой кипел,
сосчитаем, братцы,
может, кто не уцелел,
может, кто не уцелел.



Одного нет с нами,
ох, товарищ мой убит,
ох, товарищ мой убит,
пал он на границе,
рядом сабелька лежит,
рядом сабелька лежит.

Товарищи, други,
пал я в дальней стороне,
пал я в дальней стороне,
моей острой саблей
вы могилку ройте мне,
вы могилку ройте мне.

Выложите златом
и заройте там мой прах,
и заройте там мой прах,
пусть поплачет любя
на моих похоронах,
на моих похоронах.

СТАРЫЙ МУЖ

Перевод Л. Мея

У молодки Наны
Муж, как лунь, седой...
Старый муж не верит
Женке молодой:

Разом домекнулся,
Что не будет прок, —
Глаз с нее не спустит;
Двери на замок.

«Отвори каморку —
Я чуть—чуть жива:
Что—то разболелась
Сильно голова —

Сильно разболелась,
Словно жар, горит...
На дворе погодно:
Может, освежит?»

— Что ж, открой окошко,
Прохладись, мой свет!
Хороша прохлада,
Коли друга нет!

Нана замолчала,
А в глухой ночи
Унесла у мужа
Старого ключи.

«Спи, голубчик, с богом,
Спи да почивай!»
И ушла тихонько
В дровяной сарай.

— Ты куда ходила,
Нана, со двора?
Волосы — хоть выжми;
Шуба вся мокра...

«А телята наши
Со двора ушли,
Да куда ж? — к соседке
В просо забрели.

Загнала насилу —
Разбежались все...
Я и перемокла,
Ходя по росе».

Видно, лучше с милым
Хоть дрова щепать,
Чем со старым мужем
Золото считать.

Видно, лучше с милым
Голая доска,
Чем со старым мужем
Два пуховика.

МЕСТЬ

Перевод М. Павловой

Как от мельницы к леску
тропку протоптали,
тот, кто тропку протоптал,
мельничиху целовал.

Постучал он в воротй:
Старый мельник дома?
Что же, парень, не войдешь?
Мельник занят, мелет рожь.

Только мельник услышал,
в горницу вернулся,
со стены топор схватил,
парню голову срубил.

К речке мельничиха шла
за водой студеной,
там головушку нашла,
кровью руки облила.

Ох, головушка, скажи,
где ж осталось тело?
Тело в горнице твоей,
на дубовой на скамье.

Мельник, мельник, горе мне,
что же ты наделал?
Тому, кто меня любил,
с плеч головушку срубил.

Отрубил я, отрубил,
в воду ее бросил,
чтобы каждый знал в краю,
кто любил жену мою.

Ох вы, парни—молодцы,
жен вы не любите,
я красу жену любил,
за нее и жизнь сгубил.



ПОХОРОНЫ КОМАРА

Перевод М. Павловой

Что так сильно застучало,
что так страшно затрещало?
То комар упал с небес,
перешиб себе хребет.

Комарика убеждают,
лекарей к нему сзывают.
Не поможет мне отвар,
нужен ксендз мне, пан фарар.

Комарика убеждают
и в аптеку посылают.
Мне не нужно порошка,
нужны заступ и кирка.

Уж как в землю опускали,
все-то мухи зарыдали,
рой пчелиный пел хорал,
что преставился комар!



СЛОВАЦКИЙ ЭПОС

БРАЛИ ЗАМОК ТУРКИ

Перевод А. Глобы

Брали замок турки,
Тот зволенский замок.

Никого людей нет,
Лишь слуга остался.

«Ты скажи, слуга, нам:
Где твой пан и пани?»

«Не могу поведать —
Может пан услышать:

Заперся он с пани
В той высокой башне,

А ключи от замка
Скрыты под порогом».

Первый раз стреляли —
Верх у башни сбили.

А еще стреляли —
Пана там убили.

Как убили пана,
Пани полонили.

Да повезли пани
В поле, в лес широкий.

Глянула на замок
Через ров глубокий:

«Ой вы, стены, стены,
Каменные стены!

Где тот, кто вас строил
На беду, на лихо?»

<p>НА ВОЙНУ КОРОЛЬ ИДЕТ <i>Перевод Рогачевского</i></p>
--

На войну король идет,
жен и дев на бой зовет.

Жен и дев послал вперед,
Позади парней ведет.

Тут промолвил старый дед:
«У меня, мол, сына нет.

Есть три дочки у меня —
Три голубки краше дня.

Ну-ка, старшая, ступай,
За отца ты долг отдай».

«Пан-отец, я не пойду, —
На войне я смерть найду».

«Ну-ка, средняя, ступай,
За отца ты долг отдай».

«Пан-отец, я не пойду —
На войне я смерть найду».

Повернув к отцу лицо,
Молвит младшая словцо:

«Ни к чему печаль твоя,
На войну отправлюсь я.

Вороного для меня
Ты купи с седлом коня.

Злату саблю на ремне,
В руки пистолеты мне».

«Дочь, в бою ты не была,
А война, Варвара, зла.

Не спеши вперед, не рвись:

Лучше позади держись...»

Форму примеряли ей —
Слезы на глазах парней.

Сесть верхом она спешит,
Плачут мать с отцом навзрыд.

Но Варвара, как всегда,
И спокойна, и тверда.

Конь гарцует вороной,
Трижды лагерь за спиной.

Сам король был удивлен,
Обратился к войску он:

«Вот солдат уж так солдат!
Лих, красив... Не парень — хват!

Будь он девой молодой, —
Был бы вмиг моей женой».

«Я девица, свет-король,
Дал словцо, держать изволь!»

НАША ПАНИ БРОДИТ...^[34]

Перевод А. Роховича

Наша пани бродит —
места не находит,
песню напевает,
слезы проливает:

«Ох ты, ох, мой боже,
что я натворила,
из-за ветки сохлой
розу упустила.

А ведь за Дунаем
я бы королевой,
я бы королевой
стать могла немецкой.

Я бы увидала,
как играет море,
как Дунай заводит
песню на просторе».

Песенку княгини
лишь один подслушал,
лишь один подслушал
парень из конюшни.

«Княже мой, что знаю —
рассказать я мог бы,
рассказать я мог бы,
кабы не боялся!»

«Говори, не бойся,
будешь мне роднею,
на твою защиту
встану я горою».

«Твоя пани бродит —
места не находит,
песню напевает,
слезы проливает:

«Ох ты, ох, мой боже,
что я натворила,
из-за ветки сохлой
розу упустила.

А ведь за Дунаем
я бы королевой,
я бы королевой
стать могла немецкой.

Я бы увидала,
как играет море,
как Дунай заводит
песню на просторе».

«Милая, оденься,
так блеснув нарядом,
чтоб не смерк он рядом
с месяцем и солнцем.

С месяцем и солнцем,
с звездочками в небе,
с звездочками в небе,
с рыбками морскими.

Станешь ты любимой
женушкой моею,
коль Дунай три раза
переплыть сумеешь!»

Вот ее на берег
вынесло волною.
«Стала ли я, княже,
милою женою?»

«Станешь ты любимой
женушкой моею,
коль Дунай вторично
переплыть сумеешь!»

Вновь ее на берег
вынесло волною.
«Стала ли я, княже,
милою женою?»

«Станешь ты любимой
женушкой моею,
коль Дунай еще раз
переплыть сумеешь!»

Поплыла — да сладить
трудно с быстриною.
«Нет, не стала, княже,
милой я женою!»

«Рыбаки, бросайте
сети поскорее, —
вон моя княгиня
сгинула в пучине!»

Первый раз тащили —
платье зацепили,
снова потащили —
всю ее добыли.

Дома у колодца
погребли богато,
выложили стёжку
золотом дукатов.

ЭТОТ ЯНОШ УДАЛОЙ... *Перевод М. Павловой*

Этот Янош удалой
поборотся б еще мог,
если б в хате не оставил
свой строченый поясок.

Баба старая взяла
да его и предала,
рассказала, как на лавке
поясок его нашла.

Так его подстерегли,
руки, ноги оплели
и тотчас же, темной ночью,
в Рожняву повели.

Паны с башенки глядят
на Яноша, на солдат,
как ведут они беднягу,
карабинами грозят.

А когда привели,
все с приветом подошли:
Здравствуй, здравствуй, милый птенчик,
мы тебя подстерегли.

Господа, прошу я вас,
если пробил смертный час,
дайте пояс мой строченый
взять мне в руки хоть раз.

Стали паны рассуждать,
головами качать,
поясок его строченый
в руки не дали взять.

Господа, прошу я вас,
если пробил смертный час,
дайте подлую старуху
взять мне в руки хоть раз.

Стали паны рассуждать,
головами качать,
даже подлую старуху
в руки не дали взять.

Господа, прошу я вас,
если пробил смертный час,
мне вкруг виселицы дайте
проплясать двенадцать раз.

Заплясал он, как хотел,
как подпрыгнул, подлетел,
даже крюк перелетел он,
на котором он висел.

Как пустился Янош в пляс,
кандалами как затряс,
так вокруг виселицы с громом
проплясал двенадцать раз.

Ой ты, Янош удалой,
где топорик верный твой?
Врублен в Быстрице он в плаху,
там топорик верный мой.

Ой ты, Янош удалой,
где палаш острый твой?
Мой палаш в лесу зеленом
врублен в явор молодой.



ПОЛОНИЛИ ТУРКИ...

Перевод Е. Аронович

Полонили турки
у горы у Белой,
в Зволене высоком
детушек рихтарских.

Шуды Катарину
повезли в повозке,
Томашека Люды
связанным в телеге.

Пришли на чужбину
в землю басурманов —
Шуды Катарину
повели в светлицу.

Шуды Катарина
наверху в светлице,
а Томашек Люды
под землей в темнице.

«Шуды Катарина,
милая сестрица,
будешь жить богато,
не забудь ты брата».

Шуды Катарина
в серебре и злате,
в холе и почете
забыла о брате.

Только сон приснился
на седьмой годочек,
будто с правой ручки
взвился голубочек.

Шуды Катарина
встала утром рано

и, не медля долго,
побежала к старцу.

«Ты поведай, старец,
сон мой злой иль добрый,
будто с правой ручки
взвился голубочек». —

«Это сон недобрый,
он тебе вещает,
что сестра иль братец
где-то умирает».

Шуды Катарина
тут не стала медлить
и ключи достала
все от подземелий.

«Люды, Томаш Люды,
брат ты мой любимый,
ты живой иль мертвый,
отвечай, родимый!»

«Я живой, сестрица,
лишь наполовину,
мои белы ножки
во сырой могиле,

в очах моих черных
копошатся жабы,
в волосах пшеничных
свили гнезда мыши».

«Люды, Томаш Люды,
братец мой любимый,
здесь ли жить мы станем
иль домой вернемся?»

«Мы домой вернемся
к матери родимой,

больше нету мочи
в стороне турецкой».

Брат с сестрой достигли
стороны любимой,
на ночлег просились
к матери родимой.

«В избу не пущу вас,
у меня там гости,
нет в чулане места,
у меня там деньги».

«Ты позволь остаться
во дворе при доме,
во дворе при доме,
на гнилой соломе».

«Что же, оставайтесь,
ничего там нету,
что же, оставайтесь,
ничего там нету».

Люды Томаш Люды
умер до рассвета,
Шуды Катаринка
так запричитала:

«Люды Томаш Люды,
братец мой любимый,
лучше бы ты умер
в стороне турецкой.

Там лежал бы, братец,
в шелковой постели,
у родной лежишь ты
на гнилой соломе».

«Дети дорогие,
горькие вы дети,

что же не признались,
слова не сказали?

Я бы вас одела
в червоное злато,
в червоное злато,
в серебро богато».

Шуды Катарину
златом обсыпали,
Томашека Люды
в землю зарывали.

У ОДНОЙ ВДОВЫ УБОГОЙ...

Перевод А. Роховича

У одной. вдовы убогой,
у одной вдовы убогой,

чье добро всё — вера в Бога,
чье добро всё — вера в Бога, —

было восьмеро сыночков
и одна — Катюша — дочка.

Чем кормить? Что с нею будет?
Отдают Катюшу в люди.

На хорошем Катя месте
будет — в герцогском поместье.

«Ах, мамуся, будем вместе,
не гони меня в поместье.

Много бедного там сброда
и богатого народа.

Каждый скажет мне, что любит,

опозорит и погубит».

Не прошло и года — в уши
бьется сплетня о Катюше:

понесла, мол, Катерина,
да от герцогского сына!

Вот доит корову Катя,
рядом герцог в пышном платье.

«Эй, мой герцог, я не знаю,
называть кого должна я?»

«Называй меня, не бойся,
ни о чем не беспокойся».

На войну уходит герцог,
у Катюши стынет сердце.

А старуха—герцогиня,
услыхав молву о сыне,

приказала Катерине:
«Говори скорей, девчонка,

от кого ты ждешь ребенка?»
Отвечает Катерина:
«Жду от герцогского сына».

Герцогиня помрачнела,
палачей позвать велела.

Кате голову срубили,
за Дунаем схоронили.

Одержав в бою победу,
все домой с дарами едут.

Едет герцог с колыбелью —

ждет дитя он в самом деле.

«Что же, сивка, ты не весел,
что ты голову повесил?

Иль устал носить ты сбрую,
или сабельку стальную?»

«Не устал носить я сбрую,
и не сабельку стальную.

Колыбель тяжка мне эта,
если маленького нету...»

Подъезжает он к поместью,
кличет Катю честь по чести:

«Выйди, сердце, словно к мужу,
чтоб принять мое оружие».

Мать вокруг него хлопочет
и принять оружие хочет.

«Ах, скорей скажите прямо,
где моя Катюша, мама?»

«В погреб я ее послала
взять винца там для бокалов».

«Ах, скорей скажите прямо,
где моя Катюша, мама?»

«Катя в кухне спозаранку,
где все прочие служанки».

«Выйди, Катя, словно к мужу,
чтоб принять мое оружие!»

«Лгать тебе, сынок, не дело, —
я казнить ее велела.

Кате голову срубили,
за Дунаем схоронили».

Не пускаясь в разговоры,
два ножа достал он скоро.

Первым герцог вырыл яму,
в грудь вторым ударил прямо.

Рядом пусть лежат все трое, —
Бог их души упокоит.



ЛУЖИЦКИЙ ЭПОС

ВОДЯНОЙ

Перевод Н. Вольпин

Жила—была панночка—девица!
У отца единственная дочка,
У отца единственная дочка.

Отца девица просила:
— Дай погулять мне годочек,
Пожить во дворе твоём новом!

— Я бы дал погулять тебе годочек,
Пожить во дворе моём новом,
Да пора тебе, дочка, замуж.

Поднялася панночка наверх,
В новорубленную светлицу,
В новорубленную светлицу.

Сидит в светлице и плачет,
Белые руки ломает,
Белые руки ломает.

Во двор водяной проходит:
— Где тут моя невеста,
Где тут моя невеста?

— Она у себя в светлице,
Сидит она там и плачет,
Белые руки ломает.

— О чем ты плачешь, девица,
Моя дорогая невеста?
Моя дорогая невеста!

— Как же мне, горькой, не плакать,
Когда люди кругом толкуют,
Что жених мой — сын водяницы?

— Не слушай пустые толки,
Теперь ничего не изменишь.
Теперь ничего не изменишь!

Я для своей невесты
Серебряный мост построю.
Серебряный мост построю!

Пройдет по мосту твой поезд
О тридесяти колясках,
О сорока рысаках!

Не доехали до середины —
Под ней провалился мост,
Под ней провалился мост.

Смотрит отец в окошко:
— Гляди, дорогая женка,
Плывет наша дочь по воде!

— Ну и пусть плывет по воде,
Теперь ничего не изменишь,
Теперь ничего не изменишь!

Семь весен и зим миновало,
Семь она сынов нарожала,
Семь она сынов нарожала.

На злую восьмую годину
Родила она восьмого сына,
Родила она восьмого сына.

Запросилась она у мужа:
— Пусти меня на берег, в церковь!
Пусти меня на берег в церковь!

— Ступай, если хочешь, в церковь,
Но смотри, не дождись благословенья!
Но смотри, не дождись благословенья!

Поднялась со дна, идет в церковь
И встречает милого братца,
Встречает сестренку меньшую.

— Привет, дорогая сестра.
В кои поры ты на берег вышла!
Идем вместе с нами в церковь.

— В церковь пойду с вами вместе,
Но нельзя мне ждать благословенья.
Ах, нельзя мне ждать благословенья!

— Не спеши, погоди, сестрица,
С нами пойдешь пообедать,
С нами пойдешь пообедать.

Дождалась она благословенья.
Тут встал водяной из пучины,
Тут встал водяной из пучины —

В синих своих штанах,
В красных своих чулках,
В красных своих чулках!

Вышла она из церкви,
С сестрицею распростилась,
А навстречу — муж–водяной.

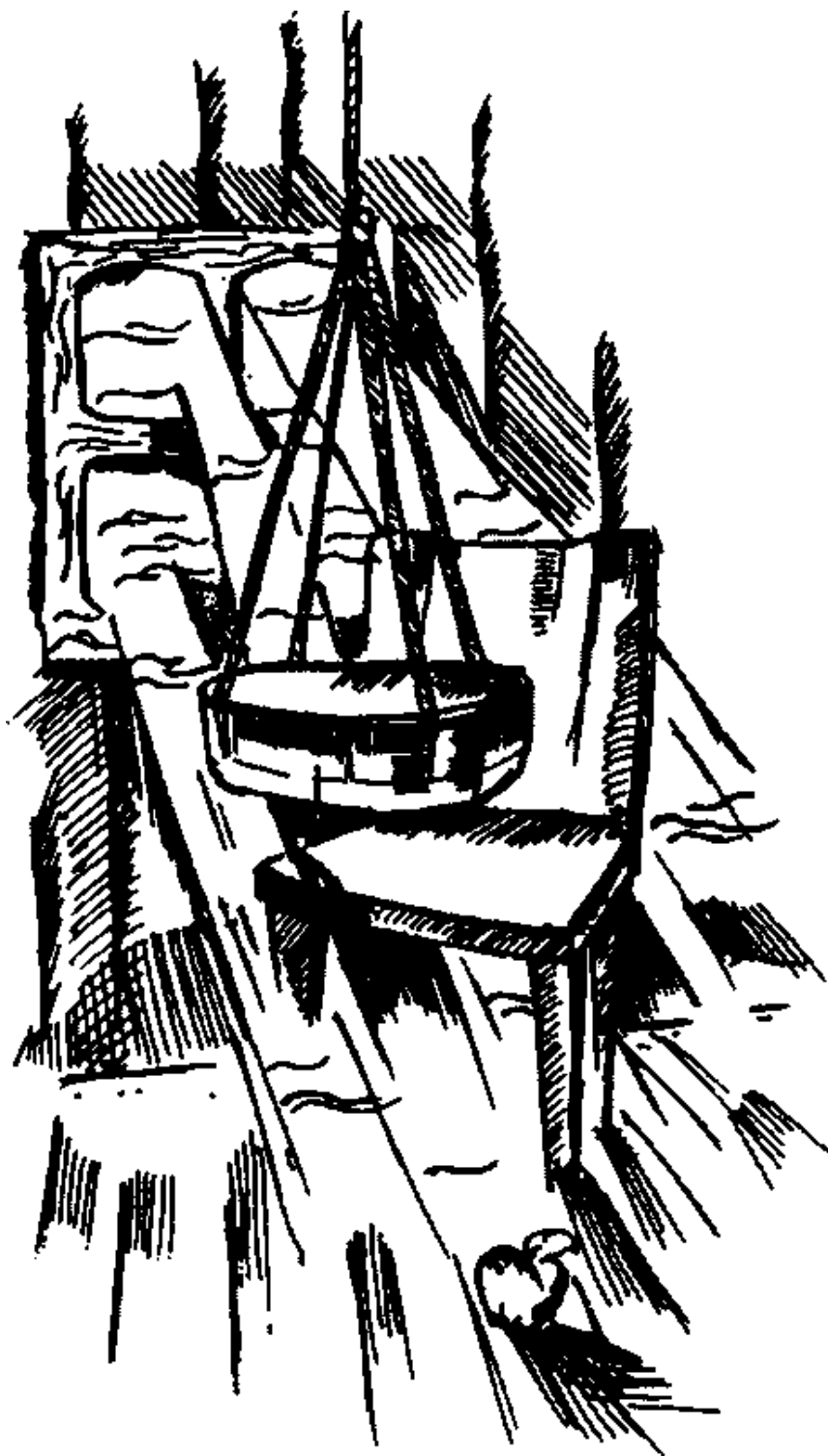
Из рук ее вырвал младенца,
На глазах у ней растерзал,
На глазах у ней растерзал!

Остальных семерых задушил,
Раскидал тела по дороге,
Сам повесился на косяке.

— Не жалко тебе, скажи,
Деток твоих малолетних,
Деток твоих малолетних?

— Ни одного так не жаль,
Как жаль сыночка меньшого!..
Как жаль сыночка меньшого!

Маленький сидел он в купели,
Беленький лежал в колыбели,
Яблочком румяным играл.



ДВЕ КРАСАВИЦЫ

Перевод Н. Вольпин

Шли лугом две красавицы,
Шли лугом две красавицы,
Две девушки на выданье.

Одна из них — богатая,
Одна из них — богатая,
Другая — сиротиночка.

Идет, подобрала подол,
Холщовой юбочки подол.
Богатая промолвила:

— Ты что подобрала подол,
Холщовой юбочки подол?
Я в шерстяной, а так иду!

— Богатый у тебя отец,
Богатый у тебя отец,
Я без отца, без матери.

Порвешь ты юбку красную,
Порвешь ты юбку красную,
Тебе дарят зеленую.

— Ты без отца, без матери,
Ты без отца, без матери,
Зато с тобой твой милый друг!

Расплакалась богатая,
Расплакалась богатая,
А бедная промолвила:

— Что плачешь ты, счастливица,
Что плачешь ты, счастливица?
Я и бедна, да слез не лью.

— Как мне не плакать, слез не лить,
Как мне не плакать, слез не лить,
Когда мне мил твой милый друг!

Отдай мне друга милого,
Отдай мне друга милого,
Тебя возьмет мой старший брат.

— А мне твой брат не по сердцу,
А мне твой брат не по сердцу,
Он озорник бессовестный.

Красавец–парень пас коней,
Красавец–парень пас коней,
И он подслушал их слова.

— Ты вразуми меня, Господь,
Ты вразуми меня, Господь,
К которой мне посвататься?

Взять за себя богатую,
Взять за себя богатую,
Да злую, нерадивую?

Пойдет жена корить меня,
Ох и пойдет корить меня,
Что извожу ее добро.

Возьму я лучше бедную,
Возьму я лучше бедную,
Прилежную, приветную.

Женою будет ласковой,
Женою будет ласковой,
Угодливой, хозяйственной.

Трудиться станем с ней вдвоем,
Трудиться станем с ней вдвоем,
И Бог благословит наш дом.



notes

Примечания

Это собрание до сих пор хранится в Стрелицкой библиотеке, где я имел случай собственными глазами удостовериться в его апокрифичности.

Попов и Кайсаров считают имя Буг за коренное название Бога; Чулков же и Г. А Глинка упоминают о реке Буг как о предмете обоготворения.

От богини жизни сохранились имена города Zivies и горы того же имени, где находился храм *Живы*.

Как имя, так и значение *Раданаса* очень сомнительны. Некоторые считают его за злого полевого и домового духа и смешивают его с *Матохой* или *Махой* (размах). Под именем *Разамарглы* принадлежит он, по-видимому, к искажениям *Симарглы* и *Зимарглы*. Наконец, почитают его в имени *Родомысла*, как подавателя советов.

Между ретрскими кумирами находим мы славянского Сервера под именем Миты, так же как и изображение скандинавской богини ада Hela, но, вероятно, что оба эти понятия внесены только Машем в список славянских божеств.

Вероятно, к поклонению *Живы* и *Красопани* относятся кумиры: *Красотины*, сооруженные чешским князем Незамыслом, и *Красины*, обоготворяемые кн. Людмилою.

Между каменными бабами в Южной России и Сибири (хотя эти памятники, по-видимому, не относятся собственно к славянам) встречаем много приапических истуканов: см.: Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1844. С. 593; Обзорение могил и пр. Киевской губернии, Фундуклея. Киев, 1848. С. 76.

Под поветрием разумеют также и бога скотного падежа *Тришибека*, о котором см. ниже.

У Гануша *Вилкодлак* или *Вилкодлачь*; у Пушкина же (в «Песнях западных славян») *Вурколак*; но на чем основано это изменение л в р, неизвестно.

Карамзин говорит, что волхвы нередко играли на гусях, почему и получили имя гусяров; быть может, относится к ним и имя Гусява, встречающееся в песнях южных славян и которого Венелин почитает славянским Орфеем.

Эти слова имеют много значений — от *дурак*, негодяй до славный *парень*. — *Примеч. ред.*

В скандинавском мифе встречаем мы лицо *Пердувита*, который, по несомнительным его аллегорическим символам бога света, быть может, не что иное, как *Perkunas–Wicht*, *Перун Вит* (ударяющий, гремящий *Вит*), и, в таком случае, является он тождественным с *Пурувитом* в Книтлингской саге.

Во всей Европе четвертый день недели посвящался богу–громоносцу, так *jeudi*, *jovis–dies*, Thursday, Thorsdag, Tonarstag, Donarstag, Donerslag и люнебургских славян Парандан, или Перендан. У нас праздник *Тура*, сохранившийся в семике, совершается до сих пор в четверг. В Германии и Швеции название *зеленого*, высокого или *святого* четверга (праздника *Tora*) перешло на четверг страстной недели *gruhn Donnerstag* или, в римско–католическом календаре, *dies Viridium*; у хорутан существует в великий четверг и в четверг Троицкой недели девичий праздник посвящения огня, который оба раза совершается в день Зевса, или *Tora*, а это невольно напоминает нам древний обычай зажигать огни в честь *Перуна*. В Германии существует до сих пор обычай по четвергам есть зелень, что указывает на какой–то род поста, и девицы вечером этого дня никогда не занимаются рукоделием из опасения, чтобы злая *Frau Bertha* не испортила их работу. Здесь же нужно заметить, что собственное мифическое имя *Берты*: *Perahta* или *Perchta–Pertha–Bertha* намекает как будто на тайную филологическую связь ее с *Перуном*. Наконец, по мнению Снегирева, вероятно, относится сюда же и народная поговорка о чем–либо несбыточном: после дождичка в четверг; ей соответствует употребляемая в том же смысле и французская поговорка: *la semaine des quatre jeudis*.

Нельзя не обратить здесь внимания на столкновение славян с галло-кельтскими племенами не только в Батавии и Южной Англии, но и в Северной Италии близ древнего Аквилея, и в нынешней Вандее. Многие из славянских племен известны под именем *вендов*, *винидов*, *виндов*, *велетов* и *ваннов*, и, вообще, везде, где жили некогда славяне, находим мы в географических названиях этот корень *вал—вен—вел* и пр., как, например, Вена, Виндишгрец, Венеция, Венден (уездный город Лифляндской губернии), Вильна, или Вильда, и пр. Посему с достаточным основанием предположить можно, что *венеды* древней Галлии, упомянутые Цезарем, не что иное, как одна из многочисленных отраслей славян; это мнение подтверждается историей, что племя *велетов* жило когда-то при устье Рейна, и город Утрехт в старых хрониках назывался Вильтбург; отсюда переехали велеты в Англию, где основали город *Wiltum*, или *Wilts*, и дали свое имя Валлийскому княжеству (*paus de Galle Wallis*), из которого легко могли переехать и в Бретанию, что подтверждается сходством наречий этих стран, так же как самым именем страны Бретания, или Британия, происходящим от корня *брег*, откуда имя города Брест, и именами *Wallis* и *Vandee* от имени славянского племени: *велетов*, или *венедов*, сохранившегося в имени города *Vanne* и во многих других. Наконец, отсюда же видно, что религия древних британцев, так же как и галлов, поселенных в Иллирии, имеет большое сходство с нашими славянскими мифами, так *Таранус* и *Беленус* с *Туром* и *Белбогом*, *Перуном* и *Велесом* или еще ближе с малороссийскими названиями быка *Тараном* и *Белуном*. О дальнейшем сравнении этих мифов будет сказано ниже.

Быть может, и Jahrmarkt, которое также легко может иметь свое начало в имени бога *Яра*, подобно русским ярылам, хотя проще произвести его от прилагательного *годовой*.

Некоторые мифологи причисляют также скандинавских богов *Одина* и *Балдура* к нашим богам войны, но это предположение ложно, ибо оно основано на поддельных рунах кумиров Ретры, где встречаются эти имена. Вообще, мы уже имели случай неоднократно заметить, что эти ложные кумиры ввели в нашем мифе множество божеств или заимствованных у других народов, или выдуманных их комментаторами Машем и Потоцким. Так, заимствованы: в прусском мифе *Швейкстикс*, бог солнца, в скандинавском *Hela*, богиня ада, *As-ri* или *Аз Балдури* и *Водин* (смешанный здесь с нашим *Водою*), наконец, от готтов, *Ирра*, переделанный в *Инабога* (бога охоты) от готтского слова *irra* — *возвышенный, священный*; выдуманные же: *Мита*, *Опора*, *Стли*, *Числбог*, *Сиегн* (быть может, искаженное имя *Цицы* или *Дзидзили*) и много других безымянных божеств.

Любисток. — *Примеч. рег.*

«А Волоса идола, его же именоваху скотья бога, веле в Почайну реку въврещи, Перуна же повеле привязати к коневу к хвосту и влещи с гор по Боричеву на ручей».

См. описание Румянцевского музея: «А Волоса идола, его же именоваху скотья бога, повеле в Почайну вовреши».

Полный список этих имен помещен в «Сказаниях русского народа» Сахарова. Кн. 1. С. 10.

Есть у нас в руках географический атлас XVI века (*Theatrum Oder Schawplaz des Erdbodens*, Abr. Ortelius, 1569), печатанный в Брюсселе, где, по карте Московского царства, в стране Обдорской, изображен кумир Золотой бабы с объяснительной латинской надписью.

У нас на Руси Рождественский пост носил когда-то имя Корочуна, и выражение: *дать корочуна*, в смысле *убить*, явно указывает на зловердное значение этого названия.

См. статью Эрбена в «Русской беседе», 1857 г., кн. IV.

В предании о Волхвах у Нестора (Лаврентьевская летопись, с. 77) толкование Волхвов о подземном царстве их божеств слишком явно отзывается христианскими представлениями об аде и дьяволе, чтобы не заподозрить истину подобных сказаний.

Соловьев. История России. Т. 1. С. 328–329.

Касторский. Начертание русской мифологии. С. 142.

Соловьев. История России. Т. 1. С. 73, 329 и 340.

См. статью Афанасьева «Ведуны и ведьмы» в сб. «Комета».

Щап — щеголь.

Переводчик не указан - *Kotmiau*

Переводчик не указан - *Kotmiau*

Переводчик не указан - *Kotmiau*

В подлиннике тут недостает нескольких строк. Он написан на двух листах; следующие строки помещены на другом. Некоторые считают их началом повести; так, Граматин поставил их в начале, и вышла бессмыслица. Они составляют продолжение речи Ратибора, а полный смысл Суда такой: Любуша предлагает сейму вопрос: разделить ли братьям власть поровну, или им владеть наследством отца совокупно; сейм присуждает последнее. Хрудос возражает, что все, оставшееся после отца, принадлежит старшему сыну; Ратибор отвечает ему, что такой закон у немцев, а не у чехов; далее говорится, что чехи управляются в родах владыками; по смерти владыки все дети равны пред законом, и новый владыка принимает власть не по наследству, а по избранию. С этим согласились все старцы, Лехи и владыки. Затем ясно, что суд Любуши не отрывок, — как думают почти все, — а полная повесть, в которой только в середине недостает нескольких строк. В последнем отделении, после недостающих строк, два ответа Хрудосу: на требование его наследства без раздела с братом и на брань, которою он осыпал Любушу, будто бы незаконно владеющую престолом, т. е. ему отвечают, что брат его, по чешским законам, имеет равное право на наследство, а сестра избрана в правительницы голосом народа, по обычаю предков.

Записал Плицка в 1925 г.